

# ЗНАМЯ

8/93

---

**Сергей БОЧАРОВ**

Былое и думы по поводу...

**Зуфар ГАРЕЕВ**

Озноб

**Фазиль ИСКАНДЕР**

Пшада

**Марк МАСАРСКИЙ**

Правый центр?

**Вера ПАВЛОВА**

Об этом

**Михаил ШИШКИН**

Всех ожидает одна ночь

---

**АВГУСТ**



# ЗНАМЯ

Ежемесячный  
литературно-  
художественный  
и общественно-  
политический  
журнал

Выходит  
с января 1931 года

## Содержание

**8**

**АВГУСТ  
1993**

Фазиль Искандер. Пшада. Повесть	3
Вера Павлова. Об этом. Стихи	37
Зуфар Гареев. Озноб. Рассказ	44
Виктор Санчук. Воспоминание о Северо-Востоке. Стихи	61
Михаил Шишкин. Всех ожидает одна ночь. Роман. Окончание	68

### Мемуары. Архивы. Свидетельства

Григорий Померанц. Записки гадкого утенка. Окончание	129
---	-----

### Credo

Марк Масарский. Правый центр?	173
-------------------------------	-----

### Публицистика

Москва  
Издательство  
«Пресса»

Анатолий Вишнеvский. Демографическая свобода в несвободном обществе	181
--	-----

- Роман Арбитман. Капитан Фьючер в стране  
большевиков (Западная беллетристика на  
наших книжных прилавках) 197

В мире журналов и книг

---

- Сергей Бочаров. Былое и думы по поводу  
жареного петуха 204

*Дорогие читатели!*

Вы сможете приобрести любой интересующий Вас номер журнала «Знамя» (начиная с № 9 за 1992 г.) в магазине «Дом книги» на Новом Арбате (Москва, Новый Арбат, д. 8) в секции «Ассоциация независимых литературных изданий России» — АНЛИР.

Там же можно купить и сделать заказ на другие журналы АНЛИРа: «Волга», «Дружба народов», «Иностранная литература», «Интерпол — Москва», «Искусство кино», «Новый мир», «Октябрь», «Северные просторы», «Юность» и книжные приложения к ним.

Итак, в магазине «Дом книги» на Новом Арбате всегда для Вас журналы и книги серии «АНЛИР».

*Телефоны для справок: 290-45-07, 131-79-74.*

Фазиль Искандер

## ПШАДА

ПОВЕСТЬ

Двое пленных немецких офицеров в странно распахнутых шинелях, животом вниз лежали у ног полковника. Один из них лежал, сцепив пальцы на затылке, как бы прося пощады, как бы прикрывая затылок. Второй, наоборот, лежал, распластав руки, пружинисто упираясь ладонями в землю, словно готовый в любую секунду вскочить.

Полковник вытащил пистолет и почти не видящими от ярости глазами взглянул на лежащих офицеров. Как бы просящие пощады, как бы защищающие затылок руки заставили его первым выделить этого офицера, а может быть, даже вспомнить, для чего он вытащил пистолет. Полковник выстрелил ему в затылок.

Голова дернулась и застыла, а руки медленно сползли с затылка и мягко легли на землю, словно досадуя на то, что на этот раз стреляющего не удалось смягчить, словно надеясь, что в следующий раз все может кончиться гораздо лучше.

После выстрела второй офицер, мощно оттолкнувшись руками от земли, успел стать на колени и, бесстрашно глядя в лицо полковника ненавидящими серыми глазами, стал выхаркивать в него какие-то немецкие проклятья, одновременно пытаясь встать.

Полковник выстрелил ему в грудь. Тело офицера откинулось от удара пули, но он не дал себя опрокинуть и, не сводя с полковника ненавидящих глаз, вдруг встал. Но уже ничего не мог сказать, а только продолжал смотреть на полковника. Полковник хотел еще раз выстрелить в него, но офицер неожиданно рухнул назад.

Одна нога его, может быть, ища опоры, с судорожной силой задвигалась, но опора никак не находилась, а каблук, все реже и глубже взрывая землю, прокопал канавку длиной от ступни до колена, и нога затихла, улегшись в ней.

Полковник вложил пистолет в кобуру и, отвернувшись от мертвых немцев, устоял на могилу, где только что был зарыт его любимый адъютант. Да, здесь, в Будапеште, когда уже рукой достать до победы, его храбрый, его веселый адъютант был убит почти случайной пулей.

За парком, где полковник хоронил своего адъютанта, стояла колонна пленных немцев. Из-за деревьев они не могли видеть то, что здесь произошло, но по выстрелам нетрудно было догадаться. Именно из этой колонны, которая случайно в это время проходила здесь, полковник приказал привести двух офицеров. Из-за ограды парка всю эту сцену наблюдал один из конвоиров с автоматом в руке. Он был совсем молод, и круглые глаза его застыли в ужасе.

Офицер, вместе с несколькими солдатами хоронивший адъютанта полковника и сейчас стоявший рядом с ним, когда тот повернулся к могиле, поймал глазами этого конвоира, резко махнул ему рукой и что-то прошептал исковерканным ртом. Скорее всего:

— Гони дальше!

И хотя конвоир никак не мог его услышать, но все понял, быстро повернулся и побежал к колонне. Колонна колыхнулась и проследовала дальше. Горбоносый, угрюмый полковник все еще смотрел на могилу любимого адъютанта. Он почувствовал, что боль и ярость внутри него начинают затихать.



\* \* \*

Старый отставной генерал Алексей Ефремович Мамба ехал в метро к центру Москвы. Он ехал с дачи, которую теперь редко покидал, в гости к своему другу генералу Нефедову. Он мог выбрать путь и покорооче, но у него было много времени в запасе, и ему почему-то захотелось пройти пешком от площади Свердлова до Пушкинской площади. Он сам не знал, почему это ему вдруг захотелось, хотя пешие прогулки да еще в сутолоке толпы ему давно были не по нраву, да и не по здоровью. Физически он еще был крепким, жилистым, но сердце иногда сильно прихватывало.

На вид он казался удивительно хорошо сохранившимся стариком. Сухощавый, прямой, мужественно-горбоносое лицо с яркими, не разжиженными временем голубыми глазами, седовласый, но ничуть не лысеющий, он еще выглядел хоть куда. Но сердце иногда сильно прихватывало.

В Отечественную войну он много раз встречался со смертью и теперь боялся ее не больше, чем другие люди, так же, как и он, много раз рисковавшие жизнью. Он боялся непристойной, неожиданной смерти среди чужих людей.

Поэтому, уезжая в город, он всегда держал в кармане паспорт и на отдельной бумажке телефон генерала Нефедова со строгим наказом: позвонить! Разъяснить, по какой причине надо звонить генералу Нефедову, он считал слишком сентиментальным и надеялся, что, если это случится, люди догадаются сами.

В сущности, генерал был очень одинок. Сын его — геолог, слишком много пьющий геолог, вместе с семьей почти круглый год пропадал на Севере. В Москве бывал в отпуске, проездом на юг. Естественная для старого человека любовь к внукам оставалась неутоленной.

Дочь с мужем, военным, жила на Дальнем Востоке, да к тому же была бездетна. Кстати, она была третий раз замужем и каждый раз выходила за военного, и каждый следующий муж был чином выше предыдущего. А он любил только ее первого мужа, и как тот рыдал на груди генерала, когда они расходились! Но что он мог сделать?

Он очень любил свою дочку, но развод с первым мужем в глубине души не мог ей простить. По какой-то иронии судьбы, пока его дочь вместе со своими новыми мужьями подымалась в чинах, первый ее муж, видимо, самый одаренный, он был военным инженером, вдруг обогнал в чинах ее последующих мужей, женился, родил ребенка. Он иногда еще звонил генералу. И как деликатно, стараясь скрыть волнение, он, бывало, спрашивал о судьбе своей первой жены. Генерал догадывался, что боль на том конце провода еще пульсирует.

А дочь его во время своего последнего приезда, узнав от отца, что ее первый муж теперь выше в чине, чем ее последний, только весело расхохоталась. Она была с юмором и поняла намек отца. Нет силы, подумал генерал, глядя на хохочущее, хорошенькое лицо своей дочки, сильнее равнодушия.

Да и имел ли он право в конце концов читать нотации дочке, если сам он после смерти жены, с которой душа в душу прожил всю жизнь, снова женился. Он женился на медсестре, которая ухаживала за ним в больнице, когда он тяжело заболел.

Около года она приходила к нему домой, а потом по ее настоянию они оформили брак. Она была отличная хозяйка, и генерал это ценил. Но вдруг, хотя и не сразу после оформления брака, на него, как снежная лавина, обрушилась ее фантастическая глупость и подозрительность.

Для генерала было величайшей загадкой: почему он этого раньше не замечал? Конечно, она не давала себе воли, но и сам он, будучи в глубине души уверен, что поднял и осчастливил ее, считал, что она будет ему навек благодарна.

Сама не первой молодости, она все время подозревала, что у него какая-то тайная от нее жизнь, тайные планы, тайные вероломные решения — то ли соединиться со вдовствующей какой-нибудь генеральшей, то ли обделить ее в секретном завещании. И завещания никакого не было, и с вдовствующими генеральшами он общался в основном по телефону, потому что когда-то дружил с их мужьями. Он знал, что она вечно роется в его бумагах, в его

карманах, в его записных книжках. Ищет следы его тайной жизни, которой нет.

Если он приходил домой и спрашивал: «Мне звонили?» — она многозначительно подносила палец к губам, якобы вспоминая, а на самом деле думая, выгодно или не выгодно ей говорить правду.

Когда генерал об этом догадался впервые, он пришел в предобморочное бешенство, но потом, как это ни странно, привык. Он понял: того, что было с женой, больше никогда не будет.

Впрочем, эта женщина была необыкновенная чистюля и прекрасно готовила, и генерал старался это ценить, потому что не было сил переходить на новые позиции. Встряхиваясь, он думал иногда: чего там! Книги есть, Нефедов еще не впал в маразм, а больше мне ничего и не надо.

Но в последние месяцы его почему-то стали мучить вещи, о которых он раньше почти не думал. Вот это убийство двух немецких офицеров у могилы любимого адъютанта и то, что он забыл родной абхазский язык за долгое время службы в России. Он даже смутно чувствовал, что два эти факта, внешне столь далекие друг от друга, как-то связаны.

Он вновь и вновь возвращался к убитым немцам, стараясь понять, почему и как это могло случиться. Вот он стоит у могилы только что похороненного адъютанта. И вдруг он видит из парка, как по улице проходит колонна военнопленных. Зачем он приказал привести двух офицеров? Почему не одного? Не трех? Тогда он не задумывался над этим, а теперь, кажется, понял почему.

Он хотел, чтобы они друг друга обожгли стыдом. Вот почему двух. Для равновесия стыда. Он хотел сказать, какой юный, бесстрашный, веселый, исполнительный был его адъютант. И что он напишет теперь его матери?

Все это он хотел сказать немецким офицерам и вдруг понял, что ничего не может сказать, потому что рядом нет переводчика, а сам он, кроме десятка слов, ничего не понимает по-немецки.

И вот стоят перед ним молодые немецкие офицеры, и он им ничего не может сказать, и положение становится просто глупым. И тогда в порыве бешенства он по-русски приказал: «Ложись!»

Они ничего не поняли и продолжали смотреть на него. Он и тогда не думал, что собирается убить их. Не думал, что собирается убивать их, но собирался? Или не думал, что собирается их убивать, и не собирался?

— Ложись! — снова закричал полковник.

Лейтенант подскочил к немцам и стал, наклоняясь вперед, руками показывать, что они должны делать. Первым понял его чернявенький офицер с почти мальчишеским лицом.

— Яволь! Яволь! — закивал он и быстро лег на живот, широко раскинув руки. Возможно, он всю эту процедуру принял за какой-то восточный обычай преклонять врага перед могилой представителя побеждающей армии. Он лег, покорно раскинув руки, как бы ожидая последующих приказов.

Второй немецкий офицер, высокий, красивый блондин, с серыми чуть навывкате глазами, сначала не хотел ложиться и всем своим видом показывал презрительное непонимание происходящего. Он никак не ложился, пока лейтенант не подскочил к нему и не заставил, одной рукой наклоняя ему голову, а другой показывая на лежащего немца, настаивая, чтобы он последовал его примеру. Наконец и этот офицер, предварительно придав своему лицу выражение еще более презрительного непонимания происходящего, лег.

Он тоже лег на живот, но не раскинул руки, а держал их полусогнутыми возле тела, напряженно упираясь ладонями в землю, словно ожидая приказа: «Встать! Лечь! Встать!»

Но вот прошла минута, но никакого дальнейшего приказа не последовало. Было тихо. И тогда чернявому, лежавшему раскинув руки, стало страшно, и он, подтянув руки, сплел пальцы на затылке, как бы пытаясь его защитить.

В последние месяцы, непрерывно вспоминая о том, что случилось чуть ли не пятьдесят лет тому назад, генерал пытался понять, в какой миг ему пришло в голову убить их. Может, тогда, когда чернявенький подтянул руки к затылку и этим подтолкнул его к страшному решению?

Но нет, жестко поправлял себя Алексей Ефремович. Решение убить их пришло именно тогда, когда он приказал им лечь и как бы приравнял к горизонтальному положению своего адъютанта. Дальше он уже полностью должен был приравнять их в смерти. Не сумев обжечь их стыдом, он принял это страшное решение. Но тогда оно ему не казалось ни страшным, ни роковым.

Ни один из свидетелей этой сцены никуда не донес, и самоуправство полковника осталось без всяких служебных последствий.

И многие, многие годы после войны и когда он окончил военную академию, и когда стал генералом, он только вскользь вспоминал о случившемся и только недавно, в последние месяцы, оно его стало мучить. Как и почему он мог расстрелять двух безоружных пленных?

Ему вспоминалось и доброжелательное, покорное лицо чернявенького немца, и надменное, холодное лицо высокого, красивого офицера, как бы заранее говорящего: ничего, кроме подлости, я от вас не жду и не могу ждать.

И еще, как бы отдельно от всего, вспоминалась нога этого высокого красивого офицера, когда он после выстрела наконец рухнул на спину. Эта нога минуты две с неимоверной, судорожной силой рыла землю каблуком ботинка и удивительно глубоко открыла ее, так что вся она от ступни до колена уложилась в вырытую ею канавку и там успокоилась.

Второй болью генерала было забвение родного языка. Он двадцать пять лет не был в Абхазии. В армию он пошел задолго до войны, потом война, потом служба на Дальнем Востоке, и только когда его перевели в Москву, он с первой женой поехал в отпуск отдыхать в Пицунду.

Он никак не афишировал свой приезд, но об этом узнали, и местное начальство, как бы гордясь им, стало повсюду его приглашать. И тут-то он обнаружил, что забыл родной язык. Как это случилось, он не мог понять.

Когда заговаривали по-абхазски, он чувствовал в мелодии гортанной речи что-то родное, но слов не мог разобрать. Тогда это было досадно, но большого беспокойства не внушало.

Окружающее абхазское начальство это обстоятельство несколько не смутило. Все они прекрасно говорили по-русски и, если в присутствии людей другой национальности переходили на родной язык, это означало, что в общую беседу они вносят уточнения, приятные для своего национального чувства. Представители других национальностей — грузины, мингрельцы, армяне — тоже во время общей русской беседы вдруг переходили на свой язык явно для того, чтобы вносить уточнения, приятные для своего национального чувства. Генерал оказывался среди русских, которым непонятно было, на какой язык переходить, чтобы поворковать отдельно от остальных.

Однажды в прекрасный лунный вечер генерала и его жену пригласили на банкет, устроенный под открытым небом. Банкет был устроен в честь грузинского министра, отдыхавшего здесь, в Пицунде.

Был великолепный стол, как это умеют, кажется, только грузины, и веселый, впрочем, легкомысленный говор порхал над столом. Алексей Ефремович был старше всех по возрасту и с некоторым доброжелательным любопытством приглядывался к застольцам.

Министр был молод, весел, распахнут. Генерал отметил, что в его поколении начальники такого ранга не бывали столь молодыми и держались достаточно напыщенно. И ему понравился молодой министр.

Однако в разгар застолья, когда стали подымать тосты за эту землю, за эти горы, за это море, он почувствовал некоторую странность, но суть ее не сразу понял. Но после третьего или четвертого тоста уловил, в чем ее суть.

— Друзья мои, — сказал генерал, — эта земля, эти горы, это море имеют свое название. Это Абхазия, почему бы вам не называть ее по имени?

Генерал это сказал с некоторой дружеской иронией, но вдруг за столом воцарилась напряженная тишина.

— Алексей Ефремович, — прервал тишину один из застольцев, — вы боевой генерал, вы не в курсе истории. Это Грузия, а не Абхазия.

— Ну, естественно, — кивнул генерал, — Абхазия входит в Грузию, но мы же сейчас сидим в Абхазии?

— Дорогой Алексей Ефремович, — упрямо повторил тот же человек, — наукой доказано, что название Абхазия — это второе самоназвание Грузии. Наука доказала. Мы ни при чем...

— Чушь! — с тихим бешенством проговорил генерал, как всегда, взрываясь на нелепость, — если Абхазия второе самоназвание Грузии, почему вы никогда не употребляете его по отношению к Грузии?

Опять воцарилась какая-то неприличная тишина. И неизвестно, чем бы это кончилось, если бы не жена Алексея Ефремовича. Она вдруг подняла фужер с вином и сказала:

— Выпьем за прекрасную Абхазию, включающую в себя всю Грузию, тем более что это одно и то же!

Юмористическая двусмысленность ее тоста почему-то сразу дала разрядку. Все расхохотались, а некоторые, хохоча, шутливо грозили ей пальцем. Министр легко вскочил, подошел к ней с бокалом, чокнулся, поцеловал ей руку и сказал теплые слова о братских народах, которые иногда, именно вследствие братства, позволяют себе братские раздоры.

Тема была исчерпана, и вечер продолжался.

Говорят, есть защитный национализм. Как будто неправильное решение математической задачи одним человеком дает право другому человеку на свое неправильное решение той же задачи. Общаясь с местным абхазским начальством, генерал заметил, что и они отнюдь не склонны проявлять широту взгляда в этом вопросе.

Алексей Ефремович не поехал в родной Чегем, потому что знал, там теперь нет никого из близких. В том старом Чегеме, где прошло его детство, ничего подобного никогда не было. Село было в основном абхазским, но там жили и мингрельцы, и армяне, и греки. Генерал знал, что там не было никаких национальных распрей. И если один крестьянин жил лучше другого, то другой точно знал, что это вследствие того, что тот лучше ведет хозяйство, лучше работает. Неужели время так изменилось, думал Алексей Ефремович, или все это свойство узкой административной среды, где идет борьба за теплые местечки?

Бедный Алексей Ефремович, если б он знал, как далеко это все пойдет! Нет, он тогда не знал этого, но был огорчен. Кстати, в Пицунде он получил письмо от генерала Нефедова, который отдыхал в Новороссийске и звал его туда в гости. И он уехал с женой в Новороссийск.

Там его поразил неприятно нервирующий сильный ветер, который, кажется, назывался «бора». И тогда он впервые почувствовал, что прихватывает сердце. Генерал побывал у местного врача, тот его прослушал и сказал, что ничего особенного, просто нервы пошаливают.

— Как это вы терпите этот ветер? — спросил генерал, одеваясь после прослушивания.

— А мы по субботам уезжаем за город, в местечко Пшада, — ответил врач. — Это тайна природы. Там никогда не бывает ветра. Там мы отдыхаем от него.

Пшада, повторил про себя генерал и смутно почувствовал, что в звучании этого слова слышится что-то абхазское. Он знал, что раньше, до второй половины девятнадцатого века, здесь жило абхазское племя убыхов. Во время кавказской войны огромное большинство из них было перебито, а остаток племени переселились в Турцию и там полностью растворились. Нет убыхов. Генерал прочел об этом в одной книге. Смутная боль за неведомое родное племя перекинулась на Абхазию, но он тогда подумал, что незначительные национальные раздоры между грузинами и абхазами скорее всего рассосутся.

Больше о забвении родного языка он всерьез не задумывался, а вот в последние месяцы стал вспоминать об этом с мучительным напряжением.

Пшада, Пшада, говорил про себя генерал, и что-то похожее на обрывок мелодии, слышанной в детстве, звучало в этом слове. Но он никак не мог уловить мелодию этого слова целиком, то есть смысл его. И при этом почему-то был уверен, что в этом слове есть какой-то важный смысл. Но какой? Пшада...

Да, он давно забыл родной язык, но, как это ни странно, по-русски говорил все еще с небольшим абхазским акцентом. Казалось, звуки рус-

ской речи текут по бывшему руслу родного языка (речь, речка — текут), сохраняя его изгибы, пороги, перекаты.

Алексей Ефремович уже более пятнадцати лет был в отставке. Он и до этого достаточно много читал, а теперь это стало его самым любимым занятием. Да, чтение и самостоятельные раздумья теперь были его главным занятием в жизни. Раньше, если он и проявлял самостоятельную мысль, а он ее проявлял довольно часто, особенно на фронте, это был его способ лучшим образом выполнить приказ.

Да, всю жизнь он любил выполнять то, что приказывало ему командование. Каждый раз, когда ему давали задание, он испытывал восторг, прилив сил, вдохновение.

\* \* \*

Вспыхнула картина далекого довоенного года. Он еще совсем зеленый боец кавалерийского полка. Дело было на Северном Кавказе. Отрабатывали переправу на бурной речке. Ржанье лошадей, смех, крики бойцов. Один из командиров, инспектировавших учения, оказавшись рядом с ним, кивнул на плывущую лошадь:

— Поймай ее и верхом сюда!

Он бросился в воду за лошадью, хотя не умел плавать. Ему казалось, что он с мелководья допрыгнет до лошади и схватит ее. Она плыла метрах в семи от берега. Но, сделав мощный прыжок в сторону лошади, он промакнулся и вдруг понял, что тонет. Почувствовав под ногами дно, он, преодолевая ужас, выбросился из воды, судорожно хватая ртом воздух и снова погружаясь в быстрый поток. Он одновременно испытывал и дикий страх утонуть, и энергию восторга, с которой он бросился в воду выполнять приказ.

Возможно, этой энергии восторга ненадолго хватило бы, его уже отнесло метров на двадцать вниз по течению, но, вынырнув из воды после третьего погружения, он вдруг увидел рядом с собой другую лошадь и успел уцепиться одной рукой за кончик ее гривы. Лошадь шараясь, пучок гривы, обжигая ладонь, вырвался из пальцев, и он снова погрузился в воду. И случайно под водой ладонью задел за круп лошади и уж совсем не случайно с такой силой оттолкнулся от дна в ее спасительную сторону, что, вылетев из воды, шлепнулся ей на спину и успел перекинуть ноги.

Тут-то он уже был хозяин: горец, умевший с детства обращаться с лошадью. Намертво стиснув ногами горячий, как жизнь, живот лошади, он лихо повернул ее, выгнал на берег и, разбрызгивая прибрежную гальку, подлетел к трясающемуся инспектору. Тот все видел.

— Ты что, не умеешь плавать? — спросил инспектор, когда он спрыгнул с лошади.

— Не умею.

— Какого же черта ты полез в воду?!

— Вы же приказали!

— Откуда ты?

— Из Абхазии.

— Черноморец и не умеешь плавать?

— Я из горного села. У нас нет большой реки.

— Молодец! — окончательно успокоился инспектор, — будешь большим командиром. Только научись плавать.

Конечно, он вскоре научился плавать. И навсегда запомнил слова этого человека. Но сколько сил было тогда, сколько сил!

Попав в армию, а потом в училище, он заметил, как превосходит своих сверстников физической силой, телесной устойчивостью. Особенно он превосходил в этом городских парней.

Однажды в училище, занимаясь боксом, он на ринге получил от противника сильный удар и пришел в такую ярость, что ответным ударом выбросил противника с ринга, тот пролетел между канатами. После этого он получил прозвище «железный абхаз», и прозвище это его радовало.

Но точно так же, с тайным стыдом, он заметил, что многие ребята, особенно городские, превосходят его своими знаниями. И он жадно всю жизнь цапал знания, где только мог, чтобы не чувствовать себя ущербным.



\* \* \*

На площади Свердлова генерал вышел из вагона и легким шагом пошел к эскалатору. Среднего роста, прямой, смуглое горбоносое лицо, как бы обточенное ветрами, все еще выражало энергию жизни. Особенно оно источало энергию жизни, когда он улыбался. Глаза загорались, да и зубы почти все были целы. Последнее наследие Чегема, говаривал он, когда кто-нибудь удивлялся этому обстоятельству.

Однако перед выходом из метро он расстегнул свой темный гражданский плащ и вытащил из бокового кармана пиджака трубочку валидола. Открыл, стряхнул на ладонь таблетку и положил под язык. Закрыв трубочку и спрятав в карман. Таблетка валидола да и сама трубочка придавали ему уверенность, когда он приезжал в город один. Не обязательно даже положить под язык таблетку, главное — нащупать ее в кармане. На фронте, вспомнил он, выходя из землянки, было приятно для спокойствия почувствовать на боку пистолет. Тогда пистолет. Теперь валидол.

Досасывая холодок валидола, он вышел из метро. Был теплый осенний день. Солнце просвечивало сквозь гигантские спирали облаков, которые, казалось, раскручивались не только над Москвой, но и над всей Россией. Возле метро толпилось много людей, продавцов и покупателей всякой всячины, от жевательной резины до водки.

Дососав таблетку валидола, генерал вынул сигареты, закурил, щелкнув зажигалкой, и с удовольствием вдохнул дым.

— Отец, можно сигарету стрельнуть? — услышал он возле себя и увидел подошедшего к нему солдата. Генерал обомлел. Солдат просит сигарету у генерала! Но солдат выглядел так браво, форма на нем так хорошо сидела, что Алексей Ефремович почувствовал прилив доброжелательности.

Не так все плохо, мелькнуло у него в голове, да и откуда солдату знать, что он генерал. Алексей Ефремович с удовольствием протянул солдату пачку. Солдат аккуратно вытянул сигарету и, возвращая пачку, попросил:

— Прикурить можно?

— Прикуривай, солдат, — весело ответил генерал и, затаившись собственной сигаретой, подставил ее солдату.

Солдат прикурил и, видимо, по-своему поняв легкую общительность старика, вдруг спросил:

— Папаша, а не продадите мне пачку сигарет?

— Этим не занимаюсь, — сухо вато ответил генерал.

Солдат отошел, и радость по поводу его ладности несколько улетучилась. Ничего не поделаешь, время такое, подумал генерал.

Он пошел в сторону подземного перехода и вдруг увидел возмущенную толпу возле музея Ленина. Какие-то люди, мужчины и женщины, с мрачным достоинством стояли, опираясь спиной о стену музея. Они как бы защищали последнюю твердыню и, опираясь о нее спиной, как бы у нее же черпали силы для ее защиты. Некоторые из них держали в руках плакаты. Другие люди подступали к ним и, тряся руками перед их неподвижными лицами, что-то им доказывали.

И хотя генерал давно считал, что защищать тут нечего и доказывать нечего, он вошел в толпу, чтобы разглядеть плакаты и послушать, о чем говорят люди. Самый большой плакат, который держал сумрачный молодой человек, гласил: **ФАШИЗМ НА РОДИНЕ ЛЕНИНА НЕ ПРОЙДЕТ!**

Какой дурачок, подумал генерал с жалостью, бедный мальчик! Другие плакаты были столь же наивны и глупы. Толпа была возбуждена, и многие, как заметил генерал, были полупьяны. Однако те, что стояли с плакатами и защищали музей Ленина, явно были трезвы.

В толпе противников Ленина особенно выделялся высокий, сильный, мастерового вида человек. Он был на крепком взводе. Он крыл чуть ли не матом защитников музея и почему-то называл их евреями, хотя у всех у них, как заметил генерал, были русские лица. По накалу злобы этого здорового человека чувствовалось, что ему очень хочется с кем-нибудь подраться.

Генерал заметил, что в толпе немало пожилых женщин, кто с кошелкой, кто с сумкой у ног. Они тоже спорили и чаще всего с мужчинами, причем женщины были наступательной стороной, а мужчины как бы оправдыва-

лись. И это независимо от того, какую сторону они занимали, ленинскую или антиленинскую.

Алексею Ефремовичу подумалось, что женщины интуитивно чувствуют какую-то вину мужчин перед ними, перед их детьми и внуками, перед жизнью вообще, и потому они так наступательны, а мужчины как бы оправдываются.

В сущности, так оно и есть, подумал генерал. Если ленинское дело правильное, то как страна могла дойти до этого безобразия? А если ленинское дело неправильное, то где вы были до сих пор, как вы, наши защитники, могли допустить это?

Одна из женщин, исчерпав все доводы в споре с женщиной, вдруг всплеснула руками и крикнула:

— Ну чего ты, здоровый лоб, средь бела дня торчишь здесь? Работать надо!

Генерал, чувствуя, что невольно заряжается электричеством этой галдящей толпы, сначала для подстраховки сунул руку в карман с валидолом, а потом и совсем ушел и спустился в подземный переход.

И словно освобождая его от смутной тяжести этих вздорных споров у музея Ленина, словно возвращая ему гармонию жизни, вдруг перед его взором вспыхнула фронтовая сценка с любимым адъютантом.

\* \* \*

После успешного боя немцы отступили. Полковник сидел в захваченной командирской землянке. И бой был жаркий, и день был жаркий. Хотелось пить.

Влетел адъютант и поставил на пол рядом с ним ведро свежей воды. Алексей Ефремович дотянулся до кружки, набрал воды и стал медленно, с удовольствием пить, поглядывая на покрасневшее, веснушчатое лицо адъютанта.

— Товарищ полковник, — рассказывал тот, задыхаясь, — что сейчас было! Чуть от страха копыта не отбросил. Захожу в лесок, где речка, пью воду, черпанул ведром и вдруг слышу кто-то вроде стонет, вроде рычит. Озираюсь — никого. Там, сям убитые лежат. А на самой речке враскорячку лежит огромная дохлая немецкая лошадь. И вдруг снова слышу какой-то угрожающий стон. Озираюсь — никого. А я забыл оружие взять с собой. Елки-палки, думаю, что это такое! И страшно и ничего понять нельзя. Может, кто-то в кустах следит за мной, может, нечистая сила. Умираю от страха и сдвинуться не могу. Опять откуда-то грозный стон, главное, близко где-то, а я ничего не вижу. И вдруг вижу, что-то из дохлой лошади вылезает. У меня волосы поднялись. Мама родная — дохлая лошадь рождает! Она шагах в двадцати лежит от меня. И что-то из нее выдвигается, шевелится, разобрать не могу. Дохлая лошадь рождает! И вдруг задом вывалилось! Собака! Нет, волк! Повернулся, хлюп, хлюп, хлюп по воде на берег и в лес. Эх, было б оружие — пристрелил бы! Никогда так страшно не было в бою! Я потом подошел к лошади, заглянул в дыру. Он ей половину внутренностей отъел. Наверное, давно приходил сюда подкрепиться, а тут меня почуял.

— Ты мне лучше скажи, — проговорил полковник, дурашливо поглядывая на кружку, из которой пил, — ты меня напоил водой из-под дохлой лошади или догадался повыше взять?

— Обижаете, товарищ полковник, — тоже чуть дурашливо отвечал адъютант, — вы всегда меня обижаете. Конечно, повыше взял. Но откуда такой страх?

— Это тебе послужит хорошим уроком, — проговорил полковник, — сколько раз я тебя учил, что на месте боя, пока не убраны трупы, нельзя появляться без оружия. Раненый, который кажется убитым, может прийти в себя и прихлопнуть. Дезертир может наскочить и тоже от страха прихлопнет.

— Так пить хотелось, все забыл, товарищ полковник! Но откуда такой страх?

— Необъяснимость ситуации страшнее всего на фронте, — сказал полковник и добавил: — да и в жизни, наверное, так.

\* \* \*

Необъяснимость ситуации в стране сейчас страшила и тревожила генерала. Он пытался охватить все взглядом, взвесить, понять. Что пришло с новым временем? Всевластие КГБ рухнуло. Это хорошо. Пресса стала свободной или почти свободной. Это хорошо. Но и глупой развязности и хамства в ней прибавилось. Это плохо.

У него в дачном поселке, где жили люди самой разной среды, в том числе и совсем простые люди, с необычайной быстротой начали расти дома. Хозяева дачных участков каким-то образом продавали часть земли преуспевающим людям, и те возводили себе дома. Генерал считал, что само по себе это хорошо. Пусть, пусть будет как можно больше состоятельных людей.

Но и многих обнищавших людей он видел, особенно на вокзалах и в электричках, когда он ездил в город или возвращался к себе на дачу. И это наводило тоску.

Гуляя в окрестностях своего поселка, он видел, как люди, получившие клочки земли, старательно их обрабатывают и сажают картошку. Страх голода нависал над страной.

Но было и что-то обнадеживающее в этих островках частного предпринимательства. Так хорошо обработанную землю он видел только в Германии. Значит, люди умеют и хотят работать, когда работают на себя.

Но угроза голода. Страна и нищает, и богатеет одновременно. Кто кого обгонит? Может, богатейшие, разбогатев, подадут руку помощи обнищавшим? Как-то не очень верилось. Или обнищавшие, отчаявшись, свернут щею обогатившимся? Трудно сказать. Неужто гражданская война маячит? Или обойдется?

\* \* \*

Генерал шел по подземному переходу. Здесь во многих местах продавали книги и газеты. Он остановился возле одной из книжных стоек и стал разглядывать самые разнообразные книги, от приключенческих до политических. Увидев книгу с названием «Новое о Берии», он потянулся было к ней, чтобы посмотреть и купить, и вдруг рука сама отдернулась. Он понял, что объелся подобного рода книгами и не хочет их больше читать.

Он пошел дальше. Вскоре он услышал звуки довоенного джаза и увидел небольшую толпу. Он любил старый довоенный мелодический джаз. Он остановился в толпе. Джазисты играли с большим подъемом. Даже было странно, что здесь, в подземном переходе, они играют с таким увлечением. Толпа заплодировала. И многие стали совать бумажные деньги в большую жестяную банку, стоящую перед музыкантами. Генерал вынул бумажник и тоже сунул в нее деньги. Музыканты снова заиграли старую, довоенную вещь, и генерал с удовольствием их слушал.

Но потом высокий молодой человек подошел к пожилому саксофонисту и начал с ним о чем-то спорить. Генерал никак не мог понять, о чем они спорят, хотя видел и понимал, что молодой человек ведет себя нахально. Пожилой саксофонист вдруг оставил свой саксофон и стал сам наседать на этого очень молодого и на вид очень сильного человека. Генерал почувствовал, что вот-вот начнется драка, и никак не мог понять, что они делают.

— Я заказал, я заказал! — вдруг донесся до него хозяйский голос молодого человека. Генерал понял, что молодой человек заказал музыкантам играть что-то, а они не хотели играть на заказ. Генералу понравилось, что этот пожилой саксофонист такой неуступчивый и храбрый.

И уже вот-вот, казалось, должна была начаться драка, но тут к молодому человеку подошел его друг и оттащил его в сторону. Они прошли мимо генерала, и длинная рука этого скандалиста, как бы скучая от праздности, проболталась возле него.

— Я заказал — пророкотал тот еще раз и, подойдя к одинокому саквояжу, стоявшему в стороне, подхватил его и двинулся дальше вместе со своим другом. Странно, что саквояж никто не охранял, словно он стоял у него дома. Может быть, подумал генерал, у него тут есть глаза, которые со стороны следили за саквояжем, и он в самом деле чувствует себя здесь хозяином.

Генерал пошел дальше. У выхода из подземелья стояла маленькая, худенькая старушка с протянутой рукой. Она была настолько согнута, что и не видела проходящих людей. Ее сморщенная ладошка как бы смотрела на проходящих вместо нее.

Он остановился и, вытащив из бумажника десятку, осторожно сунул ее в ладошку старушки. Ладошка медленно сжалась, чтобы удержать деньги. Так и не подняв головы, старушка тихо поблагодарила его.

Выйдя наверх, генерал снова поднял голову и посмотрел на небо. Он снова подивился гигантским спиральям облаков, которые, казалось, раскручивались не только над Москвой, но и над всей Россией. Но солнце просвечивало сквозь них, и был теплый день ранней осени.

Он прошел мимо Центрального телеграфа и стал подниматься вверх по улице Горького. Вдруг он заметил, что по другой стороне тротуара на высоких стройных лошадях, гнедой и пегой, как ни в чем не бывало едут два милиционера. Это было что-то новое. Он на мгновение залюбовался сытыми, красивыми лошадьми и пошел дальше. Он вспомнил дни своей военной молодости и, погрузившись в воспоминания, уже ничего не замечал.

\* \* \*

После того, как защитников одной из высот на Клухорском перевале, которыми командовал капитан Мамба, немцы накрыли мощным минометным огнем, он был ранен и потерял сознание от потери крови.

Что было дальше, он не помнил. Мгновеньями приходя в себя, он смутно догадывался, что перекинут через седло лошади и лошадь, скорее всего не одна, все спускается, и спускается, и спускается куда-то вниз. Иногда он слышал голоса проводников, по-видимому, сопровождавших лошадей, и тоскливо догадывался, что слышит не немецкую речь, а явно кавказскую, хотя, какой именно это язык, он не понимал. И язык этот смутной горечью отдавался в его гаснущем сознании.

Пришел он в себя в немецком госпитале. К его удивлению, лечили аккуратно и вполне прилично кормили. Через месяц он был здоров.

Ему выдали красноармейскую одежду и куда-то повели. В одной из комнат госпиталя сидело два человека. Оба были русские. Один допрашивал. Другой записывал. Он назвал свое имя, село, где родился, национальность.

— Пойдешь в кавказскую освободительную армию? — спросил тот, что допрашивал, — учти, немцы уже в твоем селе.

— Это было враньем, но он об этом не знал.

— Я пленный, — ответил он, — готов работать. Но стрелять в своих не могу.

Тот окинул его презрительным взглядом, но, видимо, сразу понял, что уговаривать не стоит.

— Ишачить и без тебя есть кому, — сказал он брезгливо. — Сдохнешь в лагере.

Так он очутился в лагере. Несколько тысяч голодных солдат. Жалкая ежедневная баланда. Иногда вдруг завозили в лагерь дохлых лошадей или баранов. Обезумевшие от голода люди кидались разрывать сырое, гнилое мясо.

Каждый день полный грузовик трупов, а иногда и два раза в день увозили из лагеря. Он ни разу не притронулся к гнилому мясу, жил на одной баланде и страшно ослаб в первую же неделю.

С первого же дня он думал о побеге, но не мог понять, как это сделать. Кругом проволочные заграждения, вышки, часовые. Ни на какие работы никуда никого не выводили. Только грузовик каждый день въезжал в лагерь, и немецкие солдаты вбрасывали в кузов тела умерших. Он и сейчас помнит стук мертвой головы о дно кузова.

Однажды, уже истощенный от голода, в полусне-полубреду он сидел на земле, прислонившись к стенке барака, и, думая, что говорит про себя, оказывается, громко сказал по-абхазски:

— Будь проклята моя судьба!

— Ты абхазец? — вдруг услышал он над собой абхазскую речь.

Он открыл глаза и увидел в пяти шагах от себя стройного, как хлыст, немецкого офицера.

— Да, я абхазец, — сказал он, не веря своим ушам, — а ты тоже абхазец?

— Из каких ты мест? — спросил офицер, не отвечая на его вопрос.

— Я из Чегема, — ответил он.

Офицер больше ничего не сказал и ушел. По полному отсутствию какого-либо акцента Мамба понял, что офицер в самом деле абхазец. Но каким образом он мог стать немецким офицером? Наверное, подумал он, это сын какого-нибудь абхазского князя, бежавшего за границу после революции.

Через полчаса к нему подошел работник кухни и забрал его с собой. На кухне Мамба таскал воду, рубил и пилил дрова, разжигал печь и делал все, что ему велели. Еды стало намного больше, и дней через десять он почувствовал, что теперь в силах бежать.

И, наконец, у него появился план побега. Единственный путь к побегу — канализационная канава. Минуя проволочное ограждение, она подходила к горной реке и вливалась в нее. Река день и ночь, напоминая о свободе, шумела метрах в ста от лагеря.

Обе вышки с часовыми с этой стороны лагеря были достаточно далеко. Но с той стороны колючей проволоки взад-вперед похаживал часовой с автоматом. Через канализационную канаву был переброшен деревянный мостик. Часовой ходил вдоль лагеря. Вверх через мостик примерно пятьдесят шагов. Потом вниз через мостик примерно пятьдесят шагов.

Ночью по канализационной канаве сравнительно легко можно было добраться до колючей проволоки, под которой канава выходит из лагеря. Самое главное было тут. Надо было так рассчитать, чтобы часовой в это время удалялся от моста вниз или подымался от моста вверх. Чтобы он был спиной к тому месту, где будет беглец.

Тут надо было нырнуть в кровавое дерьмо и вынырнуть за колючей проволокой. И сразу же после этого, не останавливаясь, быстро идти вперед и успеть спрятаться под мостом, переждать, пока часовой пройдет вверх или вниз и снова будет спиной к этой спасительной канаве. И тогда снова изо всех сил прорываться к реке. Даже если часовой случайно обнаружит его вблизи от реки, шансы на спасение есть. Убить человека в темноте с такого расстояния не так-то просто. Конечно, если он обнаружит его и не сумеет убить, будет погоня. Но и здесь остается шанс. Ночь и очень быстрая горная река.

Самое страшное, думал Мамба, это, вынырнув из дерьма, от ужаса, от вони, от омерзения не закричать, не задохнуться, не поднять плеск. Вот самое главное.

Если удастся уйти от погони, он будет продвигаться в сторону Майкопа. Там возле города есть сельцо, где жил друг его отца, бывший чегемец. Звали его Ашот Саркисян. Мамба его хорошо помнил и еще совсем пацаном отвечал вместо отца на несколько писем, которые они от него получили в Чегеме. Письма от дяди Ашота писались по-русски, и Мамба догадывался, что их писала одна из дочерей дяди Ашота, а не он сам. Он был уверен, что дядя Ашот спрячет его, а когда фронт приблизится, он постарается уйти к своим.

Интересно, что тот офицер-абхазец, который велел взять его работать на кухню, больше никогда не подходил к нему и демонстративно не замечал его. И тогда у него в голове мелькнула и погасла мысль о каком-то государственном сходстве нашей страны с немецкой. Ему подумалось, что есть общая боязнь вызвать идеологические подозрения. Разумеется, он тогда верил в нашу единственную правоту, и эта мысль, на миг вспыхнув, тут же погасла.

Он доверял парню, который привел его на кухню и сам там работал. И он уговорил его бежать вместе с ним. Тот согласился. Он объяснил ему самое главное: нужно нырнуть в дерьмо под проволоку и, вынырнув с той стороны, быстро скрыться под мостом.

— А ну, затаи дыхание, — сказал он ему.

Тот затаил. С минуту держал воздух в груди, потом выдохнул. Этого было вполне достаточно.

— Умри, но не закашляйся и не плесни, когда вынырнешь, — предупредил он его, — это главное. Остальное будешь делать, как я.

Выбрав безлунную ночь, они забрались в крайний отсек большой ба-



рачной уборной. Легко раскачали и осторожно, чтобы не шуметь, оторвали две доски над канализационной канавой.

Он первым, осторожно нащупав дно ногами, влез в кровавую гниль дезинтерийного дерьма. Поднялся жуткий смрад.

— Давай, — шепнул он напарнику.

— Не могу, — прошептал тот, — меня сейчас вывернет.

— Но мы же договорились? — яростно шепнул он снизу.

— Не могу, не могу, — отвечал тот дрожащим шепотом, — иди без меня... Прости...

Что было делать? Предаст? Не предаст? Или только вонь его остановила? Вылезать было уже поздно, да он и не хотел.

— Заложил доски, как было, — шепнул он своему неудачливому напарнику и, нагнув голову, вылез в открытую часть канализационной канавы.

Пригнувшись, он шел и шел по этой канаве, все время держа в поле зрения смутный силуэт движущегося часового. Время от времени к горлу подступали рвотные спазмы, и тогда он подымал, нет, запрокидывал голову, лоя как бы льющиеся прямо с неба струйки чистого воздуха. Он добрал до проволочной изгороди у выхода из концлагеря. Затаился и, когда часовой прошел мостик, попробовал ногой место, куда должен был поднырнуть, чтобы оказаться по ту сторону концлагеря.

Проклятье! Как он не подумал об этом! Оказывается, и под потоком дерьма, невидимые сверху, проходили три ряда колючей проволоки, прикрепленной к бетонированному выходу.

По горло приседая в дерьме, когда часовой приближался к мостику, а потом, когда тот проходил мостик, выпрямляясь, он изо всех сил, но и стараясь не шуметь, бил ботинком, давил на среднюю проволоку. Проволока не поддавалась.

Теперь он заметил то, что из лагеря не мог заметить. Часовой каждый раз, когда сверху или снизу приближался к мосту, замедлял шаги. Приближаться к канализационной канаве ему было явно неприятно. Но и ждать, пока он пройдет, было невыносимо.

Около часу он долбил ботинком проволоку, но та только слегка сгибалась. И вдруг лопнула! Он сунул руку в дерьмо и, нащупав один конец лопнувшей проволоки, загнул ее вдоль канавы. Пока он, низко нагнувшись, загибал ее, рвотные спазмы усилились, и его вырвало. Слава Богу, часовой был далеко и ничего не услышал. Теперь рвотные спазмы ослабли. Он дотянулся до другого конца проволоки, и, стараясь не уколотся о колючки, изо всех сил завернул ее и даже вонзил конец проволоки в землю, чтобы она не спружинила обратно. Этот конец проволоки особенно долго не поддавался.

Он снова окунул руку в дерьмо и проверил расстояние между нижней и верхней проволокой. Расстояние было достаточным, чтобы пронырнуть между ними.

Главное, ныряя, не зацепиться о колючки. Он решил, что, даже если и зацепится, нельзя ни на мгновение останавливаться, даже если придется рвать одежду вместе с мясом.

Он несколько раз мысленно проделал операцию. Поднырнуть в воде и управлять телом в воде он умел, но как управлять телом в дерьме, кто умеет вообще в нем плавать? И он пришел, как ему казалось, к единственно правильному решению. Надо поднырнуть между рядами проволоки, нащупать на той стороне дно и, цепляясь за него пальцами, тащить тело. А если крепко зацепится, не теряться, а рвать и рвать одежду, тем более что она достаточно ветхая.

Когда часовой отошел шагов на десять вверх по мосту, он вдохнул как можно больше воздуха и, яростью отбивая отвращение, нырнул. Все получилось так, как он рассчитывал. Он нащупал дно и, быстро перебирая руками, вытянул тело. Брюки его все-таки зацепились за колючки нижней проволоки, но он, как и решил заранее, изо всех сил дернулся и, изорвав брюки, вынырнул по ту сторону лагеря.

Скорей, скорей, пока часовой не повернул назад! Опасаясь, что дерьмо затечет в глаза, он боялся открыть их. Инстинктивно откинул голову, тряхнул ею и заставил себя открыть глаза. В глазах щипала какая-то мерзость, но видеть он мог. Он тихо ринулся дальше и остановился под мостом, дожидаясь, когда часовой пройдет над ним и пойдет вниз.

Глаза щипало, как в детстве от мыла. Зная, какая мерзость щиплет ему глаза, он едва удерживался, чтобы, рискуя жизнью, не броситься дальше, к реке, чтобы глаза, глаза — тело черт с ним! — окунуть, промыть в горной воде. Но он взял себя в руки и замер.

Мелко и часто дыша открытым ртом, так меньше воняло, он стоял под мостиком. Наконец раздались шаги. И вдруг часовой остановился посреди мостика. Странно было чувствовать, что он совсем рядом, над головой. Долгую минуту часовой стоял прямо над ним.

Что случилось? Неужели он что-то заподозрил? Если так, сейчас сойдет с мостика и глянет вниз. Снова нырять? Да и надолго ли нырнешь? Отчаянье охватило его. Столько перетерпеть и так глупо погибнуть? Что же он сделал не так? Почему часовой остановился?

И вдруг какая-то струйка задумчиво прожурчала с мостика. Он не сразу понял, что произошло, а когда понял, едва удержался от истерического смеха. Немецкий часовой не нашел другого места помочиться. Этого только беглецу не хватало здесь!

Наконец часовой, сделав свое дело, пошел дальше и, когда он отошел шагов на десять, беглец стал быстро пробираться к победно гремящей реке, ликуя и ужасаясь, что в последний миг что-нибудь сорвется.

Но ничего не сорвалось! Он кинулся в ледяную, в гремящую свободу реки и, выплыв на середину, отдался течению. На ходу множество раз окуная голову и протирая глаза, пока не убедился, что они чисты.

Он плыл и плыл по течению, стараясь почаще выставить вперед руки, стараясь не удариться о камни и вовремя обогнуть валуны, кое-где торчавшие из воды. Течение несло его и несло, и, хотя тело его очугунело от холода, он хотел как можно дальше отплыть от лагеря.

И только после того, как он два раза сильно ударился о торчавшие из воды камни и ни руки, ни тело уже почти не подчинялись ему, он решил выплывать на правый берег, боясь, что потом вообще уже не сможет выбраться из воды. По его расчетам, он уже отплыл километра четыре от лагеря.

Выйдя из воды, он заметил далекий огонек и, надеясь, что это крестьянская изба, пошел на него. Он так околел, что едва перебирал ногами. Чтобы согреться, заставил себя побежать. Ровная травянистая пойма кончилась, и он стал взбираться на холм, откуда светил огонек. Ему еще полчаса пришлось добираться до огонька.

В самом деле это была крестьянская изба. Он долго озирался, прислушивался и, наконец, решив, что немцев по крайней мере в избе нет, постучал в дверь. Тишина. Еще раз осторожно постучал.

Он услышал легкие шаги. Кто-то подошел к дверям.

— Кто там? — спросила женщина.

— Свой, — сказал он как можно проще, стараясь не клацать зубами, — помогите.

— Голодный? — спросила женщина.

— Да, — сказал он, чувствуя, что это самый правильный ответ.

Долгое мгновенье раздумчивой тишины. Наконец, завоzilась у дверей, распахнула.

— Проходи, — сказала она, пропуская его и выглядывая в темноту. Убедившись, что больше никого нет, прикрыла дверь. Сени марлевой занавеской отделялись от комнаты, куда она его ввела. На столе тускло светила керосиновая лампа.

Вдруг ни с того ни с сего мелькнула мысль о таинственной, победной силе света: как далеко светил ему этот маленький лепесток огня! И женщина, словно мгновенно угадав его мысль о свете, словно желая поддержать его в этой мысли, подтянула фитиль, и стало совсем светло. Тут-то она и разглядела его как следует.

— Боже, что с тобой? — сказала она и осеклась, видимо, догадавшись, откуда он.

Он лихорадочно всматривался в ее глаза и прочел в них не страх перед ним, а сочувственный ужас. Он понял, что ей можно довериться.

— Ты бежал? — тихо спросила она у него. Лагерь был слишком близко, и она не могла не знать о существовании его.

— Да, — сказал он и, чтобы успокоить ее, добавил: — но за мной нет погони.

— И ты оттуда приплыл?

— Да.

— Сейчас нагреею воду и ты вымоешься в горячей воде!

— Спасибо...

Он не мог понять, что она имеет в виду — то ли, что от него воняет, что он завшивел в лагере, то ли что он замерз в реке. Сказать, как он бежал из лагеря, почему-то сейчас было стыдно.

Быстро и легко мелькая в своем стареньком ситцевом платье, она развела огонь в печке, поставила на него большой казан воды, принесла из чулана лохань, мыло, мочалку. Все это она делала споро, время от времени озираясь на него и взбадривая его всем своим миловидным обликом. Ее легкость, ее подвижная полнота, ее мелькание обдавали его теплом и уютом.

Вдруг она села на стул и, скрестив руки на груди, взглянула на него.

— Одежду твою надо сжечь в огороде, — сказала она. — Нет, огонь могут увидеть, я ее закопаю.

— А где взять другую? — спросил он, поняв, что в доме нет, а может, и не было мужчины.

— Я тебе дам одежду мужа, — сказала она, — в начале войны пришло письмо, что он пропал без вести. Как ты думаешь, он жив?

— Вполне возможно, — сказал он, — при таком страшном отступлении трудно учесть, кто где.

— Может, как ты, — в лагере? — вздохнула она.

— А может, и в партизаны ушел, — постарался он приободрить ее более достойным предположением.

— Дай Бог, — вздохнула она и задумалась.

— Мойся, — обрывая раздумья и быстро вставая, сказала она, — вот ведро, вот холодная вода, а вот горячая.

— Может, мне на огороде помыться, — сказал он, стесняясь, — дело в том, что я бежал через канализационную канаву.

Ему было стыдно признаться, как он бежал, но еще стыдней было бы, если б она, трогая его одежду, почувствовала бы к нему брезгливость.

— Беденький, — вздохнула она и, видимо, подумала о своем муже: — там совсем плохо?

— Ад, — сказал он, — трупы грузовики вывозят каждый день... Но, может, в других лагерях лучше... Не знаю...

Она полезла в комод, вытащила оттуда трусы, майку, рубашку, брюки, носки и положила все это на стул рядом с лоханью.

— А вот и тапки, — легко нагнулась и, достав их из-под кровати, подбросила ему. — раздевайся. Грязное — в сени. Я потом возьму.

Она вышла из дому. Он разделся и аккуратно сложил одежду в сенях. Ботинки оставил возле лохани. Они были еще вполне крепкими, и он испытывал к ним благодарность за то, что они справились с колючей проволокой.

Он залез в лохань и вымылся. Что это было за блаженство! Горячая вода, мочалка, мыло! Потом вымыл ботинки, прислонил их к печке, чтобы они высохли, вытерся полотенцем и залез в свежую одежду. Он теперь блаженно расселся на топчане. До этого он не садился вообще, боясь, что река все-таки недостаточно промыла его одежду.

— Можно? — крикнула она с улицы, словно он теперь здесь стал хозяином.

— Да, — ответил он радостно.

Она вошла и посмотрела на него сияющими глазами.

— Хорошо?

— Уф! Заново родился, — сказал он.

— А как тебя зовут? — спросила она, улыбаясь красивыми зубами, словно теперь, когда он смыл с себя все чужеродное и стал самим собой, самое время узнать его имя.

— Алексей, — сказал он.

— А я Маша, — отозвалась она.

Он помог ей слить из лохани воду в помойное ведро и хотел вынести его, но она ему не дала.

— Теперь уж не вылезай, — сказала она многозначительно и, легко подхватив ведро, вынесла его из дому. Еле слышно за домом шлепнула вода. Они слили из лохани еще одно ведро, и она опять легко подхватила его и вынесла из дому.

Быстро собрала ужин. Поставила на стол хлеб, сало, картошку, творог. И вдруг вынесла из чулана еще бутылку самогона, заткнутую кукурузной кочерыжкой. Это был пиршественный стол, и особенно его умилила пробка из кукурузной кочерыжки. Так в родном Чегеме затыкали бутылку с чачей. Она разлила самогон по стаканам. Ему полстакана, себе поменьше.

— За вашу встречу, — поднял он стакан, имея в виду мужа, и почему-то захотел его назвать по имени, но имени не знал.

Он еще даже не успел договорить или запнуться, как она все угадала.

— С Юрой! — подсказала она быстро.

— Да, с Юрой, — повторил он, — я никогда не забуду, что ты для меня сделала. Буду жив — отблагодарю.

— Спасибо, — ответила она задумчиво. — это Бог так устроил. Именно сегодня моя мама решила пойти к сестре и остаться у нее ночевать. От всех этих дел, от войны она тронулась. Ничего не соображает. Если б ты при ней пришел, она бы могла рассказать об этом соседям. Не со зла. Ничего не соображает.

Они выпили, и он стал закусывать, стараясь сдерживать аппетит.

— Я верю в Бога, — вдруг сказала она, — а ты?

— Нет, — ответил он, сожалея, что, вероятно, огорчит ее этим, но уже чувствуя к ней такое доверие, что не мог ей соврать.

\* \* \*

И сейчас через бездну лет Алексей Ефремович, вспоминая об этом, подумал, что вопрос о Боге и теперь его не волнует, хотя стало модно ходить в церковь и читать религиозные книги.

Иногда в квартирах знакомых он видел Библию и догадывался, что эта книга скорее всего их детей или внуков.

Однажды от нечего делать в гостях у одного своего приятеля он взял Библию, надел очки и лениво листанул ее в середине. Надо сказать, что ему попала не вполне удачная страница. Там говорилось о каком-то беспощадном сражении, где врагами был убит мечом какой-то древний военачальник. На следующей странице об этом же военачальнике говорилось, что он был насмерть заколот копьем.

Алексей Ефремович очень удивился и даже протер платком очки и снова перечитал все сначала. Может, первое сообщение было предположительным, а он на это не обратил внимания? Но нет. И о смерти военачальника от меча, и о его же смерти от копья сообщалось твердо и определенно.

— Бред! — клокотнул Алексей Ефремович.

Он захлопнул книгу, поставил ее на место и больше о ней не вспоминал. Увлечение сейчас многих людей церковью он считал не достойным взрослого человека кривлянием.

Однажды он летел за границу вместе с большой делегацией. Там было несколько военных, они летели на конференцию по разоружению. Хотя он уже был давно в отставке, но почему-то о нем вспомнили и пригласили его.

Тогда отношение к церкви уже сильно смягчилось, но верующий военный, да еще генеральского ранга, все же выглядел подозрительно.

Генерал, сидевший рядом с ним, перед взлетом самолета воровато покосился в сторону руководителя делегации и вдруг быстро и мелко перекрестился.

— Что, Виктор Андреевич, — съязвил Алексей Ефремович, — вы считаете, что Бог, заметив, что вы перекрестились, подставит ладонь под наш самолет, а то, что вы начальства боитесь больше Бога, он не заметит?

Сосед ничего не сказал, но надулся, как обиженный ребенок. Впрочем, ненадолго.

\* \* \*

Алексей Ефремович снова мысленно вернулся в далекий, как сон, дом этой юной и доброй женщины. После сытной еды и третьего стакана самогона ему вдруг страшно захотелось закурить. За время немецкого госпиталя и концлагеря он почти отвык курить, а тут вдруг мучительно захотелось.

— Что, закурить? — вдруг сказала она и, легко вскочив, стала рыться в комод.

Вероятно, я, сам того не заметив, сделал какое-то движение, подумал он, поражаясь ее отгадчивости и не сводя с ее лица своего потрясенного взгляда.

Улыбаясь красивыми, ровными зубами, она победно принесла кiset табака и маленькую книжцу довоенной папиросной бумаги. Такими книжками ее продавали тогда.

— Юрины запасы, — сказала она, положила на стол кiset и дала ему в руки книжцу папиросной бумаги. Быстро прошла в чулан и вернулась оттуда с коробком спичек. Села напротив, ожидая, чтобы ему стало совсем хорошо. Он закурил, и ему стало хорошо, как никогда.

Они разговорились. Она сказала, что до оккупации работала учетчицей в колхозе. С мужем еще до войны прожила полгода, а потом его забрали в армию. И сейчас, кроме мамы и сестры, мужа которой убили на фронте, у нее никого из близких не осталось.

Он ей рассказал, как они сражались в горах, как трудно было с боеприпасами, а особенно с едой. Красноармейцы, рискуя жизнью, охотились за немецкими разведчиками, потому что у них всегда был при себе запас еды. Он поделился с ней своими планами идти в сторону Майкопа, найти там друга отца, спрятаться у него, а когда приблизится фронт, попытаться перейти к нашим.

Но о чем бы они ни говорили, он чувствовал, как время от времени его как бы с головой накрывает волна нежности к этой милой женщине, и он с каким-то радостным испугом выныривал из этой волны, наслаждаясь подхватывающим его потоком и одновременно уверенный, что все-таки сильнее его и никогда, никогда не переступит границу. И, казалось, этот поток дохлестнул и до нее, она притихла, сжалась, но потом вдруг вскочила:

— Ты устал. Тебе рано вставать. Надо ложиться.

Она постелила ему на топчане, взбила подушку. Потом убрала со стола, а он в это время сидел на стуле, не в силах отвести от нее глаза. Сейчас движения ее были резкими, и она ни разу на него не взглянула.

— Все! Спокойной ночи! — сказала она и, подойдя к столу, сильно дунула в лампу. Стало темно.

Быстрые шаги в сторону кровати. Шелест платья, которое она сбрасывала с себя, грохнул в душу. Шум откинутого одеяла, скрип кровати. Не помня себя, он разделся и лег на топчан.

И была долгая тишина. Он невольно вздохнул в тишине и вдруг услышал такой же тяжелый вздох в темноте. Нет, нет, подумал он, я не клятвопреступник, и вдруг провалился в глубокий сон.

— Вставай! Вставай! Уже светло! — услышал он ее голос, и рука ее ласково потрепала его по волосам.

Он замер от невероятной сладости этого прикосновения, боясь спугнуть его. Но она быстро убрала руку. Он привстал. Она стояла перед ним, улыбаясь красивыми ровными зубами, все такая же свежая и молодая, все в том же ситцевом платье. Она отвернулась, и он быстро оделся.

— Вот Юрина бритва, помазок и зеркало! — кивнула она на стол.

Печка гудела. Она подала ему кружку с горячей водой. Окуная туда помазок, а потом намыливая его в мыльнице, он тщательно выбрился, вымыл лицо и вытерся полотенцем.

— Совсем мальчик, — всплеснула она руками, — кто поверит, что ты бывший командир. И это хорошо.

Он и так всегда выглядел моложе своих лет, а сейчас от худобы казался совсем юным.

— Я тебе дам Юрину колхозную книжку, — сказала она и, достав ее из комода, положила на стол, — ты теперь Юрий Иванович Тихонов. Запомни.

— Кто же поверит, что я русский? — сказал он растерянно, однако, взяв книжку со стола, положил ее в карман.

— Главное сейчас — незаметно уйти из нашей деревни, — сказала она, накрывая на стол, — а немцы поверят. Для них главное папир. А папир у тебя теперь есть. Ничего особенного. Сейчас многие ходят, ездят, меняют вещи на продукты.

Они сидели и завтракали. Его опять охватила лихорадка борьбы за



жизнь. Надо как можно скорее и как можно дальше уйти из этих мест. Он плотно поел, выпил два стакана самогона. Тут она принесла пиджак мужа и заставила его надеть. Он сунул в боковой карман кисет с табаком, спички, книжицу папиросной бумаги и перочинный ножик, который она откуда-то извлекла в последнюю минуту. Его уже ждал рюкзак с буханкой хлеба, шматком сала и вареной картошкой в мундире.

— Не забудь, — хлопнула она по кармашку рюкзака, — здесь соль.

Он надел рюкзак и, разгоряченный самогоном, предстоящей опасной дорогой, а главное, невероятной добротой этой женщины, не знал, как быть, не знал, как ее покинуть.

Вдруг она рассмеялась, опять сверкнув ровными зубами, и сказала:

— Мальчик-ушастик едет в гости к дяде!

И он прильнул к ней всем телом, всей душой и обнял ее, и она сама прижалась к нему и сама поцеловала его прямо в губы. Голова у него закружилась, но в следующий миг она оттолкнула его от себя:

— Иди, иди!

— Спасибо, спасибо, — бормотал он, чувствуя, что не в силах сдерживать слез.

— И тебе спасибо от Юры, — вдруг сказала она со странным лукавством и опять сверкнула улыбкой.

Никого не встретив на пути, он быстро вышел из села и пошел проселочной дорогой. Перед его глазами время от времени всплывало лицо Маши, ее улыбка, ее быстрые движения. Он старался идти как можно быстрее, чтобы как можно дальше уйти от этих мест, уйти от возможной погони. И он чувствовал и удивлялся, что сила восторга перед этой женщиной дает ему энергию все дальше и дальше отдаляться от нее.

За этот день он прошел два села, удивляясь обычности жизни в тылу немцев, радуясь, что его никто не останавливает и ни о чем не спрашивает. Два раза по пути ему встретились немецкие грузовики с солдатами. Они промчались мимо. Ориентировочно он знал, что идет в сторону Майкопа, но, сколько километров до него, не знал.

К вечеру он вошел в подсолнечное поле. Он прошел его и увидел ручей, протекавший между полем и лугом с прошлогодними стогами сена. Здесь он решил поужинать и заночевать. Снял рюкзак, прилег над ручьем и напился. Открыл рюкзак, отрезал большой кусок хлеба, несколько ломтей нежного сала, вынул несколько картофелин и стал есть, макая картошку в соль, которую он отсыпал на лист подсолнуха. Поев, он аккуратно сложил свои запасы в рюкзак. Когда совсем стемнело, он осторожно вышел на луг, подошел к стогу и быстро зарылся в него. За целый день он ни разу не присел и потому мгновенно уснул.

Утром пошел дальше. Теперь он стал гораздо смелее, чувствуя, что на него никто не обращает внимания, и уверенный, что теперь ушел от погони, если она была.

Проходя через какой-то поселок, он увидел идущего навстречу человека. Лицо его показалось ему достаточно добрым, и он осмелился спросить у него:

— Как дойти до Майкопа?

— Дойти? — удивился тот, — до Майкопа можно доехать. Идите по этой дороге, перейдете через мост, увидите шоссе. А там на попутной машине доедете до Майкопа.

Он вышел к мосту через реку. Догадался, что это та же река, по которой он плыл, обрадовался и вдруг увидел немецкого часового, стоящего у моста. Поворачивать уже было поздно и опасно. Он понял, что и часовой его видит. И он, не останавливаясь, пошел к мосту, стараясь подавить волнение и делая вид, что не замечает часового. Часовой как будто не обращал на него внимания, но, когда он уже выходил на мост, вдруг окликнул его. Он взглянул на часового. Тот жестом пригласил его к себе. Он вынул колхозную книжку и стал к нему подходить. Наверяд ли немец поймет, что он не русский. Может, он и читать по-русски не умеет, думал он.

— Папир, — сказал он, протягивая ему колхозную книжку. Тот бросил небрежный взгляд на книжку, а потом строго спросил у него:

— Юде?

Он не слышал этого слова и не понял его значения. Но понял, что тот что-то спрашивает и надо соглашаться с человеком, от которого зависит твоя судьба.

— Да, да, — снова закивал он и снова попытался обратить внимание немца на свою колхозную книжку.

На этот раз часовой на книжку даже не взглянул. Но, как бы удивленно заинтересовавшись им, снова спросил:

— Юде?

— Да, да, — снова закивал он.

Теперь немец не сводил с него глаз. Вдруг он сделал к нему шаг, переложил автомат в левую руку, а правой стал щупать ему голову, затылок, шею и даже завернул ухо. Мамба растерялся и никак не мог понять, что ему надо.

— Юде? — уже раздраженно спросил его немец.

— Да, да, — внятно повторил он, стараясь ему угодить.

Немец убрал руку, задумался, напрягся и вдруг выпалил по-русски:

— Еврей?

— Нет, нет! — крикнул Мамба и добавил, тыча себе в грудь: — Я абхаз!

— Кауказ? — переспросил немец.

— Да, да, — закивал Мамба.

Немец успокоился и показал ему рукой, что он может идти, и, сам повернувшись спиной, отошел к краю моста.

Мамба быстро пошел по мосту, на ходу пряча книжку в карман. Ликуя, что избежал смертельной опасности, он старался понять действия немца. То, что немцы делают с евреями, он прекрасно знал. Видимо, думал он, мой горбатый нос показался ему подозрительным, и он поэтому меня остановил. А потом, пощупав голову, понял, что она не соответствует тем признакам, по которым их учили отличать еврея от нееврея. Он об этом что-то слышал, но никогда этому не верил. Но, значит, есть какие-то признаки, если немец несколько раз его переспрашивал?

...И только позже, став более зрелым человеком, он понял, что никаких особых признаков вообще нет и что немца смутило не отсутствие у него каких-то признаков, а та подозрительная легкость, с которой он с ним соглашался. Потому-то тот и напряг память, и повторил это слово по-русски.

За мостом он вышел на шоссе, но, не рискуя идти по нему, свернул и теперь шел по лугам, перелескам, по кукурузным и подсолнечным полям, стараясь все же не слишком отдаляться от шоссе.

Жизнь, которую он замечал вокруг себя, была достаточно мирная, но именно это внушало ему интуитивное опасение связываться с людьми или тем более проситься к кому-нибудь на ночлег. Казалось, немцы здесь не внушают никому опасения, и именно поэтому он старался ни с кем не связываться.

Через два дня у него кончились курево и еда. Он опять привык курить и теперь мучился от отсутствия курева.

Возле какого-то поселка ему навстречу шел человек средних лет и курил. И он не выдержал.

— Разрешите папироску? — попросил он, когда они поравнялись. Тот бросил на него холодноватый взгляд, но вынул мятую пачку и протянул. Мамба взял папиросу и попросил прикурить, хотя спички у него еще оставались. Возможно, он хотел, чтобы добрый поступок этого встречного проявился со всей полнотой, но получилось все наоборот. Человек, давая ему прикурить, вдруг насмешливо процедил сквозь зубы:

— Может, тебе еще и губы дать?

Внутренне извиваясь от стыда и оскорбления, он все-таки прикурил и пошел дальше. И он почему-то на всю жизнь возненавидел этого человека. В своих воспоминаниях он ненавидел только его, хотя другие пытались и убить, и предать его в этой долгой дороге, но ненавидел он только этого. Ничего в мире нет подлее хлеба, изгаженного презрением и протянутого голодному, когда знают, что голодный не откажется и от такого хлеба!

К вечеру голодный, как зверь, Мамба вышел на лесную полянку и увидел десяток улыев. Сердце у него забилось от радости. Он знал по чегемскому мальчишеству, как вскрывать улыи. Надо было найти сухой валеж-

ник, разжечь костер и, когда валежник раздымится, вскрыть улей и, отмахиваясь дымящейся головешкой от пчел, срезать соты. Нож был в кармане.

На всякий случай он огляделся и вдруг увидел на опушке леса шалаш. Почти уверенный, что там никого нет, он все-таки подошел тихо и заглянул внутрь. В шалаше на лежанке сидел старик с мягкой благообразной бородкой. У его ног стояло ведро, почти наполненное сотами. Из ведра торчала свежеструганая дощечка, вонзенная в соты.

— Здравствуйте, дедушка, — сказал Мамба, остановившись у входа.

Старик поднял голову и только теперь заметил его.

— Здравствуй, мил-человек, — ответил старик, — издали будешь?

— Иду в Майкоп, — неопределенно сказал он, стоя у входа.

— Садись, в ногах правды нет, — кивнул старик на лежанку, — до Майкопа ботинки износишь, пока дойдешь, хотя они у тебя крепкие...

Мамба сел. Теперь они сидели рядом, в метре друг от друга.

— Дедушка, — сказал он, — меду не продадите?

— А сколько у тебя денег? — спросил старик, глянув на него ясными васильковыми глазами.

— Денег нет, — вздохнул он, — вот пиджак могу дать.

— Зачем мне твой пиджак, — сказал старик, глянув на пиджак, — мед у меня свой. Угощайся.

Он склонился к ведру, стоявшему у ног, туго провернул дощечкой и осторожно вытащил ею большой ломоть сочащихся сот.

— Ешь! Не жалко!

— Спасибо, — сказал Мамба и стал растерянно озираться, не зная, как взять этот сочащийся ломоть.

— А вон мисочка, — кивнул старик на конец лежанки, где стояла деревянная миска, прикрытая старым полотенцем. Мамба скинул полотенце, дунул в миску и подставил старику. Старик шмякнул в нее ломоть и снова вонзил дощечку в содержимое ведра.

Миска приятно потяжелела. Мамба поставил ее на колени, вынул перочинный нож, раскрыл его и, отрезав кусок от сот, поймал его губами и стал есть, выжевывая и высасывая из него ароматный мед.

— А откуда ты будешь родом? — благостно спросил старик, глядя, как он ест.

— Я из Абхазии, — сказал Мамба, причмокивая и блаженствуя.

— Так у меня же абхазские пчелы, — сказал старик, — я семь лет прожил в Абхазии. Знаешь такое место — Псху?

— Конечно, знаю! — вскрикнул Мамба, радуясь, что старик жил у него на родине. — Но сам я там не бывал... Там сейчас немцы...

— Немцы, мил-человек, скоро везде будут...

Что-то кольнуло в груди беглеца, но съеденный мед успокоил: старик, что с него возьмешь.

— А здесь их много? — спросил он.

— Мне они не докладывают, — ответил старик и снова посмотрел на него васильковыми глазами. — Но как же ты из Абхазии здесь оказался? Мамба хотел сказать правду, но что-то его удержало.

— Гостил у земляка, — сказал он, снова принимаясь за соты, — война меня здесь застала.

— Не успел уехать?

— Не успел.

— Долго же ты раздумывал, — сказал старик и добавил: — Дать еще меду?

— Спасибо, — сказал Мамба и подставил миску.

Отмахнув ладонью пчел, кружащихся над ведром, старик снова провернул дощечку и, вынув ее, сквырнул ему в миску кусок сота поменьше.

— Куда ж ты на ночь глядя пойдешь, — раздумчиво сказал старик, — хочешь, идем ко мне домой... А то в шалаше оставайся. Только не сожги его.

Мамба подумал, подумал и решил все-таки оставаться в шалаше. Мало ли кто у старика дома и какие у него там соседи.

— Я, пожалуй, останусь, — сказал он, — спасибо за мед.

— Абхазская пчела — лучшая в мире, — проговорил старик и осторожно столкнул ногтем большого пальца правой руки пчелу, севшую ему

на левую руку. Подняв на Мамбу васильковые глаза, добавил: — У нее самый длинный хоботок... Самый длинный... Может, и лучше остаться тебе здесь. У меня невестка злая. Ну, я пойду. Куда-то собачка ускакала.

Старик поднялся и, став у входа в шалаш, начал громко кричать: — Рекс! Рекс! Рекс!

Тяжелое дыхание собаки Мамба услышал раньше, чем увидел ее. Старик сделал шаг назад, как бы приглашая собаку, и Мамба увидел огромную, лохматую кавказскую овчарку. Она молча уставилась на него. Почувствовав смутную тревогу, он взглянул на старика и вдруг заметил, что профиль его искажен злобой. Похолодел. Выплюнул изо рта вощину и, не выпуская собаки из вида, мгновенно оглядел шалаш, ища, чем защититься. Цапнул глазами из старого костра самую увесистую головешку.

— Взять, Рекс! — взвизгнул старик. — Большевикского шпиона!

Но пока старик кричал, Мамба выхватил эту головешку. Он вырос в пастишеской деревне и знал, как обороняться от злых собак. Короткий рык, и собака, разинув огнедышащую пасть, прыгнула на него. Он сунул в разинутую пасть свою головешку и молниеносно, не давая времени прикусить ее, задвинул подальше в глотку. Собака рухнула на землю, вздымая тучу золы, завывала от боли и высочила наружу.

Быть приглашенным под кров хозяина, съесть его хлеб-соль и быть им преданным — это было чудовищно для еще слишком чегемского сознания беглеца!

Бешеный, но и ясно владея своим бешенством, пригибаясь, чтобы не задеть крыши, он размахнулся головешкой и ударил старика по голове. Старик опрокинулся, кусок головешки отлетел. Она стала короче, но и острее.

В это мгновение собака снова прыгнула на него, и он снова успел просунуть ей до самой глотки свою головешку. Собака рухнула, завывала от боли и высочила из шалаша, оглашая окрестности громким лаем, выфыркивая кровь, капающую у нее изо рта.

Однако она стояла у самого выхода из шалаша и не намерена была его выпускать. Мысль его работала быстро и четко. Перочинный нож! Нет! Слишком короткое лезвие!

И никак нельзя было затягивать борьбу с собакой. Она лаяла слишком громко и могла привлечь внимание людей, если они где-то близко живут. Он не знал этой местности.

Испугать ее было невозможно, и невозможно было убить ее этой укороченной головешкой. Он выхватил еще одну головешку из потухшего костра. Она была не так увесиста, как первая, но подлинней. Тряхнул ее в руке — прочная, выдержит.

Теперь он держал в левой руке ту, первую головешку, а в правой зажал эту, которая была подлинней. Он решил дать собаке прикусить укороченную головешку и бить ее в это время второй.

Собака продолжала громко лаять, стоя у входа в шалаш, время от времени отфыркиваясь от крови, капающей у нее изо рта. Он видел, что она не сводит яростных глаз именно с той головешки, которая вонзалась ей в глотку. Однако прыгать на него она теперь не решалась.

Скорей, скорей! Она слишком громко лает! Выдвинув левую руку с обломком головешки, он решительно пошел на собаку. Она не выдержала его решительности и попятилась, продолжая захлебываться лаем.

Он остановился, и собака снова приблизилась, не сводя глаз с укороченной головешки. Скорей! Скорей! Надо дать ей прикусить ее, а потом бить той, что зажата в правой руке. Бить по голове. Насмерть.

Ярость собаки не утихла, но теперь собака была гораздо осторожней. Он опустил руки вдоль тела, чтобы она стала посмелей. Иначе она не даст ему уйти и будет лаять в двух шагах от него.

Видя, что он не действует, собака, продолжая захлебываться лаем, приблизилась к нему с того боку, откуда торчал ненавистный обломок головешки. Он изо всех сил держал себя в руках, не делая никаких оборонительных движений, чтобы дать ей осмелеть, и в то же время не выпуская ее из глаз. Спокойно! Спокойно! Спокойно! И нервы у собаки не выдержали.

Она прыгнула, и он успел выбросить вперед левую руку с обломком головешки. Собака вцепилась в нее зубами и, стараясь выдернуть ее из его

руки, с такой силой потянула его, промотала, проволокла на несколько шагов, что он едва удержался на ногах.

Наконец, изловчился и ударил ее головешкой, которую держал в правой руке. Но удар получился неточным, палка только скользнула по голове и отпружинила, выбив клок шерсти на мощной холке собаки. Он опять изловчился и ударил по голове собаку, которая все еще пятилась и мотала его. На этот раз он понял, что попал хорошо. Собака зарычала и рванулась ко второй головешке, почему-то не бросая ту, что зажала в зубах. Он бил и бил ее по голове уже и после того, как она свалилась.

Наконец, она затихла, так и не выпустив из пасти первую головешку. Разгоряченный схваткой и удивленный, что собака почему-то после первых ударов не бросила зажатую в зубах деревяшку и не кинулась на него, он с трудом расштал и вынул ее из пасти собаки. Теперь он понял, в чем дело. Она так глубоко прокусила головешку, что не смогла вытащить зубы.

Он быстро вернулся в шалаш. Старик лежал с открытым ртом. Лицо его было залито кровью, и кровь по капле стекала с его бороденки. Вспомнив, с какой силой собака сжала клыками головешку, он представил, что бы с ним было, если б она добралась до его глотки.

И он злоратно выгреб руками соты из ведра, шмякнул их в рюкзак, закрыл его, закинул за плечи и быстро пошел в сторону леса. Уже в лесу, часа через два, остынув от всего, что случилось, он почувствовал, что пиджак его разорвался на спине и под мышками. Он понял, что в таком виде опасно встречаться с людьми.

Он вынул из внутреннего кармана колхозную книжку, потом из внешнего кармана спички и перочинный ножик и положил все это в брюки. На всякий случай проверил второй внутренний карман, куда он ничего не клал, и вдруг нащупал в нем какую-то бумагу. Он ощутил, что это деньги. Это была красная тридцатка.

Он снова вспомнил Машу и теперь догадался, что это не случайно застрявшие в пиджаке мужа деньги, а она из деликатности, боясь, что он не возьмет, сунула их туда. И мысленно сравнивая ее с этим стариком, он почувствовал необъяснимое таинство человеческой доброты и человеческой подлости. Он скинул пиджак, свернул его и спрятал в кустах, чтобы он не бросался в глаза.

...И только через много лет, вспоминая этого старика, Мамба как будто сумел правильно его вычислить. Еще в детстве он знал, что в этом горном малодоступном местечке Псху почему-то поселились русские люди. Это были, видимо, крестьяне, бежавшие от раскулачивания. И, вероятно, некоторые, как этот старик, когда схлынула волна репрессий, вернулись к себе. Да, у старика были свои счеты с советской властью, однако натравливать на него собаку-убийцу он не должен был. Он не изменил своего отношения к этому старику, но понял, как ему казалось, более сложную природу этого внезапного предательства.

...До самой поздней ночи Мамба шел и шел по лесной тропе, стараясь как можно дальше уйти от места убийства старика. Случайно услышав журчанье ручья, он подошел к нему, напился и, сев возле него, выжевал несколько кусков сот. За большим дубом он на ощупь пригреб палые листья и, свернувшись калачиком, лег спать.

Утром позавтракал медом и напился воды. Он старался пить как можно больше, про запас, не зная, когда и где напьется снова. День обещал быть солнечным. И вчерашняя встреча со стариком и его собакой казалась невероятной.

Так он шел и шел сквозь зеленый лес, сквозь успокаивающее душу чириканье птиц, как вдруг услышал конский топот. И, не успев сообразить, как к этому отнестись, увидел показавшегося из-за поворота тропы всадника, и всадник увидел его. Бежать было вроде поздновато и незачем. Ведь столько людей он встречал в пути, и никто у него ничего не спрашивал, кроме старика. Так ведь сам же он вошел в шалаш и подсел к нему.

Стараясь держаться непринужденно, он продолжал идти навстречу всаднику. Лицо у всадника было красное, и он покачивался в седле. Пьян, вдруг понял он и почувствовал тревогу. Было видно, что опьянение это было злым, сумрачным. Всадник не сводил с него опухших глаз.

— Стой, — крикнул всадник, когда Мамба был от него в трех шагах. Он остановился.

— Откуда? — спросил всадник.

— Был у родственников в гостях, — сказал Мамба приготовленную фразу и назвал поселок, который он проходил, достаточно далекий отсюда.

Он знал, что колхозную книжку этому человеку нельзя показывать. Он сразу поймет, что она чужая. Он знал, что по-русски говорит с акцентом. И он почувствовал, что этот человек представляет какую-то власть: защитного цвета рубашка, галифе, сапоги. Тяжелый живот нависал над поясом, стягивавшим рубашку.

— Знаю, — миролюбиво протянул всадник, — а куда идешь?

— В Майкоп, я там живу, — сказал он и вдруг по лицу всадника понял, что сказал не то.

— Лесом до Майкопа?! — презрительно хмыкнул всадник, — документы!

— Да нет у меня документов, — придураясь голосом, ответил он, — я же был у родственников.

И вдруг всадник молча вытащил «вальтер» и направил ему в голову. Холодея и чувствуя, что тот может выстрелить хотя бы потому, что пьяный, Мамба глянул в круглое отверстие ствола пистолета, и оно на его глазах расширилось, как отверстие ствола пушки.

— Вперед, партизанская сволочь! — крикнул всадник.

— Какой я партизан, — сказал он, не сводя глаз с огромного, невероятного отверстия ствола пистолета, направленного на него, — у меня нет никакого оружия.

— Вперед! — рявкнул всадник и стал наезжать на него конем. — Там разберемся.

И он повернулся и пошел впереди коня. Что делать, что делать, растерянно думал он, боясь, что теперь откроется и убийство старика. И вдруг он с ужасом подумал о том, что по колхозной книжке, там было название колхоза, легко установят, что он ее получил от Маши, и, если поймут, что он бежал из плена, ее расстреляют, как и его! Страх и растерянность мгновенно улетучились. Совершенно забыв о себе, он теперь думал только об одном, как избавиться от колхозной книжки.

Любо, братцы, любо,  
Любо, братцы, жить!..—

вдруг запел вполголоса всадник, потом замолк. Мамба оглянулся. Пистолет в руке всадника был опущен, голова тяжело свесилась на грудь. Но он поднял голову, взглянул мутными глазами, приободрил руку с пистолетом и пробормотал:

— Вперед! Вперед!

Мамба безропотно пошел дальше. Через некоторое время он на миг оглянулся и заметил, что у всадника снова свесилась голова. Так он несколько раз оглядывался, иногда встречаясь с ним глазами. Но он установил и некоторую закономерность. Там, где тропа была поглаже, меньше переплеталась корнями и была прямой, там всадник, кляня носом, дольше ронял голову на грудь.

И он ждал. И вот тропа вытянулась. Она проглядывалась метров на тридцать. Он решил попробовать. Лошадь ровней застучала копытами. Он оглянулся. Голова всадника тяжело упала на грудь. Мамба быстро вынул колхозную книжку и одним коротким, чтоб не вспугнуть лошадь, но сильным махом забросил ее в кусты.

Прекрасно! Всадник ничего не заметил.

И сразу полегчало. Он почувствовал, что к нему возвращается сила сопротивления.

Бежать! Бежать! Бежать! Но как? Ему представились два способа. Или бежать, когда всадник задремлет. Или, опять же когда всадник задремлет, подскочить и выбить у него из рук пистолет. Хотя бы успеть схватить руку с пистолетом. Дальше он с ним справится, он это знал. Второй способ — смертельная опасность, но короткая. Если всадник успеет поднять голову — хана. Вгонит в меня всю обойму, думал он.

Первый способ как бы менее опасный, но опасность длительней. Он, конечно, погонится за мной и будет стрелять. Но если несколько секунд выиграть, можно уйти. Попасть с лошади в бегущего человека не так-то просто, тем более между деревьями. Пустить лошадь галопом он не сможет, во всяком случае, не везде. Лес достаточно заколочен.

Он выбрал побег. Он весь напрягся, стараясь спешкой не испортить дело. Ждал. Он выбирал место, где деревья растут погуще. Вот оно! Тихо оглянулся. Голова всадника болталась на груди, тяжелые веки прикрыты.

Впереди, вправо от тропы, толстое дерево. Надо как можно тише запрыгнуть за него, а там бежать и бежать, прикрываясь деревьями и зарослями колючих кустарников.

Он снова оглянулся. Бесшумно сошел с тропы и возле толстого дерева, до которого оставалось метра три, собрав силы, прыгнув в его сторону. Он допрыгнул до дерева, но под ногой сильно хрустнула ветка, которую он не заметил.

— Стой! — раздалось, как только хрустнула ветка, и сразу же выстрел, но он уже был за деревом.

Рванул напрямик от него, зная, что еще несколько секунд оно его будет прикрывать, и дальше, дальше, прыгая за деревья и кусты и слыша за собой беспорядочные выстрелы, топот лошади и хруст раздираемых кустов.

Потом выстрелы смолкли, но топот был еще слышен, потом замолк топот, и опять раздалось выстрелы. Видно, всадник перезарядил пистолет и теперь скорее всего стрелял от ярости, наугад. Он продолжал бежать, пока хватало дыхания. Поняв, что сейчас упадет, он остановился. Прислушиваясь и стараясь отдышаться. Ничего не было слышно.

Он пошел дальше, опасаясь, что это только передышка, потому что всадник, если он его принял за партизана, может организовать погоню. Он шел несколько часов и остановился у лесного ручья. Припал к воде и долго пил воду. Он почувствовал, что смертельно устал и ничего не хочет. Однако заставил себя открыть рюкзак и, чтобы укрепить силы, съел, выжевал большой ломоть сот. Мед ему был сейчас противен, но он заставил себя есть. Вдруг он подумал, что если его поймают, то по остаткам сот могут связать его с убийством старика. В глубине души ему и так было неприятно (но он отгонял от себя эту мысль), что вынужден есть мед убитого им старика. И теперь он решил забросить куда-нибудь подальше рюкзак с остатками сот.

Он пошел прямо по руслу ручья, чтобы сбить погоню, если за ним придут с собаками. Через несколько километров, заметив заросли ежевики, забросил туда рюкзак.

Он прошел по ручью еще несколько километров, а потом вышел из него и углубился в лес. Он шел всю ночь, время от времени останавливаясь, чтобы передохнуть. Часов в десять утра внезапно перед ним открылась шоссейная дорога. Вдалеке, по ту сторону шоссе были видны домики какой-то деревни.

У края шоссе он увидел одинокую фигуру женщины с мальчиком лет двенадцати. Теперь ему свои были страшнее, чем немцы, но он подошел к ним и молча стал рядом. Женщина с мальчиком явно ждали попутной машины. У ног женщины стояла корзина. Женщина была одета в старый плащ, на ногах солдатские ботинки. На вид ей было лет пятьдесят. У нее было суровое скуластое лицо. Она окинула его внимательным взглядом узких синих глаз. Он пытался угадать, кто она. На вид городская. Может быть, приезжала в деревню менять вещи на продукты? В корзине белели яйца. Лицо женщины не располагало к общению, но и молчать дальше было бы еще подозрительней.

— Вы ждете машину на Майкоп? — спросил он.

— Да, — кивнула она и снова внимательно его оглядела.

— Мне тоже надо на Майкоп, — сказал он.

Она снова его внимательно оглядела и, помолчав, вдруг спросила:

— А у вас пропуск есть?

— Нет. У меня есть тридцать рублей.

— Нужен пропуск, — сказала она, — без пропуска не возьмут.

— А далеко до Майкопа? — спросил он.

— Километров сто, — сказала она.

Он так приуныл, что она это поняла по его лицу.

— Не тревожьтесь, — вдруг сказала она и с неожиданной, ободряющей улыбкой кивнула ему, — что-нибудь придумаем!

— А что можно придумать? — дрогнувшим голосом спросил он, чувствуя пьянящий прилив благодарности.

— Отряхнитесь, как следует, — вдруг скомандовала она. — Я говорю

по-немецки. У меня пропуск на два лица. На меня и на сына. Слушайте внимательно. Меня зовут Александра Сергеевна, а как вас?

— Алексей, — сказал он.

— Так вот, Алексей. Мы к бабушке ездили за продуктами. И это правда. Вы мой старший сын. У меня в самом деле есть старший сын, но он в армии... А младший жил у бабушки. И вдруг закапризничал и захотел с нами ехать домой. Вот я его и взяла. Когда немецкая машина остановится, вы смело вместе со мной подходите к кабине. А ты, Петя, стой здесь. Пусть они думают, что лишний человек — это ребенок.

Он был потрясен ее храбростью и хитроумием.

— А если не возьмут?

— Ничего, — бодро кивнула она, — подождем следующую машину. Кто-нибудь да возьмет. Яйки они любят. Я достаточно хорошо говорю по-немецки.

Он отряхнулся и, насколько это было возможно, привел себя в порядок. Они несколько раз проголосовали, но машины промчались, не останавливаясь. И вдруг грузовик затормозил.

— Яйки? — крикнул немец, высунувшись из кабины и оглядывая их.

— Я, я! — закивала Александра Сергеевна.

— Папир? — крикнул немец.

— Я! Я! — снова закивала она и, повернувшись к Алексею, приказала: — Берите корзину и за мной!

Он подхватил увесистую корзину и с гулко бьющимся сердцем подошел вместе с ней к кабине. Немец, высунувшись из кабины, с любопытством заглянул в корзину. Белоснежные яйца лежали сверху. Она сунула ему какую-то бумагу, которую вынула из-под плаща, и стала что-то быстро и легко говорить по-немецки.

— Хир цвай! — ударил немец рукой по пропуску и, высунувшись из кабины, посмотрел на мальчика, одиноко стоявшего в стороне. Казалось, он хотел убедиться, что мальчик ему не примерещился. Она опять стала что-то быстро и легко говорить по-немецки.

— Найн, найн, — замотал немец головой. Она сделала шаг от машины, как бы отступаясь, и, взглянув на своего сына, стоявшего в стороне, грустно и укоризненно покачала головой. Немец внимательно следил за ней. Потом немец снова посмотрел в корзину и стал что-то объяснять шоферу. Мелькало знакомое слово: киндер, киндер. Он опять высунулся из кабины и снова посмотрел на мальчика, как бы оценивая его размер. Второй немец что-то сказал ему.

— Драйсиг! — крикнул первый и, высунув руку, ткнул в сторону корзины.

— Я! Я! — закивала женщина и снова подошла к кабине, быстро приказав беглецу: — Приподымите корзину!

Он приподнял корзину и приблизил ее к открытому окну кабины. Немец стал выбирать яйца и куда-то перекладывать себе под ноги. Женщина продолжала ему что-то говорить по-немецки и, видно, сказала что-то смешное, он расхохотался. Отхохотавшись, воздел палец, вспоминая, сколько насчитал яиц, и снова стал выбирать, громко считая. Набрал.

Алексей поставил корзину на землю, нетерпеливо ожидая приглашения в кузов и боясь, что немцы, забрав яйца, просто уедут.

— Прима дойч, мадам! — улыбнулся немец и кивком пригласил их в кузов.

Он взлетел первым и, низко наклонившись, осторожно, чтобы не разбить оставшиеся яйца, принял корзину и поставил ее на дно кузова. Помог подняться матери и сыну.

Они уселись на деревянную скамейку. Машина рванулась, она летела, взлетая и падая на выбоинах шоссе.

— А теперь, если хотите, расскажите, — крикнула женщина сквозь гул мотора, — кто вы!

Он чувствовал такой порыв благодарности, что не мог от нее ничего скрыть. Он рассказал ей, что бежал из концлагеря и даже, вдаваясь в подробности, пояснил, как именно бежал. От бессонной ночи, от радости освобождения он был, как пьяный. Мальчик слушал его, восторженно сопереживая, она внимательно и спокойно, не забывая придерживать корзину, когда кузов взлетал и падал.



— Я что-то вроде этого предполагала! — крикнула она ему.

Он объяснил ей, что ему нужно сельцо под Майкопом, а не самый Майкоп.

— Знаю, — кивнула она, — это близко от Майкопа. Но мы должны слезть вместе, а, когда машина уйдет, я вам покажу дорогу.

Они въехали в город. Женщина постучала в стенку кабины. Грузовик остановился. Он спрыгнул с кузова. Женщина подала ему корзину. Он помог ей сойти, а мальчик спрыгнул сам.

— Прима дойч, видерзеен! — крикнул немец, выглянув из кабины, и машина рванулась дальше.

Женщина стала четко и подробно объяснять ему, куда и как выйти из города, и ему стало ясно, что она учительница. И каким обманчивым оказалось ее суровое, скуластое лицо. И какая она оказалась умная и храбрая!

Он, наклонившись, поцеловал своего невольного брата и хотел пожать ей руку, но она сама поцеловала его и сказала:

— Храни вас Господь!

Чувствуя необычайную бодрость, он быстро прошел по улицам города и через час уже был в селе, где жил друг его отца. Но как его найти и живет ли он все еще здесь? За время его побега мужчины стали вызывать его недоверие, и потому он у встречных ничего не спрашивал. Заметив женщину, белившую малярной кистью свой домик, похожий на украинскую хату, он подошел к ней. Вокруг никого не было.

— Вы не скажете, где здесь живет Ашот Саркисян?

Женщина была так увлечена побелкой своего домика, что не заметила, как он подошел. Теперь она вздрогнула и оглянулась на него. Это была юная женщина кавказского типа.

— А зачем он вам? — спросила она подозрительно.

— Дело есть, — ответил он неопределенно.

Она опять окинула его подозрительным взглядом и сказала:

— Не знаю такого.

Сунув кисть в ведро с раствором извести, снова стала красить стену, показывая, что разговор окончен.

По акценту он понял, что женщина армянка. В детстве, играя с армянскими детьми, он немного научился говорить по-армянски. И сейчас напряг память и собрал знакомые слова.

— Он друг моего отца. Чегем, — сказал он на ломаном армянском языке.

Женщина бросила кисть в ведро и вдруг обернулась к нему, исполненная доброжелательного любопытства. Его несколько слов на ломаном армянском языке вызвали в ней словоохотливость на русском.

— Твой отец дружил с моим папой? Я же родилась в Чегеме, но ничего не помню! Пойдешь по этой улице, потом завернешь направо, и третий дом будет домом моего папы! Иди, иди, я тоже приду туда! Но как ты сюда попал?

— Потом, потом, — бросил он ей и пошел по указанной дороге.

— Может, провести тебя? — крикнула она ему.

— Сам найду! — махнул он ей рукой и быстро пошел, поражаясь такому невероятному везению. Надо же, на дочь напоролся!

Дверь в дом была распахнута, и оттуда доносились громкие голоса, время от времени перебиваемые щелкающими звуками почти пистолетной силы.

Он поднялся в дом и вошел в комнату, где за низеньким столиком хозяин дома и какой-то человек играли в нарды. Еще четверо мужчин сидели вокруг и громко обсуждали игру. Куча денег лежала рядом с игральной доской. На него никто не обратил внимания.

Он не хотел при чужих людях обращаться к хозяину и не знал, как быть. Через несколько минут хозяин поднял глаза и бросил на него стремительный взгляд: все те же яркие черные глаза под густыми черными бровями, но голова поседела.

К его удивлению, хозяин ему ничего не сказал и, снова опустив глаза, бросил щелбнувшие кости. Громко защелкали передвигаемые фишки. От волнения Мамба забыл, что хозяин его видел совсем пацаном и теперь, конечно, никак не мог его узнать. Но хозяин и не удивился, что в комнате оказался чужой человек.

Вошла в комнату его жена, которую Мамба тоже сразу узнал, хотя и

она поседела, как ее муж. Она посмотрела на него и хотела что-то сказать, но муж ее поднял голову над игровой доской и раздраженно бросил ей по-армянски:

— Дай этому хлеба!

И снова метнул кости. Тут игроки, сидевшие вокруг столика, разом обернулись в сторону гостя, усато удивляясь. Но удивление оказалось не столь сильным, чтоб пересилить интерес к игре, и они покорно опустили глаза на игральную доску. Женщина плавно, чтобы не расплескать, принесла ему кружку айрана и кусок душистого свежего хлеба. Он с огромным удовольствием съел хлеб, запивая его вкусным полужабытым айраном. То, что он ел и пил, делало его пребывание в доме более естественным, и это придавало ему дополнительный аппетит.

Но вот он съел хлеб, выпил весь айран, поставил кружку на буфет, а на него никто не обращал внимания. И теперь, наоборот, оттого что он все съел и не уходит, стало еще более неловко.

Прошло еще минут пятнадцать — двадцать яростной игры. У хозяина сменился партнер, а на Мамбу никто не обращал внимания. Но когда снова вошла хозяйка, хозяин, снова подняв глаза, бросил на него беглый взгляд и крикнул жене по-армянски:

— Спроси у этого, что ему еще надо!

И снова метнул кости. Остальные мужчины с величайшим удивлением, что он еще не ушел, разом взглянули на него, но и тут не смогли пересилить интереса к игре и снова покорно опустили глаза.

— Что-нибудь еще надо? — тихо спросила у него женщина, глядя на него своими лучистыми не по возрасту глазами.

— Я из Чегема. Я сын Ефрема, — сказал он ей.

— Ты сын Ефрема? — переспросила она и теперь залучилась не только глазами, но и всем лицом.

— Да, — сказал он.

И вдруг эта тихая женщина гневно преобразилась. Она заговорила с мужем на армянском языке, язвительно укоряя его тем, что тут стоит несчастный сын Ефрема, а он черт его знает чем занимается весь день. И опять все остальные игроки с величайшим удивлением посмотрели на него, но и как бы с уверенностью, что все это уже было, а игре никто не может помешать.

— Ты сын Ефрема?! — по-русски закричал хозяин и уставился на него своими сверкающими глазищами.

— Да, — сказал он, даже как бы пытаясь пригасить взрывной возглас хозяина.

Хозяин, с размаху хлопнув крышкой игровой доски, закрыл ее. Он яростно обратился ко всем остальным игрокам на армянском языке. Он обратился к ним так, как будто давно просил их покончить с игрой и убраться отсюда, а они никак не убирались. И вот терпение его лопнуло. Никаких возражений он не слушал, небрежно расшвыривая деньги играющим, и, покрывая недовольный гвалт, кричал и показывал на двери. Наконец, они все ушли, как бы пораженные фантастическим обстоятельством, которое могло оказаться интересней игры в нарды.

Хозяин подошел к нему и, сверкая глазищами из-под черных, мохнатых бровей, спросил:

— Так ты сын Ефрема?

— Да, — повторил он.

— А как зовут его жену? — вдруг спросил он.

— Маму? — растерялся он. — Шазина.

— Правильно! А ты помнишь, где мой дом стоял?

— Конечно, — сказал он.

— Если от моего дома, — сердито закричал хозяин и резанул ладонью воздух, — прямо вниз смотреть, кто там живет?

— Охотник Тендел.

— Правильно! — заревел хозяин. — Дай я тебя расцелую, мой мальчик! Сколько времени прошло!

Он облапил его и смачно поцеловал в губы. Вдруг оттолкнул, продолжая придерживать за плечи:

— А как ты попал сюда?

— Бежал из плена.

— Молодец! — закричал хозяин, — будешь жить у меня до прихода наших! Ничего не бойся — здесь все свои! В нарды играешь? — неожиданно спросил он, видимо, почувствовав неутоленный азарт.

— Да, — сказал Мамба.

— А деньги есть?

— Есть тридцатка!

— Садись сыграем! — сказал хозяин, усаживаясь сам и усаживая его. — Положи деньги сюда!

Мамба достал Машину тридцатку и выложил ее на столик. Хозяин тоже выложил тридцатку на столик. С грохотом распахнул игральную доску и стал раскладывать фишки. Мамба тоже разложил фишки по местам.

— Деньги мне не нужны, — пояснил хозяин, — но без денег неинтересно играть.

С этим он бросил кости. Хозяин, конечно, играл намного лучше и, выиграв у гостя тридцатку, окончательно его усыновил.

Так Мамба стал жить в доме дяди Ашота. Вскоре он познакомился с местными людьми. Некоторые из них были связаны с партизанами. И он принимал участие в нескольких партизанских вылазках, которые проводили далеко от этого села. И Мамба нередко удивлял своих товарищей хладнокровием, храбростью и находчивостью.

— Что я, — говаривал он, когда товарищи хвалили его за находчивость, и рассказывал, как учительница, спасая его, запутала немцев.

Дяде Ашоту, чтобы не волновать его, он ничего не говорил о своих связях с партизанами. Но тот, конечно, сам догадался. После первой операции, когда он отсутствовал несколько дней, дядя Ашот встретил его с мрачной укоризной.

— Я обещал сохранить тебя для отца, — прогудел он ему сердито, — а ты чем занимаешься?

— Да нет, дядя Ашот, — улыбнулся он ему, — мы просто загуляли с ребятами.

Хозяин махнул рукой и больше ни о чем его не спрашивал.

Через два месяца наши взяли Майкоп, он влился в армию, до самого конца войны был на фронте и быстро продвигался по службе.

Но еще в Майкопе его сразу вызвали в особый отдел.

В кабинете сидел майор. Он поздоровался и показал на стул.

— Мы знаем, что вы хорошо партизанили в этом районе, — сказал он Мамбе, — здесь оставались наши люди. Но как вы сюда попали? Расскажите, только всю правду.

И Мамба ему все рассказал, как было. Майор выслушал его с сумрачным вниманием.

— Вот вы говорили, что, когда вас везли на лошади, — после окончания рассказа спросил майор, — вы слышали кавказскую речь проводников. А на каком именно языке они говорили?

— Не знаю, — сказал он.

— Но вы же сами кавказец, — настаивал майор и вдруг язвительно добавил: — Что, своих прикрываете?

Волна бешенства подхватила Мамбу. Он вскочил. Но и сквозь багровое пламя ярости он все-таки помнил нешуточность учреждения, в котором находится.

Майор на миг растерялся и, в свою очередь, почувствовал нешуточные возможности такой ярости даже в этом нешуточном учреждении.

— Не горячись, сядь, — сказал он уже примирительно, — вот сумасшедший фронтовик...

И Мамба сел.

— Я могу различить те языки, которые я слышал с детства, — сказал он, — а северокавказские языки я никогда не слышал и не могу различить. Да и какая разница? Предательство от нации не зависит.

Майор успокоился.

— Нам лучше знать, от чего это зависит, — уточнил он, — ничего, доберемся и до них. Но чем вы докажете, что вы бежали из концлагеря?

— Если эти места уже освобождены, — сказал Мамба, сдерживая раздражение, — пусть ваш человек сунет руку в дерьмо, там, где канализация выходит из лагеря, и он увидит, что средняя проволока оборвана. Может и поднырнуть для проверки...

— Ладно, ладно, — остановил его майор.  
 — Да и пленные красноармейцы, если лагерь освобожден, — продолжал он, — могут вспомнить меня...  
 — С пленными красноармейцами еще разбираться и разбираться, — сказал майор многозначительно. — Вы свободны. Идите.

Мамба все рассказал майору, но, даже не задумываясь, каким-то инстинктом самосохранения пропустил историю с немецким офицером-абхазцем. Позже, уже после войны, вспоминая встречу с майором, он удивлялся своей не обдуманной заранее прозорливости. Эта история могла сломать ему всю карьеру.

Тут были возможны два варианта обзвещения.

Или они стали бы добиваться от него, какую подлую услугу он оказал немецкому офицеру, что тот его отправил отъедаться на кухню. Или еще хуже: заподозрили бы, что офицер его родственник. И тогда пришлось бы плохо не только ему, но, конечно, перетряхнули бы и всех его родственников. Представить, что офицер-абхазец, услышав от пленного доходяги родной язык, на миг поддался голосу крови и пожалел его, они не могли и не хотели.

\* \* \*

Генерал Мамба никогда не был особым сталинистом, но обаяние неимоверной власти вождя он чувствовал долго. И после войны, когда он ясно осознавал, что то или иное серьезное дело в стране делается неправильно, он в мечтах вдруг оказывался в кабинете Сталина и рассказывал ему об ошибках, допущенных его соратниками. Сталин его внимательно выслушивал и, пользуясь своей фантастической властью, подымал трубку и приказывал исправить ошибку. В эти мгновенья генерал испытывал великое человеческое счастье. Что может быть прекрасней беспредельной власти, которая неустанно направлена на исправление ошибок. Никакой волокиты. О, сладость грозного авторитета!

Приказ. Закон. Приказ, основанный на законе, и закон, исполняющийся с точностью приказа.

С кровью, с кровью годами приходилось выхаркивать преклонение перед великим авторитетом вождя. И позже, уже в отставке, он доставал и читал книги, иногда полузапретные или совсем запретные, чтобы знать правду о времени и об этом человеке. Да, вождь действительно оказался не тот. И он теперь с запоздалым стыдом вспоминал о своих мысленных встречах со Сталиным. И единственное смягчающее обстоятельство этих мечтаний он находил в том, что никогда его мысленные разговоры со Сталиным об исправлении ошибок не увенчивались наградой лично для него. Это он точно помнил. Впрочем, наградой было видеть в действии грандиозную власть, поворачивающую штурвал в нужном направлении.

Да, он с кровью вырвал все это, но и не мог не чувствовать зияющую густоту там, где была вера.

\* \* \*

Генерал вдруг вспомнил об одной застольной встрече с любимым военачальником. Это было еще на фронте. Он весь вечер любовался этим высоким, подвижным, остроумным человеком, чьи операции он считал образцом большого полководческого таланта. Один глаз у военачальника был стеклянный. И кто-то за столом шепнул Алексею Ефремовичу:

— Выбили во время допроса.

Он знал, что прославленный полководец в начале войны был в лагере. Тогда по рекомендации Жукова Сталин приказал освободить несколько оклеветанных военачальников и сразу же доверил им достаточно ответственные должности. Любимый полководец Алексея Ефремовича быстро продвинулся вверх, благодаря своему большому военному таланту.

И сейчас, через сорок с лишним лет, вспоминая об этой встрече, вспоминая свой тихий восторг, когда ему повезло оказаться за одним столом с этим блестящим человеком, он с удивлением подумал, что ему тогда не пришло в голову возмутиться зверством следователя.

Наоборот, он с умилением думал, как хорошо получилось, что Жуков вспомнил о них, как хорошо получилось, что Сталин поверил Жукову! ...Да потому и поверил, что сам был дирижером всех этих репрессий! Как давно это было и как он тогда был наивен! Да разве он один?! В чем тайна их наивной веры? Ключ от истории в руках Сталина и его сподвижников. И какие бы ошибки (ошибки!) они не допускали, этот ключ в их руках и ни в какие другие руки перейти не может, и значит, надо верить и честно служить. Да, ключ от истории... Когда связка от ключей всех тюрем в твоих руках, легко один из них выдать за ключ от истории. И сколько терзаний надо было вынести, чтобы убедиться — никогда никакого ключа от истории не было в их руках. Да и вообще нет никакого ключа от истории! Но что же есть?!

\* \* \*

Генерал Мамба стоял в шумной, галдящей толпе торговцев на тротуаре у Пушкинской площади. Чего только здесь не продавали!

Какой-то мужчина в тубетейке продавал бананы с таким гордым видом, словно сам их вырастил в оазисах Кара-Кума. Другой мужчина, хоть и без тубетейки, но с еще более гордым видом продавал ананасы. Московский юнец с ныркими глазами предлагал импортные напитки, и было совершенно не понятно, как они попали к нему в руки: его истерзанный наряд, словно он долго пролезал в форточку, слишком не соответствовал его нарядным бутылкам. Какой-то мужчина, отнюдь не рыбацкой внешности, продавал кроваво-грязных карпов, неизвестно где, а главное, кем выловленных. Разбитная бабенка, с руками, сунутыми в валенки, неожиданно дотянулась до генерала и, похлопав ими у самого уха его, как бы уверенная в его глуховатости, весело крикнула:

— Бери, дед! Зимой благодарить будешь!

Генерал отстранился от валенок и огляделся. Самовары, матрешки, парфюмерия, порнография, ордена, консервы, живые раки, от гвалта не знающие, куда пятиться, горка изюма, похожая на усохший козий помет, орехи, арахис, цветы, сверкающая аппаратура неведомого назначения и водка, водка, водка! Еще недавно ее невозможно было достать, а теперь всюду появилась. И тут же крикливый фотограф, готовый снять вас рядом с наляпанными на фанере фигурами новых вождей.

Алексей Ефремович не осуждал и не одобрял все это, он хотел понять, но не мог. Чужая земля, чужие люди, чужая эпоха! Тоска и одиночество!

И вдруг из этой толпы выскользнула девушка с сияющим лицом в сопровождении какого-то мальчика. Она подбежала к Алексею Ефремовичу, протянула какую-то белую брошюрку и, глядя ему прямо в глаза, сказала:

— Мы вас любим!

Генерал вздрогнул, смутился, растерялся. Он и сейчас не знал, что именно это ему и надо было, но это ударило в сердце! Он глядел на ослепительно сияющее, улыбающееся лицо девушки и рядом сумрачное лицо мальчика и неожиданно подумал: безнадежно влюблен! Она уже во всем цветеньем девичьей силы и красоты, а он еще такой мальчик, хотя на вид им обоим было лет по семнадцать.

Алексей Ефремович нерешительно потянулся за брошюрой и вдруг заметил на ее обложке большой крест. Первой его мыслью было, что это медицинская брошюра (белизна и крест), а девушка, каким-то чудесным образом угадав, что у него больное сердце, пытается помочь ему.

— Мы вас любим! — все еще звенело, серебрилось в воздухе, и он, глядя на ее радостное лицо, взял брошюру.

Написанное на обложке он мог прочесть и без очков. БЛАГАЯ ВЕСТЬ, прочел он над крестом, а под крестом: ИИСУС НАШ ГОСПОДЬ. ЕГО ПРИШЕСТВИЕ БЛИЗКО.

Поняв, что это религиозная брошюра, он вдруг почувствовал, что никак не может огорчить эту девушку и сказать ей, что эти вопросы его не интересуют.

— Спасибо, — проговорил он, растерянно глядя на девушку еще и потому, что вокруг шла бойкая торговля, наталкивающая на мысль, что за брошюру надо заплатить, и в то же время ему показалось, что он обидит

ее, предлагая деньги. И потому он ждал, не скажет ли она сама об этом. Но миг, и девушка с сопровождавшим ее мальчиком исчезли в толпе.

Генерал осторожно сунул брошюру в карман и стал спускаться по Малой Бронной. Он шел к дому генерала Нефедова, расположенному неподалеку, в одном из тихих переулков.

Он вдруг почувствовал необыкновенную бодрость, продолжая слышать смущающий, переливающийся в душе голос девушки:

— Мы вас любим!

Кто мы? Он возвратился к своей первоначальной догадке о том, что она протянула ему медицинскую брошюру, зная о его больном сердце. Он почувствовал, что в этой догадке есть какая-то правда, хотя и не в телесном смысле.

Может, она догадалась о тех мыслях, которые его мучили в последние месяцы. Но как? Он сейчас точно знал, что она прямо так, налево и направо, не раздает брошюры, а явно выбирает людей, которые, как ей кажется, больше всего в них нуждаются. Пусть все это сказки, думал генерал о содержании брошюры, но ведь не сказка ее сияющее, лучащееся добротой лицо, ее неожиданные слова, так взволновавшие его.

Навстречу ему по пустынному тротуару шли двое мужчин средних лет. Они шли быстрыми, мелкими шагами, как бы целенаправленно приближаясь к какой-то быстрой, мелкой радости. Скорее всего выпивке. Что-то в их оживленном облике внушило ему смутную тревогу.

— А я ему говорю, — громко и победно сказал один из мужчин, рубя ладонью воздух, — вот тебе пидар! Вот тебе гандон! Действуй!

И проскочили мимо. Генерал остановился, задохнувшись бешенством даже не столько от пошлости сказанного, сколько от бессмыслицы. Да разве бывают такие снабженцы?!

И вдруг перед его глазами возник тот, который когда-то ему сказал: «Может, тебе еще и губы дать», — но он возник, почему-то слившись с обликом этого хама. И генерал с пронзительной болью и обидой на себя подумал: почему, почему я ему не дал в морду?! Но в следующий миг он взял себя в руки, расцепил двух склеившихся хамов и приказал себе: «Не маразмивать! Тогда были такие обстоятельства, я не мог тому ответить».

Отдыхавшись, он пошел дальше и, успокаиваясь, решил, что это какой-то деловой сленг и, вероятно, означает совсем другое. Но все равно пошло и глупо. Что за безумный мир, подумал он, где одновременно живут такая девушка и такой дурак!

Он увидел парикмахерскую и вспомнил, что давно собирался постричься. Выкурив сигарету у входа, он вошел внутрь. Он хотел снять плащ, но гардеробная оказалась закрытой. Он вошел в вестибюль парикмахерской, занял очередь и сел на стул.

Среди ожидающих сидели два мальчика, скорее всего первоклашки. Рядом с ними сидели две женщины, по-видимому, матери этих пацанов. Один из них был плотненький, а другой худенький и глазастый. Худенький, наклоняясь к уху плотненького, что-то нашептывал ему, и они вдруг оба начинали задыхаться от сдержанного хохота. Так как это длилось довольно долго, генерал сначала подивился неумимости их веселья, потом стал раздражаться, а потом вдруг все это увидел в каком-то новом свете.

Это дети новой жизни, вдруг подумал он, совсем другой эпохи. Лет через десять они вступят в жизнь и, вероятно, к тому времени все уладится. И хорошо, что сегодняшние дети так беззаботно смеются. Было бы хуже, если бы они разделяли наши горести и обиды, это означало бы, что они их понесут дальше, в новую жизнь. И теперь смех детей показался ему предвестником их будущей веселой, разумной жизни.

Пшадра, Пшадра, вдруг подумал генерал, чувствуя, что это слово близко к тому, что должно случиться, когда эти дети вырастут, но так и не уловил точный смысл слова.

Тут он вспомнил о брошюре, лежавшей у него в кармане плаща, осторожно, чтобы не измять, вынул ее, достал очки, надел их, раскрыв наугад, начал читать. Так он уже давно привык пробовать всякую новую книгу: пойдет или не пойдет. Он попал на главу пятнадцатую Евангелия от Иоанна.

«Я ем истинная виноградная Лоза, а Отец мой — Виноградарь. Всякую у Меня ветвь, не приносящую плода, Он отсекает; и всякую, приносящую плод, очищает, чтобы более принесла плода. Вы уже очищены чрез

слово, которое Я проповедал вам. Пребудьте во Мне, и Я в вас. Как ветвь не может приносить плода сама собою, если не будет на лозе, так и вы, если не будете во Мне. Я есмь Лоза, а вы ветви; кто пребывает во Мне, и Я в нем, тот приносит много плода; ибо без Меня не можете делать ничего. Кто не пребудет во Мне, извергнется вон, как ветвь, и засохнет; а такие ветви собирают и бросают в огонь, и они сгорают...»

Генерал медленно и внимательно прочел главу, поражаясь знакомым деревенским понятиям: виноградарь, сухие ветки, костер. Все это видел он в детстве у себя в Чегеме, и отец его был виноградарь. Но больше всего его поразила музыка слов, важная и грозная доброта слов, льющаяся через край. И хотя в конце главы, где говорилось о грехе, он не все понял, он почувствовал, что прочитанное прекрасно. Он сложил брошюру и теперь положил ее во внутренний карман пиджака. Это надо читать дома, в тиши, в спокойствии, подумал он, пряча очки.

Впечатление от прочитанного было похоже на впечатление от классической музыки, когда он впервые услышал ее уже взрослым человеком. И тогда она ему показалась прекрасной, но доза этого прекрасного для него была слишком большой, и он понял тогда, что к этому надо привыкать постепенно.

Вдруг в парикмахерскую ворвались двое юношей и две совсем юные девушки довольно вульгарного вида: обе в коротеньких платьицах, обе коротконогие и мордастые. Хохоча, они бросились на стулья. Одна из толсто-морденьких жадно рвала зубами булку.

Ну, ест булку, значит, голодная, подумал генерал, пытаюсь остановить поднимающееся раздражение. Все четверо перекидывались какими-то полупристойностями, вскакивали, валились на стулья, хохотали. Та, что ела булку, доев, вскочила, подбежала к загородке гардероба, прицелилась оттопыренным задом и, подпрыгнув, уселась на нее, болтая совсем уж оголившимися толстыми ногами, и что-то запела. Спрыгнула, подбежала к своим, радостно загоготавшим, словно она проделала невероятно смешной номер.

Генерал сидел ни жив ни мертв, сдерживая бешенство и удивляясь, что никто им не делает замечания, хотя в очереди сидело трое молодых мужчин и эти дуры уже весьма грубо заигрывали с ними.

— А со стариком могла бы?.. — вдруг кивнула одна из них на генерала.

— А почему бы нет?.. — ответила вторая, и все четверо загоготали.

Тут генерал все забыл. Багровые круги поплыли перед глазами. Он вскочил и подлетел к здоровому, лохматому парню. Он-то и пришел стричься, как еще раньше понял генерал, а эти его сопровождали. Схватив его за лацканы пиджака, генерал рванул и бросил его с такой силой, что парень, отлетев к гардеробу, грохнулся, но вскочил.

— Вон, мерзавцы! — кричал Алексей Ефремович; но голос от волнения сорвался и дал петуха.

Второй парень и обе девушки с диким хохотом выскочили из помещения. А тот, что упал, вскочив, угрожающе посмотрел на генерала и сунул одну руку во внутренний карман пиджака, словно пытаясь достать оттуда нож. Генерал ринулся было к нему, но тот почти в прыжке вылетел из дверей парикмахерской.

Генерал сел на место. Сердце колотилось беспорядочно, гулко, страшно. Пронеси, пронеси, пронеси, шептал про себя генерал и дрожащими руками достал таблетку валидола и закинул ее в рот.

Мужчины были явно смущены случившимся, а женщины, сопровождавшие детей, стали громко причитать по поводу падения нравов. Худенький глазастый мальчик не сводил с него восторженных глаз.

Он и сам не ждал от себя такой прыти, но и такого чудовищного хамства, кажется, еще не встречал. Он дососал валидол и, к своему тихому, радостному удивлению, почувствовал, что сердце успокоилось. Мы еще поживем, подумал он про себя и подмигнул глазастике. Тот смутился и опустил голову.

Подошла очередь генерала. Он вошел в парикмахерскую, огляделся и, увидев вешалку, снял и повесил плащ. Сел в кресло. Высокая, как баскетболистка, милостивая парикмахерша спросила у него:

— Как вас подстричь?

— Как есть, — сказал генерал и неопределенно провел рукой по волосам, имея в виду, что надо восстановить предыдущую стрижку. Он немного стыдился, что всегда забывает названия стрижек. То, что голова его считала ненужными знаниями, он всегда забывал, хотя практически это иногда бывало нужно.

— Что значит, как есть, — вступила в бой парикмахерша, — полька? Скобка? Что?!

— Как хотите, — сказал генерал примирительно.

— Голову мыть будете? — спросила парикмахерша.

— С удовольствием, — сказал генерал, вступая в полосу ясности взаимопонимания.

— Учтите, это будет намного дороже, — предупредила парикмахерша.

— Уже учел, — сказал генерал, оглядывая себя в зеркало и с удовольствием замечая, что на его лице нет следов перенесенного недавно волнения.

Это известие сильно смягчило парикмахершу, и она, уже ласково нависая над ним, заткнула ему за воротник белоснежную простыню.

— Виски прямые или косые? — спросила она тоном экзаменатора, явно спасающего экзаменуемого.

— Прямые, — твердо сказал генерал, хотя ему было совершенно все равно.

Радио непрерывно что-то передавало, но его никто не слушал. Вдруг неожиданно для генерала, словно вероломно нарушая восстановленный мир, парикмахерша вздернула его, вознесла в кресле, так что сердце его на миг упало. На самом деле она просто нажала на педаль кресла и приспособила его голову к своему росту.

Пока она стригла его и мыла голову, он окончательно успокоился и расслабился. Она опрыскала ему голову приятно колющей струей одеколона и стала ласково зачесывать его все еще густые седые волосы. И он снова вдруг подумал: Пшادا, Пшادا...

Радио, не останавливаясь, работало, и он краем уха услышал: «Ветер слабый, до умеренного...»

Пшادا. Безветрие! Вспыхнуло у него в голове, и что-то мощно ударило в грудь, и родной язык, как с размаху разбитый арбуз, хрястнул и распался перед ним, выбрызгивая и рассыпая смуглые косточки слов!

Он увидел себя мальчиком-подростком в жаркий летний день под сенью грецкого ореха. Рядом был его двоюродный брат, могучий юноша, которого он обожал за эту могучесть и которого позже, в начале войны, убили на западной границе. Но сейчас ничего этого не было.

Они шутливо боролись на траве.

— Что вы возитесь, как щенята. Уж не маленькие, — раздался голос мамы, и он, не глядя, продолжая бороться, понял по ее голосу, что она с медным кувшином ключевой воды на плече возвращается с родника. Голос соразмерялся с утяжеленными шагами.

И хотя они шутливо боролись, сам он, не на шутку разгоряченный, старался положить на спину своего брата, и тот, наконец, поддался ему, якобы поборотый, и он победно уселся ему на грудь.

И тут брат его стал хохотать, и грудь его мощно вздымалась от хохота, сотрясая сидящего на нем мальчика. И сам он стал хохотать, поняв причину хохота брата. Брат хохотал оттого, что, по его разумению, мальчишке казалось, что он всерьез его поборол. А он смеялся оттого, что уже догадался, что брат его нарочно лег на лопатки, а брат думает, что он об этом не догадался.

— Кажется, старик умирает! Зинка, звони в «скорую», — услышал он далекий голос своей парикмахерши.

Никогда я не был таким живым, как сейчас, хотел он крикнуть ей в ответ, но понял, что отсюда туда не докричишься, хотя и не был удивлен, что сам услышал ее голос.

— Давай я тебя подыму, — сказал двоюродный брат, отхохотавшись.

Он поспешно сел рядом на траву, снизу под ногами сцепил пальцы рук и приготовился. Так брат его часто подымал с земли на вытянутой руке.

Брат, лежа, продел правую руку под его левую руку, ухватился сильными пальцами за предплечье его правой руки, завалил его к себе на грудь, распрямил свою правую руку и отвел левую. Теперь брат должен был



сесть, а потом встать и поддержать его на вытянутой руке. Так бывало всегда.

Но что за черт! Брат лежал и никак не мог сесть с грузом на вытянутой руке. А как легко он его подымал раньше! Его вытянутая рука уже начинала дрожать, а пятка правой босой ноги, никак не находя опоры на траве, оскальзываясь и содрогаясь, стала рыть яму, ища опоры.

Ужас далекого сходства пронзил его.

— Отчего ты так потяжелел?! — вдруг спросил у него брат гневным голосом, снизу глядя на его скрюченное тело глазами уже в прожилках крови от напряжения. Нога его яростно продолжала искать опору, и пятка вырывала и отбрасывала комья земли, корни, камни, прорываясь и прорываясь в какую-то страшную глубину.

— Не знаю, — ответил он, теперь чувствуя себя мальчиком-генералом и голосом стараясь внушить брату, что он только мальчик, страшась, что он вдруг догадается о тех расстрелянных немецких офицерах. И теперь яма, вырытая ногой брата, превратилась в бездонную щель, куда брат его, кажется, хочет забросить.

— Зато я знаю! — гневно воскликнул брат, мучительно глядя на него снизу, и рука, державшая его, все сильнее дрожала от напряжения. И вдруг, сверху вниз глядя на брата, он увидел, как на лице его проступают синие пятна, и понял, что это уже убитый брат, и оттого, что он убитый, он все, все знает о нем и о немецких офицерах, и о любимом адъютанте, и о забвении родного языка. И если он его еще не сбросил в щель, то только потому, что помнит и любит того далекого, довоенного мальчика.

— Но ведь была такая война! — крикнул он сверху, пытаясь прорваться к нему.

— А меня что, по пьянке убили?! — грозно ответил ему брат, продолжая держать его на вытянутой руке.

— Но ведь я его так любил! — крикнул он, спеша опередить его решение последним доводом, который у него был.

— Любил, — с трудом повторил брат, сляясь сопоставить его слова с его грехом, и рука брата уже не дрожала, а содрогалась от напряжения. И вдруг все погасло.

\* \* \*

Генерал, уже мертвый, сидел в кресле. Пришла «скорая помощь», позже позвонили генералу Нефедову, он связался со вдовой, и все получилось пристойно, как и хотел покойный.

На пятый день в морге состоялась гражданская панихида. Генерал Нефедов заехал на своей машине за вдовой Алексея Ефремовича, чтобы повезти ее в морг. Сейчас она была на городской квартире. Оставив сына, сидевшего за рулем, генерал поднялся к ней. Он позвонил, и она ему открыла дверь. Из кухни раздавались возбужденные голоса незнакомых женщин, стук ножей, звон тарелок. Там готовились к поминкам. Пока он говорил с вдовой, стоя в передней, оттуда время от времени высовывались любопытствующие женщины. Возможно, они были родственницами вдовы, но раньше их генерал Нефедов никогда не видел.

— Ах, Сергей Игнатьевич, — сказала вдова, одеваясь, плача и время от времени давая трезвые приказы высовывающимся из кухни, — вы знаете, как я любила Алексея Ефремовича. Я его вытаскала с того света, когда он тяжело болел... Я продлила ему жизнь на десять лет... Даже на одиннадцать...

Она вспомнила и щедро прибавила тот неполноценный год, когда они уже были близки, но еще не оформили брак.

— Царство ему небесное, — продолжала она, — но почему, почему он был такой скрытный?

— Не замечал, — холодно пробасил генерал Нефедов.

— Потому-то и не замечали, что скрытный, — пояснила вдова и, быстро пройдя в комнату, вынесла оттуда и подала генералу Нефедову книжку Нового Завета, — вот!

— Что это? — спросил генерал Нефедов, беря в руки Новый Завет и не понимая, какое это имеет отношение к предмету разговора.

— В кармане пиджака, в котором он умер, лежало, — с грустной торжественностью произнесла вдова и снова заплакала.

— Ну и что? — сказал генерал Нефедов и, не зная, куда деть брошюру, положил ее на подзеркальник, — купил где-нибудь на улице.

— Купил? — с горестной иронией повторила она и кивнула на брошюру, — посмотрите, там даже цена не отмечена. Он связался с церковниками и в последние месяцы был какой-то странный, а я не могла понять, в чем дело. Такие книжки, насколько я знаю, держат дома, а не прячут в кармане от жены... Царство ему небесное.

Пока она говорила это, из кухни высунулась какая-то женщина и, хотя никак не могла знать, о чем они говорят, однако, что-то угадав и как бы тайне от вдовы, несколько раз скорбно кивнула генералу Нефедову, как бы подтверждая, что он слышит правду и только правду. Генерал Нефедов так посмотрел на эту женщину, что она мгновенно юркнула в кухню.

Он перевел взгляд на вдову, которая, надев пальто и завязав на подбородке черную косынку, смотрела на него, выражая готовность ехать.

Генерал поразился, что слезы на ее глазах успели высохнуть и глаза ее теперь источали странный, сухой блеск. Смысл его генерал Нефедов не понял, хотя это был бойцовский блеск. Она давно подозревала, что, вероятно, есть тайное завещание в пользу детей. Теперь она заподозрила, что он мог и церкви что-то оставить. Борьбу на два фронта она не предвидела и теперь старалась быть очень собранной.

— Поехали, — сказал генерал Нефедов, и они вышли.

Панихида прошла достойно. У гроба стояли дети, извещенные телеграммами. Сын стоял вместе с женой и двумя внуками Алексея Ефремовича. Он был абсолютно трезв, и, как у людей много пьющих, именно в трезвости лицо его более всего носило следы алкогольного распада.

Дочь прилетела без мужа, словно проявляя такт по отношению к умершему отцу, не одобрявшему ее второй и третий брак. Возможно, так оно и было. Вся в слезах, в траурной одежде она была особенно хороша. Кстати, был и ее первый муж, ему позвонил генерал Нефедов, и он опять рыдал, теперь на мертвой груди Алексея Ефремовича. Кроме генерала Нефедова были еще двое военных, больше фронтовиков из людей их круга в Москве уже не осталось. Генерал Алексей Ефремович Мамба со всеми почестями был похоронен на хорошем московском кладбище.

---

Вера Павлова

ОБ ЭТОМ

\* \* \*

Такая игра слов не стоит свеч  
рублевых, которые ставишь ко всем скорбящим,  
которые молча ставишь ко всем молчащим...  
А стоит такая игра — головы с плеч:  
небесный посланец в свисток милицейский засвищет,  
и хочешь не хочешь, восстанешь от жаркого сна...

Не дай же Господь рифмовать «голенища-глазища» —  
и рифма плоха, и цена как-то слишком красна!

\* \* \*

И всем воздастся по словам.  
И всем — прозаикам доносов  
и рифмоплетущим, плешивым  
поэтам-песенникам — всем,  
всем — переносчикам газет,

мужчинам, спящим на диванах  
под саваном вчерашней «Правды»,  
и мне, неспящей, непечатной,  
но ни полслова не жалевшей  
заради финтифлюшек духа.

\* \* \*

Жил-был стол, а на столе  
рукопись жила.  
А потом она жила  
в ящике стола.

предвкушая час, когда  
постаревший ты

сложишь в новый чемодан  
желтые листы.

То, что понимает мышь  
в церкви под замком,  
никому не объяснишь  
русским языком.

\* \* \*

Сопrotивляйся, слово!  
Что ж ты так  
податливо?  
Царапайся, кусайся,

визжи, но — право слово! —  
не давайся!..  
И не далось.  
Впервые.

---

Вера Павлова родилась в 1963 году в Москве. Окончила музыкальное училище им. Октябрьской революции и институт Гнесиных. Работала в доме-музее Ф. Шалапина, пела в церковном хоре. Стихи печатались в еженедельнике «Семья» в 1988 году, в «Юности» в 1990—1992 годах, в «Независимой газете» в 1992 году. Живет в Москве.

\* \* \*

Еще никогда не сказано,  
уже отдает пошлостью.  
Еще никем не сказано,  
уже на цитату похоже — что же скажу?  
Говори такое,  
что никто, никогда не скажет.  
Или — чтобы никто не услышал.

\* \* \*

Виновных нет. И более жесток  
не тот, кто мучает, а тот, кто плачет.  
Но тот, кто мучает, жесток тем паче,  
поскольку тоже плачет. На восток  
приходит солнце, вспухшее от слез,  
и тонет в чашке выстывшего чаю.  
Кто виноват? — Классический вопрос.  
Виновных нет — виновный отвечает.

\* \* \*

Общество чихало на меня,  
я на общ... общ... общество чихала тоже.  
И никто не скажет «будь здорова».  
И «спасибо» некому сказать.

\* \* \*

Выстроивший храм  
станет ли строить дом?  
Станет. И горе нам,  
что не мы в нем живём.

Выстругавший алтарь  
станет стругать  
кровать?  
Станет. И горе нам.

\* \* \*

Под свитерком его не спрячешь,  
мой первый лифчик номер первый,  
когда, гуляя по двору,  
его ношу, и каждый смотрит,  
и каждый видит, несмотря  
на то, что складываю плечи

и что крест-накрест руки.  
Трудно  
дышать — затянута дыханье  
подарком, сделанным мне мамой  
вчера, как будто между прочим.

\* \* \*

по вечерам листая телевизор  
иль взглядом падая в газету  
или вывеска с перегоревшей  
буквой

иль слово громким голосом  
над ухом  
проклятый двоечник  
здесь все тебе подсказка  
а ты ни бе ни ме ни тпру ни ну

\* \* \*

П. М. Д.

По-моему, ты умер. Но мне никто не ответит,  
какого числа я осталась одна на свете.  
Не упадет с ресниц надлежащая влага  
на тело твое, укрытое звездным флагом,

учитель печали и музыки! Ты меня бросил  
на Пресне, весной — моей, твоей — осенью.  
Я не вскрывала шестнадцатилетние вены,  
покуда бродил ты транзитом по улочкам Вены —

первый учитель, поцеловавший в губы!  
Ты уже прибыл, я тоже иду на убыль.  
Мы допоем встречу, которой не было —  
там, по ту сторону звездного неба.

\* \* \*

До слов, дословно, словно до-  
тянувшись: вот он, локоток —  
зачем кусать? Себе больнее...  
А здесь, в предсловьях, тишь да гладь,  
и ходят люди и собаки,  
и ты, и тополиный пух  
так долго до земли летит...

\* \* \*

Они менялись кольцами тайком.  
Они в саях по городу летели.  
Метели покрывали их платком  
и хмелем осыпали их метели.

И путь у них настолько был один,  
натеку было некуда деваться,

что не хотелось куриц и перин,  
что даже не хотелось целоваться,  
а только лица ветру подставлять,  
а только на ветру в лице

меняться.

Метели мягко стелят. Страшно спать.  
Еще страшнее будет просыпаться.

\* \* \*

В борьбе за почетное званье любовницы  
голову честно сложила  
тебе на плечо. Мне зачтется, припомнится  
время, когда я служила  
верой и Верой, и верной любовью  
тебе, мой архистратиге,  
поскольку плачу своей головою  
за счастье быть к тебе ближе  
всех.

## Каталог

### BLASONS

#### LES YEUX

Мое лицо носит печать хорошей породы,  
 хотя ничего хорошего нет  
   у этой породы:  
 сибирские священники, вологодские алкоголики,  
   украинские евреи  
 сонно аукаются  
   в венах моих и артериях. Отсюда —  
 разрез глаз,  
   надрез глаз,  
   порез скуластой скулы —  
   а кто из нас не татарин?  
 Зато мой профиль правилен и антикварен.  
 Дабы начать поэму по возможности скромненько,  
 даю мои глаза  
   глазами моих любовников:  
 «Они, как полная луна, лишают сна» —  
 А.Р., отвергнутый кавалер,  
   всем кавалерам пример:  
   если девушке восемнадцать —  
   с ней следует целоваться.  
 «У тебя глаза красивые, как у меня» —  
 М.П., так меня этим фраппе,  
   что сегодня я тоже П.  
 «Как у меня» — это: «полные огня»  
   «горящие», «говорящие»,  
   «молчащие», «аще  
 беззаконие нáзриши, Господи, Господи,  
   кто постоит?» —

#### LA BOUCHE

Я постою, но, скромная, опускаю ресницы  
 (разумеется, длинные, тенистые)  
 на щеки,  
   с обратной стороны которых —  
   мышца смеха,  
   тренированная много лучше, чем  
   мышца хлеба, не хуже, чем  
   мышца, смарщивающая брови  
 (См. «Анатомию для художников», автора не помню).  
 Далее — рот,  
   который много на себя берет,  
   который сегодня целует, а завтра — клянет,  
   послезавтра же — с новой силой:  
   «Глас той же, Господи, помилуй!»  
 И продольной флейтой гнется шея,  
 почти отрываясь от тела...  
 И чешутся пальцы мужские — дотянуться,  
   коснуться, сомкнуться  
   на трепетной голой вые.

#### LE CON DE LA PUCELLE

Я родилась голой. И эта нагота  
   была наготой почки,  
 наготой листа кроваво-зеленого,

в день четвертый мая,  
 в ночной глубине.  
 Я впервые себя вспоминаю голой —  
     у ног подметающих небо елей —  
                                 наготой змеи, в траве  
                                 мелькающей еле.  
 Колесом под откос и —  
                                 река. Нагота — рыба.  
 Крупным планом — рука с комариной,  
                                 крапивной сыпью —  
                                 панибратство природы.  
 В руке стрекозиная личинка — надрываю ее,  
     достаю осторожно начинку,  
     расправляю мятую стрекозку... О повитуха  
 пятилетняя!..  
     Певчих кузнечиков пасла по слуху,  
 целовала в губы лягушек, вкусных, родниковых...  
 Пятнадцатым летом нагота превратилась в оковы.

### LA LARME

А когда начали прорастать груди,  
 в меня влюбился двоечник Рудик,  
 который, с усердием, более чем странным,  
 переписал для меня  
     письмо Татьяны почти до середины,  
     почти без ошибок,  
 и целый час  
     простоял на отшибе двора,  
     под окном моим,  
     с петлей на шее...  
     Груды прорастали.  
 Двоечники становились смелее,  
 и самый смелый из них без лишних вопросов  
 притащил меня за косу в ЗАГС, как сидорову козу...  
 Андрей Первозванный  
     Бога о нас молил хуже и реже,  
     чем ты,  
     Михаиле-Архистратиге!

Оказалось:  
     цельность — она не от слова «целка».  
 Медовое Черное море показалось  
     мелким.

Оказалось:  
     заврались слова, пересохла надежды.  
 Восемнадцатым летом нагота  
     стала формой одежды.  
 Форма одежды — парадная:  
 фигурка голодная ладная,  
 кожица — импортный шелк.  
 Мимо никто не прошел.

### LA VOIX

Ничего, кроме голоса, который —  
                                 тело души.  
 Он живет между ребер,  
 из этой ветвистой глуши вырываясь под купол  
                                 неба, черепа, неба,  
 минуя мышцу смеха и мышцу хлеба,  
 сокращая мышцу неба...

Высокие ноты мне даются лучше,  
 чем низкие ноты  
     работы подневольной,  
     забот о забытом,  
     любви сквозь зевоту.  
 Потому я пою и люблю во второй октаве —  
 мне вторую октаву кузнечики певчие ставили,  
 педагог по вокалу возился  
     со средним регистром — не стойт,  
     и звучок ниже среднего,  
     благо, что чисто,  
 потому что мне слух развивали  
   летучие мыши —  
 через тысячу стен  
                                 телефонный звонок услышу,  
 через тыщу сугробов — шаги.  
 Что касается духа —  
 ничего, кроме голоса.  
 И ничего, кроме слуха.

А когда обломилось все то, что подвластно обломам —  
 нагота стала домом родным.  
 Единственным домом.  
     Кто-кто в теремочке живет?  
     Кто-кто в невысоком живет?  
     Живет в теремочке эмбрион.  
     Тебе он прислал поклон.

## LE VENTRE

Единственной клеткой,  
 единственной буквой **Е**, ее  
 червячком-головастиком, пущенным в плаванье  
 единственной ночью в холщовом алькове, в томленьи  
 ты началась. Первый месяц  
 в единственной гавани тихо сидела.  
 Личинка, почти без лица.  
 Вторая луна, продолжая утробное таинство,  
 прибавила буквуку **Л**, что сложила отца и маму  
   под то одеяло,  
   поставив знак равенства  
 И третья луна повернулась к планете анфас.  
 И скрыли ее облака, токсикозом гонимы.  
 На лице личинки  
     прорезался маленький глаз и  
 рядом другой, и  
     красивое **И** между ними.  
 Затем — полнолуние четвертое.  
 Литерой **З** забилося сердечко  
   на дне акушеркиной трубки.  
 И папа поставил в известность  
   подруг и друзей.  
 И мама  
     оставила моду на узкие юбки.  
 Под пятой луной — вокализ на слова «Ааа».  
 Утроба колдует,  
     глухая к советам досужим,  
     в утробе — **ЕЛИЗА**.  
 «Элиза! Конечно, она! — вскричал ультразвук, —  
 в головном прилегании к тому же!»  
 И дальше пошло как по маслу — и **В** вам, и **Е**,  
 и ручки, и ножки, и много локтей и коленок,  
 которые били ключом, да не по голове,



и землетряслись перекрытия  
 маминых стен.  
 Осталось нам ТА, пара месяцев, отпуск-декрет,  
 последние приготовления —  
 ногти, ресницы —  
 и ЕЛИЗАВЕТА из тьмы появилась на свет,  
 и Елизавета из тьмы появилась на свет!..  
 А мне оставалось одно —  
 родив, возродиться.

\* \* \*

Душа детеныша — потемки. и слышит медленный, угрюмый  
 Глушите звук, тушите свет. прибой околородных вод.  
 В убогой нашей комнатенке  
 детеныш спит десятки лет.  
 Пройдут века. Дитя проснется,  
 увидит нас на берегу,  
 Детеныш спит и видит — в трюме потянется и улыбнется,  
 «Земля. — подумает, — агу».  
 высокой шхуны он плывет

### *Из цикла «Литургия преждеосвященных»*

## *Ныне отпущаеши*

Не хочу кирпича с крыши —  
 я хочу умирать долго.  
 Я хочу умирать, наблюдая,  
 как тело, капля по капле,  
 выделяет уставшую жизнь.  
 Пропустить ее сквозь себя,  
 как сквозь мелкое-мелкое сито,  
 и — не скоро — вздохнуть  
 с облегченьем,  
 не увидев на дне ничего.

## *Богородице Дево*

И я пою, и голос — тоже — тонок,  
 я пью святую воду из горла  
 за здравие возлюбленных мужей,  
 за упокой непрошенных детей  
 и за себя, уставшую не верить,  
 и за себя, уставшую любить.

## *Ектения заупокойная*

Сонный дьякон водит пальцем  
 вдоль поминального листка.  
 Попасть бы как-нибудь  
 в небесное царство,  
 а там  
 я бы знала, кого искать.  
 Поля, Виктора, Ростислава,  
 рабов божьих.  
 Господ моих.  
 Почему  
 молилась так мало  
 за живых?..

\* \* \*

Об этом — только грудному младенцу.  
 Об этом — только глухому другу.  
 Об этом — только в письме анонимном  
 в редакцию малотиражной газеты.  
 Об этом — второй в старушечьем хоре,  
 среди эмигрантов небесного царства:  
 Верую.

Зуфар Гареев

## ОЗНОБ

РАССКАЗ

Пожалуй, было бы непонятным в наше не слишком поэтичное время выразиться о каком-нибудь литературном герое в том старинном смысле слова, что-де душа его — бродячая изменница — однажды вдруг встала на дыбы и хищно вдруг, как волчица, ощерилась. Он — наш-де герой оцепенел, когда заглянул в ее таинственный глаз: были ее пути неисповедимы. Наш герой подумал: нет, этот глаз ему не обмануть никогда. Кажется, в этом случае остается одно: нервно рассмеяться и пойти прочь. Теперь ты свободен. Ты знаешь о своем будущем и настоящем все. Тебе теперь не надо пугаться того ледяного ветра, который лихо гуляет в сердце, все острее, глубже размывая в нем рану — так, что все отчетливее обозначаются в черной дыре звезды; все крупнее они, все блестящее — все безжалостнее обозначается путь. Ты долго не мог ему дать названия. Теперь ты понял — путь этот называется Млечным.

Ощущение, конечно, не из веселых. Но внутренняя жизнь при этом в человеке не замирает. И хоть она невидима, но причудливое движение ее до сих пор остается самым заманчивым предметом литературы. По крайней мере самым загадочным. С этой точки зрения одинаково трудно и любопытно было бы объяснить, почему июльским полднем в плацкартном вагоне поезда, прибывающего в некий город Т., что в Брянской области, довольно молодой мужчина в изящном весьма костюме цвета крем-брюле — впрочем, на что может нынче указывать эта, некогда достойная, культурная деталь? — сидел сильно погружен, что называется, в самое себя: откинувшись на спинку дерматинового сиденья, довольно грязного, местами рваного и, разумеется, испещренного всякими гадкими словечками. Голова его мягко покачивалась в такт неровному ходу вагона. Можно было сказать, что наш герой качался в тумане своих размышлений, как дитя качается в колыбели на заре жизни, если бы эта метафора не выглядела напыщенной. Однако голубой июль в самом деле не без нежности заглядывал в отрешенное лицо мужчины, а теплый ветер, влетающий в окно, задумчиво отбрасывал пшеничную прядь волос со лба, обнажая не совсем здоровую белизну, которую иные называют нервической, городской.

Это был Крашенинников Дмитрий Николаевич, средних способностей корреспондент одной из центральных газет; он прибывал к месту командировки. Скоро поезд остановился у опрятной платформы с симпатичными, чистыми урнами, разрисованными под бело-голубых пингвинов. Крашенинников повесил на плечо сумку и покинул вагон. Онпил холодной воды из колонки, которую заметил недалеко от пригородной кассы, потом, в тени газетного киоска, закурил, невольно обратив внимание на странную пару: девушку лет двадцати пяти и подростка лет тринадцати-четырнадцати рядом. Брат и сестра, решил Крашенинников. Профессиональным взглядом он отметил некоторые детали, показавшиеся ему живописными: узенький, трогательно короткий в рукавах пиджачок на подростке и казенную стрижку. Девушка была босиком, в линиялом красном платье — зыбком, вот-вот, казалось, оно расплзется по швам. То, что она была полоумной, Крашенинников определил сразу по той странной жизни лица, которое отобразило непознаваемый в принципе, потусторонний ход ощущений и мыслей, и к которым, конечно, можно было испытывать любопытство. Кроме того, Крашенинникову вообще нравились женские черты, лишённые чувственности,

от фригидности веяло миром и спокойствием. И только красиво очерченные ноздри — крупные и необычайно, казалось, чуткие — вызывали тревогу. В самом деле, чем-то полоумная напоминала быструю, пугливую лань, вбежавшую в мир незнакомых, сложных запахов и звуков. Теплое чувство к странной паре шевельнулось в Крашенинникове.

— Кого-то встречаете? — спросил он, заметив, что подросток, в свою очередь, тоже разглядывает его.

— Поезд встречаем... — ответил тот не совсем дружелюбно, как по-казалось Крашенинникову.

— Поезд?

— Ну да, он самый...

— Кажется, что кто-то приедет, — иронично улыбнулся Крашенинников. — Знакомая иллюзия...

— Знакомая. — Подросток повернул стриженую голову к сестре, словно был вправе сейчас отвечать и за нее.

— Как тебя зовут? — обратился Крашенинников к девушке.

Она не ответила.

— Только никто не приедет, — довольно резко обронил мальчик, раздрал пачку таблеток, поспешно отправил несколько штук в рот и, разжевывая на ходу, пошел запивать — худенько скрючился у колонки, ловя губами брызжащую струю. Сестра последовала за ним; вскоре странная пара скрылась в здании вокзала. Крашенинников посмотрел невменяемой вслед. Впрочем... впрочем, не более того.

Гостиница располагалась в центре городка и даже имела название — «Золотой колос». Довольно опрятная трехэтажная типовая коробка обещала жизнь и скучную, и нудную, как все провинциальные гостиницы. Собственно Крашенинникова интересовала местная нефтебаза, о которой он должен был сделать небольшой критический материал — рядовая командировка рядового журналиста. Роясь в сумке, он наткнулся на письмо жены, когда-то недочитанное, повертел в руках, соображая, каким образом оно оказалось здесь, ибо писем ее не любил. Писала она сумбурно, всегда об одном и том же. Она упрекала его в том, что он никогда не тянулся к ней по-настоящему, что любит только себя, что и себя, разобраться по существу, он толком не любит, в общем, ничего особенного, череда обычных упреков в мужском шовинизме, какая-то само собою разумеющаяся супружеская жизнь. И лишь последнюю размолвку, случившуюся этим летом в Пицунде, он перенес нелегко. Обычно они проводили отпуск вместе, но этим летом он почему-то воспротивился привычному укладу вещей. В самом начале июня она уехала одна, он приехал намного позже. Праздные свои дни жена проводила в кругу старых друзей-художников, которые как обычно съезжались сюда. С восторгом — он всегда казался Крашенинникову преувеличенным — она рассказывала, садясь в такси:

— А Фоньку ты не видел уже тысячу лет, и зря! После парижских выставок он сильно изменился — стал добренький, благодущный. Это симпатично, но как художник он кончился давно, еще до Парижа... Ромуальд развелся, холостой он смотрится скучнее, вчера улетел в Москву, обещал тебе звонить, у него к тебе какое-то дело. А вообще, все как раньше: пьем здешнее вино, спорим, острым — все по тебе соскучились...

Крашенинников кивал, потом спросил:

— Не рисуешь здесь?

— Представь, ничегошеньки. Я обнаружила в себе потрясающие запасы лени: никогда не думала, что ее может быть так много. Я решила: до тех пор, пока не растрочу, преступно братья за кисть...

Крашенинников покосился на нее. Таксист почему-то хмыкнул.

— Я придумала так. Номер у нас с тобой двухместный. Если хочешь, поживем вместе. Если я тебе мешаю, Тамара определит тебя одного, она знает вариант...

Он уловил в ее голосе напряжение и кивнул: вместе.

— Вот видишь, я все продумала своим мелким умишком... — Она положила голову на его плечо и чуть понизила голос. — Лишь бы не ссориться. В последнее время я кошмарно боюсь этих наших ссор...

— Стареем... — заметил Крашенинников.

Слезы вдруг навернулись ей на глаза, губы мелко задрожали:

— Ты прекрасно знаешь почему...

— Ну-ну, — пробормотал Крашенинников. — Ты сразу плакать... стоит ли?

Он смотрел по сторонам и узнавал все то же самое, что видел из года в год, проносясь каждым летом в быстром такси из адлеровского аэропорта: и море, вдоль которого петляла дорога, и зеленые скалистые берега, утыканные здравницами, и чудные местные селения, и все прочее, что зовется одним знойным, ярким словом: юг, все то, что влечет столичного горожанина из промозглой слякотной зимы, и все то, чем он быстро пресыщается, ибо юг летом превращается в тот же городской кошмар по населенности, от которого бежит горожанин.

Мелькнули за окном знакомые корпуса, пролетели в тени красногрунтовые корты, дохнуло прохладой, комфортом, отдыхом. Жена шутовски приложила палец к его носу:

— Пип-пип, Димыч, приехали...

И она — красивая, загорелая, довольно молодая женщина с маленькой сумочкой-кошельком на серебристой цепочке, остро игравшей блеском под чужим солнцем — первая вышла из машины. Он же замешкался, сосредоточившись на ощущении. «У этой красивой, молодой, загорелой женщины, художницы средней руки Елены Крашенинниковой, никогда не может быть детей», — подумал он. Все они, год за годом, будут рождаться олигофренами. Таковы последствия абортов при отрицательном резусе крови.

Пужинать он решил в кафе под «русскую избу», которое приметил в глубине парка, когда пересекал его, направляясь в местную гостиницу. Солянка и котлеты оказались сносными, а кофе сварили, конечно, ужасный, как это водится в общепите. Естеству русского человека кофе по-прежнему чужд, как квас бразильцу — так в который раз за свою жизнь подумал Крашенинников, прихлебывая неароматную бурду из какой-то нелепой детской чашечки с мультяшным зайчиком. Многие мог перенести неприхотливый журналист Крашенинников, но плохой кофе портил ему настроение как ничто другое.

— Сигареты будем брать? — визгливо спросили его после кофе. — У нас «Винстон» есть... — Не получив ответа, снова взвизгнули. — У нас «Винстон» имеется, слышите, гражданин?

— «Винстон» имеется? — язвительно пробормотал Крашенинников. — Вот ведь что, скажите, пожалуйста... Не будем брать, никак не будем...

Случаю — что за странное стечение обстоятельств, спросил он себя потом — было угодно, чтобы снова ему повстречалась помешанная. И таким образом, первый день его пребывания в этом захолустном городке как бы вдруг обозначился неким приключением. Нешумный провинциальный парк, хоть и не забытый парой-тройкой аляповатых монументиков в стиле соцреализма, нелепо мелькавших серым камнем в деревьях, был красив в это, уже нежаркое, но еще теплое и ласковое время дня. Такие нелюдные, запущенные, тихо и пышно погруженные в самое себя парки в захолустных городках — в отличие от шумных столичных — собственно являют собой уже извечную природу, загадочно размышляющую в тишине о своем, себе же предназначенном существовании. Не этим, однако, был удивлен сейчас Крашенинников. Другая открывшаяся картина поразила его — картина, тающая в себе отчасти даже религиозное значение в самом расхожем, разумеется, светском понимании. Сказочный, ало-золотой грот, неожиданно родившийся в промывах сиреневых туч, тронутых по краям прощальным, вечерующим солнцем, был удивительно похож на цветные библейские рисунки, которые всегда будоражили его воображение как пышностью древней природы, так и торжеством Его доброй воли, лучезарно распространяемой во все концы мира. Асфальтовая дорожка, перед которой он остановился и которая вообще-то вела к гостинице, тоже была высвечена золотыми лучами и словно бы вела к этому гроту. «Войти в него, — усмехнулся Крашенинников, — не значит ли войти в небесный храм. Человечество давно к нему потеряло дорогу... А уж я-то точно...» Светлым, как благая весть, было в открывшейся картине то, что по дорожке шла она — босая невменяемая. «Откуда она возвращается? Не из этих ли сказочных гротов после бесед с Ним, — снова усмехнулся Крашенинников. — Между прочим, как же ее зовут?»

Ветерок теребил линияе платье полоумной. Она ступала по асфальту не то чтобы даже осторожно: просто невесомо. Казалось, ничто не связывало ее с этим миром — никакая нужда, никакой долг, — она парила и совсем случайно, просто так, задевала босыми ступнями асфальт. Грезилось ли Крашенинникову все это, или было в самом деле так, но по мере приближения безумной он все больше различал в ее лице и нездешнюю сосредоточенность. Если бы Крашенинников был простодушнее, он бы мог подумать, что сосредоточенность эта была не что иное, как возвышенное созерцательное припоминание о вечной жизни, о тех далеких краях, где жила когда-то душа человеческая, прежде чем пуститься в земное странствие. Полоумная поравнялась, прошла на расстоянии вытянутой руки. Он, покорясь безотчетному чувству, последовал за ней. Прошли парк, перешли широкую улицу. Судя по всему, улица была главной в городке и по логике могла бы называться улицей Ленина. Свернули, двинулись по какой-то кривой улочке мимо низеньких домиков. Насмешливый фон прогулки Крашенинникова составляли такие динамичные детали, как стайка поросят, брызгавших из-под ног полоумной, или некий пьяный мужичок, лениво постукивающий ослабшим кулаком в калитку, из-за которой незлобиво что-то бурчала в ответ толстая баба в светлом платке. Скоро потянулся по сторонам пустырь, буйно поросший полынью, лопухом и прочим бурьяном, потом перед тропинкой вынырнул деревянный мостик через канаву, пока Крашенинников не понял, что направляются они к станции; запахло жженым углем, дал о себе знать и гнусавый станционный транслятор, скороговоркой выпалив что-то из серии: проследует... будьте осторожны... И действительно, скоро со стороны станции прилетел к ним дробный стук колес проходящего состава.

Рано или поздно, разумеется, в этом преследовании должен был обозначиться и вовсе комический элемент. Случилось это тут же, как только он об этом подумал. Невменяемая ускорила шаг, Крашенинников, стремясь не отставать, сбегал с тропинки, чтобы укоротить путь, но тут же наскочил на спрятавшийся в зелени валун и со всего размаху полетел в траву. Крашенинников рассмеялся угадываемому ходу вещей. Лежа на спине, он крикнул:

— Эй, иди сюда, чего ты убегаешь?

Ответа не было. Он закрыл глаза и стал слушать. Трава зашуршала — шаги стали приближаться. Крашенинников открыл глаза и засмеялся снова. Полоумная остановилась в метрах десяти от лежащего в траве мужчины. Руки мужчины были вольно разбросаны по сторонам, пиджак цвета нежного крем-брюле расстегнут, а сам он улыбался.

— Ну иди, глупышка, посиди, чего ты?

Невменяемая смотрела на него с любопытством, без настороженности.

— Как жизнь? — спросил Крашенинников и задумался, отчетливо услышав в тишине свой голос: прокуренный, с хрипотцой. Почему-то именно это обстоятельство заставило его подняться. Сначала он сел, рассеянно озираясь вокруг, потом вскочил на ноги и принял ся отряхивать костюм от щедро налипшего свежего гусиного помета, исподлобья глядящая на полоумную. Та отвернулась и стала быстро уходить. Крашенинников, застегнув пиджак, последовал за ней — впрочем, не так быстро, как прежде. Сильно пахло жженым углем, снова что-то прогнусавил станционный громкоговоритель. Надо бы ему остановиться, перевести дух — а с другой стороны, к чему эта экзистенциальная трусость? Он не ошибся в предположении — они вышли к станции. Миновали вокзальную площадь, неторопливо оживленную, прошли насквозь привокзальный сквер — пустынный и довольно редкий. Здесь полоумная обернулась и как будто бы улыбнулась ему.

— Эй, как тебя зовут? — крикнул Крашенинников. — А братца как?

За его спиной раздался смех. То два цыгана, проходившие мимо, со значением поглядывали то на него, то на удаляющуюся девушку. Один из них звонко прицокнул языком. Сумасшедшая уходила быстро, напуганная, наверно, и звуком его голоса, и смехом цыган.

Надо успокоиться. Рядом скамейка, здесь безлюдно, никто не мешает ему выкурить пару сигарет — надо успокоиться, чего он, в самом деле?

Просидел он, приводя в порядок свои чувства, около часа, пока сумерки вконец не размыли очертания дальних предметов. Дохнуло свежестью, потянуло ветром. Надо сказать, наступало какое-то особое время суток для

маленьких захолустных городков. Молодые ребята, оставляя свои неказистые жилища, выходили на темнеющие улицы, коротко приветствуя друг друга. Перебрасываясь мужественными фразами, надевали яркие шлемы, похожие на забрала, и шли к своим мотоциклам — сосредоточенные, подтянутые, необычные, словно инопланетяне. Бензин и скорости! И вот уже яростный гул пронзает скучные окраины: и вот она, чья-то чумазая, провинциальная юность, мчит сквозь ночь, только веют милые кудри из-под шлемов — на какой чудесный праздник летишь ты, чужая, безвестная?

Опустошенный рефлексией, Крашенинников поднялся со скамейки и двинулся через вокзальную площадь. Вереница мотоциклов, слепя фарами, пронеслась перед ним. Он отступил назад и посмотрел молодым вслед...

К концу недели по видимости пестрая, но по сути однообразная жизнь в Пицунде ему изрядно прискучила. Его начинали тяготить жена, ее друзья-художники, людный пляж, полный и дряблых, и жирных тел, череда ненужных знакомств, духота в номерах, которая рассасывалась лишь глубоко за полночь. По утрам он бегал к далекому лесу: вернее, это были интенсивные прогулки с чередованием бега и быстрого шага. Ранним блистающим утром он бежал мимо озера, потом полем, потом мимо маленького селения, потом снова полем. Всякий раз старый, седобородый крестьянин встречался ему на дороге, всякий раз поднимая фуражку над головой для приветствия. Вечерами ходили в Пицунду — берегом моря, с обязательным заходом в знаменитую реликтовую рощу. Полные, бородастые художники пили много. Крашенинников пьянел быстрее всех, дремал, поглядывая в окно, за которым выруливали подъезжающие дорогие машины, а здесь грохотала разухабистая музыка, горячо покрикивали подпившие местные красавцы, смеялись их спутницы, рядом бубнили художники. В такси он обычно дремал на заднем сиденье, теснимый художниками, безучастно поглядывал на жену, которая обычно сидела впереди, вяло думал о том, что, в сущности, не любит ее. Открывая глаза, замечал узкую, алую полоску позднего заката, выстреливающую из-за деревьев, чувствовал острую тоску, знакомую из детства, рядом несуразной, неприкаянной юности, — бесформенный зов, смысла которого никогда он не мог объяснить словами; не было тела — и всегда, и теперь, — только сознание, и он мчится, мчится всю жизнь на огромной скорости к этой узкой, острой, вечной полоске: и ничего у него в жизни больше нет и не было, кроме этой алой кромки неба, и ничего ему не нужно: лишь бы домчаться когда-нибудь... долететь, Господи... долететь...

В субботу они поссорились из-за какого-то Кильдиярова. Она металась по номеру, то швыряя свою блестящую сумочку в кресло, то снова надевая на плечо:

— Вот знакомство, которого мне не хватало всю жизнь! И теперь я вдруг приду одна? Дима, ну разве можно так? Этот ужин был запланирован еще две недели назад... — Она остановилась перед ним, пожав плечами. — Действительно, у него забавная фамилия, но какое это имеет отношение к делу?

— К какому делу? — вяло возражал он.

— Дима, ты ведь все понимаешь. В этой своей Ростовской губернии Кильдияров далеко не последний человек. Ты слышишь, далеко не последний! Кстати, он мне сделал подарок...

Она взяла с телевизора томик, на который он обратил внимание еще в первый день.

«Сейчас будет читать», — подумал Крашенинников. Действительно, она наугад открыла страницу.

Золотистого меда струя из бутылки текла  
Так тягуче и долго, что молвить хозяйка успела...

— Не надо, — с неприязнью перебил Крашенинников.

Она смолкла:

— Дима, ну не будь таким вздорным, прошу тебя. Он обещает мне выставку в этом самом Ростове...

— Художница! — вскипел Крашенинников. — Ван Гог!

— Маленькие таланты тоже имеют право на существование...

— Я это слышал тысячу раз! — Крашенинников стал быстро ходить по комнате. — Тебе не унижительно! Кому нужны твои бездарные картины, кому?

— Их купит местный музей, купят какие-нибудь колхозы... Понимаешь, маленькие таланты тоже...

Это был давний спор. Крашенинников вяло вздохнул:

— Нельзя так, Лена, это не путь... Пойми меня, пожалуйста, но мне противно... Когда тому же Ван Гогу однажды предложили...

— Как ты, тоже нельзя, — ласково перебила жена и погладила его руки. — Я ведь не Ван Гог, Дима... Я всего лишь Елена Крашенинникова...

За окном послышался голос — нежный до приторности.

— Лена! Леночка!.. Мы готовы с Витюшей!

Крашенинников выглянул в окно. С супружеской парой средних лет был молодой человек, тоже приветливо помахивающий. Крашенинников отправился переодеваться, хлопнув за собой сердито дверь. Все оказалось сноснее, чем он предполагал. Он не утомился — время за столом он провел с тихим смирением и даже романтично. Он ел орешки из золотистой розетки, пил маленькими глотками вино из голубого высокого бокала и переживал маленькое мандельштамовское вдохновение, воображая тавридским вином здешнее — цвета миндаля — «Псоу», которого на столе было в избытке. Конечно, глаз его отмечал детали, которые иного могли бы и унижить. Много в этом Кильдиярове, между прочим, указывало на то, что у него с художницей средней руки Еленой Крашенинниковой, в картинах которой остро нуждались колхозы Ростовской области, был флирт. Рыжий, крепкий мужик, из тех, что любят потреблять водку в сауне, в компании с непременно «девочками», похоже, не разделял таланты на большие и маленькие. В разговоры Крашенинников вникал мало, съел салат, что-то рассеянно мычал в ответ, означавшее и да, и нет, и разумеется, и возможно. Скоро — с легким желудком, чуточку навеселе — он встал из-за стола и обратился ко всем с наигранной живостью: милая компания должна его простить, он обязан прерваться, так как обещал своему редактору привезти из Пицунды доработанный очерк...

— К сожалению, на тему морали, — сострила жена, и за столом все рассмеялись.

Было еще не поздно. Из бара шумно вывалила молодежь — и ушла к морю по дорожке, обставленной низкими люминесцентными фонарями с козырьками. Крашенинников поднялся в номер, миновав оживленный, людный холл. На этаже было свежо и пустынно, в темных окнах летал тюль, увлекаемый ветром. Расправить постель, вытянуться в чистых простынях, смотреть в черное окно. Если не очень много фонарей на улице — можно увидеть звездочку. Про себя он звездочки называл бабушкиными. Бабушка знала ответы на все вопросы. Мир в ее представлении, весь, до самых темных глубин, был вполне познаваем, крепко спаян причинно-следственными отношениями, в нем не было места абсурду. Если не кушать, будет животик плакать и говорить: дайте мне покушать. Если быстро не уснешь, другие детки расхватают хорошие сны и останутся только плохие. Хорошо, бабуленька, я сейчас быстренько усну — только один вопросик. Почему утром погасла звездочка над антенной? Звездочка ушла спать. Почему же она не спит ночью? Звездочки спят только днем — ночью они охраняют людей. Бабуля, а если много дней не стричь ногти? Пальчики будут плакать и говорить: больно нам, ох, как больно. Ногти отрастут большие, загнутся крючками и вопьются в подушечки... Все, спи. Уже стучала Яга и спрашивала: кто здесь не спит, отвечайте! Сейчас я его в мешок, а потом на сковородку! Нет-нет, бабулечка, не надо в мешок, я уже сплю. Ну, тогда я прогоню ее: уходи, старая да поганая, уходи. Яга, у нас тут все спят...

Потом, когда превратился в колючего, замкнутого подростка, он косо, с холодной насмешливостью поглядывал на нее. Обыкновенная старая женщина: доживает свой век. Забывала отключать газ, зашивала в подушку деньги на похороны и тайну свою никому не выдавала; рак, что-то вырезали, но поздно, метастазы пошли в печень, много дней она не вставала, отхаркивалась черным — запах этой жидкости был удушающим. Ехать на кладбище он отказался наотрез. Его оставили дома, накрывали на стол, пахло слащаво, приторно, все сидели тихие, чопорные, а он заплакал: откройте окна, здесь же воняет, неужели вы все не чувствуете, что здесь воняет черным, опрокинул тарелку со сладкой кутьей, побежал к окнам, рвался из рук к огромным, голубым окнам — чистое-чистое мартовское

стекло — обступили со всех сторон, заслонили стекла, уложили в постель: нервное истощение.

Полный логики, разума, исполняющихся надежд, клочок придуманного бабушкиного мира остался жить в глубине его существа. Серебристый рожок месяца в светлых сумерках, звездочка над костлявой антенной, желтый — а может, синий, или малиновый — фонарик на уличном столбе. Такой маленький, а как он нарядно освещал бабушкин мир во все концы. Никого не впускал в этот мир подросток Дима. И даже бабушку. В конце концов теперь было не важно, кто этот мир придумал, — такой был смысл его холодной, учтивой улыбки.

Крашенинникова разбудил голос жены. Он выглянул в окно. Ее сильно качало.

— Дима, ау... Спустишь, пожалуйста... Мне тяжело...

Крашенинников торопливо оделся.

— Ты можешь прогуляться со мной? — Она тяжело оперлась на его руку. — Ты прав, я стала жуткой хулиганкой... а ты меня, между прочим, совсем не ревнуешь. Пойдем к морю?

Она закурила, прислонилась плечом к дереву.

— Ты пьяна, — вяло возразил Крашенинников. — Давай отправимся лучше спать.

— Нет, пойдем к морю и поспорим. — Сигарета выпала из ее пальцев; она, бормоча и вздыхая, долго шарила рукой, присев на корточки.

— О чем мы будем спорить?

— О чем-нибудь. Если ты прав — скажи в чем? — И она тихонько засмеялась, ласково, как будто самой себе, своему чудачеству — а может быть, никому и ничему, так иногда смеются маленькие девочки, играя в куклы наедине. — Я хочу и жрать, и пить, как последняя свинья. Да — я такая! Ты ведь видишь какая я — набитая дерьмом с ног до головы. Скажи, что тебе это противно. Не противно? Врешь, противно! Врешь! Врешь!

Она откачнулась от дерева. Сумочка на тонком, словно змея, блеснувшем ремешке, потащилась за ней, вывалив на землю целую кучу изящных дамских штучек: разноцветные карандаши, флакончики, тампончики, кисточки...

Крашенинников невольно отодвинулся, хотя ему, наверно, следовало бы поступить наоборот: подойти, придержать ее за локоть.

— Уходишь, милый... — пробормотала она с неясной глухой угрозой в голосе. — Избегаешь... Прости, я хочу проблеваться... я слишком много сожрала, любимый... пережрала...

Ее рвало в туалете: сильно, беспощадно, словно бы имело целью вывернуть наизнанку бедный женский желудок. Крашенинникову было жалко ее до слез.

— Ну... ну, чего ты... — повторял он, топчась у туалетной двери, наконец отошел, сел и автоматически стал листать яркий журнал, валявшийся на столике.

— Закрой глаза, — совершенно трезво и бесконечно устало проговорила она из туалета. Она прошла в ванную, потом в свою комнату. Он постучался, вошел, сел рядом. Она долго смотрела в его лицо — бледная, чисто умытая, холодная. От ее простых волос не пахло духами, из переполненных глазниц катились по вискам слезы.

— Дима, скажи, во что ты веришь? Что ты за человек?

Он ничего не ответил, лишь улыбнулся, ему вдруг стало хорошо и весело.

— Ты веришь, я знаю, — промолвила жена задумчиво. — Но не хочешь говорить, чувствуешь: я-то все равно не поверю или не пойму... так? Он снова весело пожал плечами.

— Ты как был, так и остался бедным, полуголодным студентом... — Отдаленная улыбка тронула ее губы. — Помнишь, я приезжала вечером к тебе на квартиру и подкармливала: ты стеснялся, но ел. Я любила смотреть, как ты читаешь, пишешь... Я думала: он такой сердитый, он такой настырный, этот полусирота-студент, он много чего совершит в жизни... — Она сухо, коротко рассмеялась. — Ты ничего не добился, Димыч. Ничего абсолютно. Понимаешь, есть в тебе что-то такое... это называется потолком, ты просто еще не понял... ты кружишь в пустоте... в пустоте, понимаешь?



— Возможно. А ты?

— А я? — вздохнула жена. — А я завтра уеду. Проводи меня, пожалуйста. Тебе одному лучше: с твоей холостяцкой психологией ничего не поделаешь...

— Когда ты далеко, я начинаю тебя любить...

— Оставь этот бред! Не пишешь, не звонишь, а если звонишь — это ни на что не похоже... Господи, ни на что это не похоже! Ты как будто бы разговариваешь совсем с другой женщиной... я не могу понять твоего тона... твоего голоса... как будто мы встретились только вчера. Тебе не странно все это? — Она притянула его руку к губам. — Нет, не странно, конечно же. У тебя даже любовницы нет... не было и не будет...

«Действительно», — подумал он весело и удивленно, словно бы это обстоятельство открылось ему впервые...

До Адлера на такси было, конечно, быстрее, но они почему-то решили ехать рейсовым автобусом. В ранний утренний час вчерашнее подобие их близости ему показалось сном, он себя чувствовал бездарным героем дешевой мелодрамы. Уже в купе жена бесцветно проговорила:

— Я денечка на три заеду в Подольск к подружке, а потом ты можешь мне звонить в Москву... Значит, ждать тебя двадцать шестого?

Поезд тронулся. В глубине окна она помахала ему рукой. Ему снова стало жалко ее: теперь, когда он уже не мог сказать ей чего-либо, а она ему чего-либо ответить. Она была как бы уже на грани исчезновения, и от него, в сущности, уже ничего не требовалось: даже думать или не думать о ней. В самом деле, она часто ему представлялась — когда они не были вместе — другой совсем женщиной, которую он совсем не знает и не узнает никогда. Возможно, такой женщины вообще не было на свете, возможно, что он ее всего лишь придумал...

Она махнула рукой в окне, она уже начинала превращаться в эту придуманную женщину, и он начинал ее любить. У нее уже как будто бы не было имени. Просто некая «она»: маленькая, кроткая, гонимая куда-то темной волей мужа, у нее в жизни ничего нет и ничего не было, кроме мужа, — такой маленькой, такой ни в чем не виноватой, которая любила сидеть подле ног мужа на низенькой скамеечке и слушать его рассказы, и все удивляться и удивляться тому, что он во что-то такое верил, чего-то такое знал последнее, чего не дано было знать ей, а дано было знать только мужчинам. Она уже превращалась в эту маленькую женщину, она махала ему рукой и будто бы звала его к себе, чтобы посидеть на низенькой скамеечке подле его ног; и он тогда побежал по перрону, что случилось с ним совсем уж редко, и это ей показалось дозволительно смешным, и она дозволительно засмеялась, и он бежал, и он знал и не знал, что на самом деле она смеялась вяло, и, наверно, тихо, и, наверно, самой себе — как вчерашней ночью, — хотя и смотрела на него. Она вяло смеялась, он бежал, скоро перестав различать ее лицо, но видя еще руку — светлеющую, слабую, измученно и тяжело украшенную перстнем, браслетом и кольцами.

Проводив глазами сверкающую фарами вереницу, Крашенинников достал новую сигарету. Он почувствовал легкий озноб, но не сразу сообразил, что ночная прохлада, спускающаяся на городок, здесь ни при чем. Он уловил признаки надвигающейся ангины, когда попробовал сглотнуть слюну. Горло побаливало, а сигарета не имела привычного вкуса. «Не надо было пить из колонки», — заторопился Крашенинников в гостиницу. Уснул он, впрочем, быстро. Утром в горле боли как будто бы не было, а привычному вкусу сигареты он даже обрадовался, хотя именно по утрам, долго прокашливаясь, он размышлял, не пора ли бросить курить. Позавтракав в знакомом кафе, он отправился на нефтебазу. К вечеру было ясно: достаточный для очерка материал можно набрать за день-другой. Он вникал не в те бумаги и документы, которые ему подсовывали услужливо, разговаривал не с теми людьми, на которых ему указывали, и оказывался вдруг как раз в тех местах, мимо которых его проводили поспешно, если не сказать нервозно. Скоро он стал вызывать неприязнь — что было в порядке вещей, к чему привыкает всякий журналист. После ужина он прилег, полистал какую-то повесть в журнале, который прихватил в дорогу, и отложил. Было еще довольно жарко, под окнами гостиницы звонко гомонили дети, по соседней улице проносились, громыхая, грузовые машины, в открытых настежь окнах дома напротив слышался женский смех. Потом детские го-

лоса стали отдаляться, и скоро их не стало слышно вовсе: дети ушли с летним теплым воздухом, ушли куда-то с июльским светлым небом — тихий захолустный вечер они оставляли людям старым, скучным. Женский смех смолк тоже. Крашенинников задремал, ему приснился друг его молодости, друг самый близкий. Глупо как-то, не по любви, Андрей женился на неприятной, невзрачной девушке намного его старше — может быть, из жалости? Она не умела и не любила одеваться. По дому она всегда ходила закутанная в какие-то тряпки, всегда пахло лекарствами в старой московской квартире на Сретенке-развалюхе, окна не открывались, боялись сквозняков, боялись сырого воздуха: и весной, и осенью, и слякотной зимой. Говорили, что у нее куча скрытых болезней, на фоне этих разговоров женитьба Андрея выглядела и вовсе зловещей. Никто этого брака не понимал. Постепенно Андрей замкнулся в себе, а она последовательно отталкивала от дома друзей, скоро вся дальнейшая жизнь Андрея покрылась какой-то нехорошей, щемящей тайной. Никто не мог нарушить запрета: никто не лез в личную жизнь Андрея, предполагая, как может быть это ему больно, никто не задавал вопросов. Все внезапно стало выглядеть мерзко на облупленной Сретенке, в этих старых домах, в этих тесных кривых улочках; и только весенние вечера были свежи, были свежи первые листья, теплые — розовые и голубые — дожди; и были обжигающими скудные слезы Крашенинникова, когда он — или случайно, или разбуженный какой-то непонятной надеждой — оказывался на Колхозной, спешил в Давев переулок и останавливался у знакомых окон, и даже различал в них порой какое-то движение: это, наверно, жена Андрея, закутавшись в старые тряпки, ходила по квартире. Ничего, с другой стороны, не было в этом обстоятельстве запредельного, но всякий раз именно запредельный ужас сжимал его сердце и гнал прочь с Колхозной.

Сон Крашенинникову был такой. Будто тряслись они с Андреем в пустом обшарпанном вагоне, сидели на потертых дощатых сиденьях напротив и поглядывали друг на друга; они были молоды, они пили пиво, — у каждого по бутылке в озябших руках, — в разбитые окна электрички дул апрельский ветер. И Андрей, как бы между прочим, произнес:

— Ты знаешь, а я скоро, наверно, умру... Ничего как-то не случилось у меня в жизни...

Потом он чему-то смеялся, Крашенинников смеялся тоже, им было как будто бесшабашно и весело, и Крашенинников приближал свое лицо к его лицу, но с ужасом отшатывался, потому что из глаз Андрея катились слезы, и это был не смех вовсе, а какой-то лающий плач, похожий на смех. Потом Андрей уснул на дощатом сыром сиденье, ежился во сне, пряча худые, красные руки между ног, Крашенинников бродил по вагону в поисках чем бы укрыть его, но укрыть было нечем, и Крашенинников смотрел на замерзающего Андрея и думал: прошло столько лет, все уже свершилось — нелепо и бесповоротно, и уже ничего не поправить...

Андрей действительно через год умер. Кровоизлияние в мозг, было ему двадцать шесть.

Приехала мать, про которую давно говорили, что она алкоголичка. Полубеззубая старуха, образец женского алкоголизма: нелепые, с чьих-то ног, разваливающиеся туфли; крепдешинная юбка ядовито-зеленого цвета; синтетическая оранжевая кофта, брошь под дряблым подбородком — крупный лжебриллиант. Старуха быстро напилась, ходила по комнатам пошатываясь, потом застряла на балконе всеми забытая, курила там, тупо тыкая папиросой в воздух, вскидывала рыжекрашеной головой, пришептывая: «Все! Все, умер!» И тут же голова ее падала, и она еще чего-то хотела сказать, чего-то вскрикнуть, — и поднимала голову, и была уже как бы сама перед смертью. Что-то в ней — и оглохшее уже от гула жизни, и уже ослепшее, уже немеющее — уже не могло вскрикнуть перед открывающимся ужасом смерти, не могло ответить даже крохотным звуком остающемуся миру, не могло вывернуться из-под подступающей толщи забвения, чтобы хоть половинкой глаза прощально скользнуть по небу, по крышам домов, по случайно застрявшим в этот миг лицам в них, по рукам, открывающим или закрывающим форточки; не могло, ничего оно этого не могло для того, чтобы зачем-то унести с собой в черную толщину забвения и случайный этот квадратик городского неба, и ключья случайных крыш, и случайные окна, и случайно застрявшие в них руки и лица сонных и несон-

ных людей: без имен, без фамилий, без возрастов, в никаком году, однажды, некогда, когда-то, в некоторый день между жизнью и смертью, в то самое мгновение, когда безвестный ее — старухин — бессмысленный глаз мог бы стрельнуть сверху вниз по этой секунде.

Утром привезли из морга гроб, поставили в большой комнате, открыли балкон. Крашенинников случайно забрел в заднюю комнату. На него не обратили внимания: невестка пыталась вырвать из рук старухи — жилистых, худых — сберкнижку. Старуха яростно отталкивала невестку от себя свободной рукой, в перерывах между тычками поправляя покосившийся лжебриллиант.

— Это на шубку мне положили! — шипела невестка. — Ты чего в личных вещах роешься, дрянь!

— Не трожь его деньги! — бубнила старуха. — Он сын мне, а ты кто такая?

— Какой он тебе сын! Отдай книжку, это мои деньги!

Невестка с размаху стукнула старуху по тощей спине, но та вцепилась ей в волосы, стала пригибать к полу костлявой рукой. Невестка взвизгнула, мелькнуло ее обезображенное болью лицо, — извернулась, выхватила-таки книжку, промчалась мимо Крашенинникова. Старуха зашипела ей вслед:

— Ублюдочная! Тварь ты ублюдочная — вот ты кто!

Крашенинников отшатнулся. Старуха, заметив его, поманила пальцем.

— Иди-ка, красавчик, чего скажу... Садись. — Она села, кивнула на место рядом. Вытащила из-под ножки дивана недопитый стакан, опустошила мелкими глотками, переломилась пополам, словно бы желудок ее обдало резкой болью — сидела так не шелохнувшись с минуту. Потом лихо вскинула лицо, поехала и тихонько запела:

А я девчонка ничего...  
Скажи ты, милый, отчего...

Смокла и спросила:

— Что, красавчик, не ндравлюсь я тебе?

Крашенинников отвернулся.

— Скучно без девки-то?

Она доверительно положила ему руку на колено. Он поднял глаза. Словно бы в доказательство того, что жизнь есть жестокий, не ведающий привычной морали, беспрестанный карнавал, его взору чуждо открылось напояженное малиновым, веселое и дешевое лицо старой потаскушки, полное соответствующего лукавства.

Он торопливо вышел вон.

Давно когда-то, на призывной комиссии в военкомате, сердобольная врачиха вписала в его карточку: «переохлаждение не рекомендуется». На другом конце длинного стола майор, наткнувшись на этот нонсенс, крепко и сурово взглянул на призывника, и Крашенинников понял в эту минуту, что вся его армейская жизнь — а может быть, и вообще вся его жизнь — должны быть и будут именно чередой сменяющих друг друга переохлаждений. Иначе в чем бы заключался смысл жизни по отношению к таким слабакам, как он? Ангинам своим поэтому он не удивлялся никогда. Со смирением Крашенинников встал наутро разбитый, с ломотой в костях, — решил, что с нефтебазой закончит сегодня пораньше и обязательно зайдет за анальгином-аспирином. У аптеки он столкнулся с вокзальным подростком. Тот тоже, видимо, покупал таблетки, но теперь Крашенинников стал догадываться об их предназначении.

— Ты в будку придешь? — спросил мальчишка.

— В какую будку? — не понял Крашенинников.

— У реки, на бережку, есть будка. Мы часто с Лидой там сидим...

Переулочек вон тот видишь?

Он указал на улочку, что была через дорогу.

— По ней вниз, выйдешь прямо к реке...

«Значит, ее зовут Лидой. — Крашенинников раздумывал, идти или нет. — Лидия...»

— Речка ваша хоть как называется?

— Речка наша Говнотечка называется. Дай лучше сигаретку... Олешкой меня зовут. — Мальчишка закурил. — В общем, если хочешь, приходи...

Он быстро пересек дорогу, скрылся в зелени.

«Лида, значит, она», — снова подумал Крашенинников.

Улочка действительно скоро пошла вниз, здесь обнаружилась даже деревянная лестница с неверными перильцами. Открылся долгий, отлогий берег реки. До будки было с полкилометра по белесой песчаной тропинке. Никто бы теперь не мог сказать, для чего предназначалась эта будка когда-то. Она крепилась на полозьях, была без дверей, с единственным оконцем, криво выпиленным в дощатой стене. Крашенинников вошел, чуть пригнувшись. Внутри царил полумрак. На земляном полу лежал неширокий деревянный мостик, плотно и глубоко вросший поперечинами в землю — прохладную, неровную, покрытую округлыми лунками. В углу оказался стол на крестообразных опорах, глаза Крашенинникова скоро различили на нем консервную банку, забитую доверху окурками. Рядом была другая банка, стеклянная, с водой. Из оконца и дверей были видны долгие уклоны — и здешнего, и противоположного берега, — сходящие к зеленой, заболоченной реке, лишь местами блестящей серебристо, весело. Был также виден старый мост, соединявший разноречные части городка между собой. В перспективе — наверно, это была самая окраинка — виднелась блеклая, пятнистая труба. Желтый дым наискось тянулся из нее к горизонту.

Лида сидела у кривого окна неестественно прямая, узкая, как мумия. Она была к Крашенинникову в профиль, но ему показалось, что она настоженно ловит каждый шорох его, непонятно для чего фиксирует каждый его жест. Рядом копошился маленький нищий старикашка, лицо которого скрывал не только полумрак этого странного пристанища. Они были изрядно потерты бродячей жизнью. Морщинистыми руками, похожими на куриные лапки, он обтирал грязные бутылки и складывал в мешок.

— Попить можно? — потянулся Крашенинников к банке, нерешительно глянув на старичка.

— Пей, — отвечала Лида. — Вода хорошая, Никитушка приносит по утрам из кафетерия...

Олег зажевал горсть таблеток, тоже потянулся к банке. Потом вытянул ноги и тихо замер, прикрыв глаза.

— Снова был на вокзале? — спросила сестра.

Вялая улыбка блуждала на губах подростка — это были уже нездешние ощущения. Не открывая глаз, он протянул горсть таблеток и Крашенинникову:

— Зажуй, станет хорошо. Будто полетишь, понимаешь?

Старик тем временем достал из тряпичной сумки хлеб, плавленный сыр, стал есть. Остатки он завернул в газету, сунул в сумку. «Скромная же трапеза, — усмехнулся Крашенинников. — Старому, немощному телу не все ли равно как проводить остаток дней? Старческое величие, в сущности, смешно; оно, пожалуй, противоречит природе вещей...»

— Хорошо тебе здесь? — спросила Лида.

— Меня привели сюда... Позвали то есть... — Крашенинников пожал плечами.

В нем шевельнулось холодное подозрение, что она не полоумная вовсе, а притворяется зачем-то. У нее были нормальные, вполне нормальные глаза — с выражением какого-то высокомерия они посмотрели на Крашенинникова.

— Понимаешь, есть такое слово «клетка»... — Крашенинников нерешительно улыбнулся, не зная зачем он начал об этом. — И есть такая вещь, душой называется...

Теперь и губы ее выражали презрение, это стало его злить, и он заппнулся, потом довольно грубо проговорил:

— Понимаешь, ты такая... У тебя нет клетки... Ты не знаешь ничего такого...

Старик замычал из своего угла, недружелюбно посмотрел на Крашенинникова.

— Никитка у нас глухонемой... — Олег лениво открыл глаза. — А может, просто так ничего не говорит... Может, просто надоело...

Старик снова бросил недружелюбный взгляд на гостя.

— Я его нервирую, — заметил Крашенинников, криво улыбнувшись, и повысил голос, словно хотел, чтобы старик обязательно его услышал. — Нервирую я тебя, Никитка! Чего поделаешь — нервирую и все! Пойду я...

— Пока, — ответил Олег сухо и с готовностью, как показалось Крашенинникову.

Старик снова закопошился с пустыми бутылками. Потом уткнул голову в свои куриные лапки, которые, казалось, не разжимались никогда, и стал медленно раскачиваться вправо-влево.

— Чего ты, Никитка? — спросила Лида, отвернулась к окну, прямая, узкая, все такая же напряженная.

Прежде чем Крашенинников поднялся, чтобы покинуть будку, Олег незряче, словно лунатик, опустился перед ним на корточки, положил руки на его колени. Немигающие глаза подростка были устремлены в лицо Крашенинникова, и в них была та степень, тот невысказанный предел откровения, что Крашенинников испугался, инстинктивно подался назад, спиной и затылком упершись в доски.

— Олег, не надо! — резко проговорила сестра, не поворачивая головы. — Отойди.

— Олешка... — Крашенинников был в растерянности. — Ты чего, дружок?

— Чувак, возьми меня с собой, а? — тихо произнес подросток.

— Куда? — не понял Крашенинников.

— Куда-нибудь... куда хочешь... возьми, а ...

Сестра резко и сухо рассмеялась, не поворачивая головы. Старик продолжал механически раскачиваться, но замер, словно бы услышал смех.

— Я уеду скоро. Оставляю тебе свой адрес. А ты вот что — напиши мне письмо.

— Зачем? — бесцветно спросил Олег.

— Ну, бывает так, что хочется написать...

Мальчишка лишь вяло улыбнулся, сел на место, прикрыл глаза, снова тихо за замер. Старик стал раскачиваться. Крашенинников шагнул за порожек. Лишь у самой гостиницы он вспомнил, что в аптеку так и не попал. Конечно, на самом деле он еще надеялся, что пронесет — бывало и такое. На этот раз, однако, его непредусмотрительность оказалась непростительной. Уже с утра он чувствовал слабость, а после обеда его бросило в сильный жар, который вскоре сменился ознобом. Он пожалел, что отказался отобедать с директором нефтебазы в местном ресторане — наверняка ресторан был где-нибудь в центре. Теперь пришлось тащиться вверх по главной улице пешком. К черту! Привести в порядок записки, черновики — и в Москву! Мысль чего доброго угодить в провинциальную больницу Крашенинникова пугала...

Его нагоняет милицейский коричневый «москвичок», он отмечает это краешком глаза, в сущности, автоматически — он весь сейчас был сосредоточен на своих ощущениях. Снова жар повернул на озноб, гулко отражается в потяжелевших висках работа сердца: птк-птк-птк...

«Дмитрий Николаевич!»

Кажется, окликают. Женский голос, это начальница следственного отдела местного ОБХСС, куда он наведывался сегодня утром. Это некая Екатерина Ивановна Барсукова.

«Дмитрий Николаевич, садитесь... Вам в гостиницу?»

«Может, сесть, в самом деле?»

«Спасибо, Екатерина Ивановна, я пешочком...»

«Москвичок» назойливо пилит рядом. Некая Екатерина Ивановна Барсукова, высунувшись из окошка, смотрит дружелюбно: довольно еще молодая женщина с серыми внимательными глазами; впрочем, склонная к полноте.

«Душно-то как...»

«Городок у вас замечательный... жалею, что до сих пор не успел обратиться в ваш знаменитый музей...»

«В нашем музее кто только не бывал...»

«Даже Лев Толстой, насколько я знаю, видел ваш знаменитый хрусталь...»

«Наверно, у него было больше свободного времени, чем у вас, Дмитрий Николаевич...»

Он деланно улыбается. Она — кошмар! — понимает это как новое приглашение к разговору.

«Вы часто смотрите таким сердитым... каким-то непонятным. Года

два назад приезжал к нам областной корреспондент — простой симпатичный парень...»

Он шагает молча, потом торопливо толкает дверь подвернувшегося хлебного магазинчика, успев вежливо пробормотать: «Извините, пожалуйста, мне надо сюда...» Он ждет. Из окна он видит: «москвичок» нехотя отчаливает от тротуара. А он снова тащится вверх по улице. Ему чудится запах гари, запах дыма. Смешиваясь с жарой, с духотой, этот навязчивый запах тяжело ворочается в сознании... Ах, вот оно что! Здесь с утра катали свежий асфальт. Воздух над ним зыбко дрожал. Крашенинников нерешительно остановился, прежде чем ступить на знакомую широкую площадь, за которой начинался парк, а дальше была гостиница. Далекое здание исполкома вместе с памятником Ленину перед ним в горячем мареве струилось, словно мираж, под белым раскаленным диском солнца. В небе пусто, ни облачка, только летит какая-то птица: высоко, медленно — кажется, что она остановилась во времени. Она летит под бессмысленно ярким диском солнца уже тысячу лет, эта серая, древняя, спокойная птица. Она никак не называется. В каждом столетии ей давали название, но языки и люди умирали, города разрушались, библиотеки сгорали, руины засыпало песком, и никакое название не пристало к ней. Безразлично пролетая, видит она далеко внизу маленький этот городок, черную площадь, человека, который тащится по ней. И не знает она ни имени его, ни жизни его, ни сердца его, ни его чувств, ни даже того, что называется он человеком. Человек, в самом деле, никак не называется. Однажды небрежная вечность холодной рукой вправляет в каждый человеческий череп ослепительный драгоценный кристаллик. С ними люди выходят на дорогу жизни: там истлевают их тела, остаются лишь эти кристаллики. Ими усыпан весь путь истории человечества — нет на том пути ни запахов, ни звуков, лишь звездный блеск. И путь этот по-другому называется Млечным...

Озноб усилился. Озноб теперь весь был сосредоточен в спине. Одно резкое движение — и он мгновенно разлетелся по телу, бил в зубы, в лихорадочную их пляску скоро попал неуклюжий его язык — во рту была кровь... Нет, в аптеку, обязательно в аптеку. Крашенинников повернул обратно. «Санитарный день» — листок из школьной тетради, торопливый почерк. Он чертыхнулся, потерянно озираясь вокруг. Удастся ли ему сегодня добрести до гостиницы? Ноги сами потащили в знакомый проулок — у него было одно желание: лечь. Он притащился в будку, — свернувшись калачиком, глубоко засунув руки между колен, лег. Лавка оказалась примяченной каким-то тряпьем. Детская экономная привычка: то тепло, в котором очень сейчас нуждалось его тело, было как бы закольцовано — тепло циркулировало по кругу: спина, колени, живот, руки. Он забывался — засыпал, просыпался, снова засыпал. Непонятно, сколько длилось это забытьё: час? два? Потом он услышал шорох. Это пришла Лида, села рядом, что его не удивило. Долго молчала, а потом произнесла:

— Больно?

Себя не понимая, он уткнул лицо в ее колени:

— Может быть...

— Может быть... — повторила она, погладив его по волосам; он сообразил, что полоумная улыбается: тихонько, наверно, самой себе, прозрачно глядя сквозь дощатые стены будки далеко-далеко. — Может быть...

С трудом Крашенинников поднял руку, чтобы сделать наверно то же самое и с ее распущенными простыми волосами, но не смог — рука его упала ей на грудь: упругую, аккуратно-округлую. В следующее мгновение он отдернул пышащие жаром пальцы, словно обжегшись — ее платье показалось ему холоднее льда. «У нее никогда не будет детей», — внезапно совершенно отчетливо, словно произнося вслух по отдельности каждое слово, подумал он. Убрал голову с ее колен, отвернулся к стенке и снова свернулся калачиком. Стало наконец совсем тепло, приятно, сонливо. Ему хотелось, чтобы кто-то — может быть, Лида — мерно, негромко о чем-нибудь говорил над ухом, о какой-нибудь житейской чепухе, а он бы смиренно вслушивался в незатейливую цепочку слов, в последовательное течение сюжета, в череду простых событий, и удивленно, кротко, с почтением бы размышлял: вот ведь что, оказывается, бывает на свете...

— Расскажи, — попросил Крашенинников, разлипая веки, — Расскажи чего-нибудь... Расскажи про Олежку... Где он?

— На вокзале... — Голос полоумной был далеко, за толщей дремы; может, поэтому он прозвучал печально и чисто. «На вокзале... на вокзале...» — мерно повторял про себя Крашенинников, слушая печаль и чистоту ее голоса, который все витал и витал над его беспокойной душой. «На вокзале», — внезапно подумал он холодно и ясно, вздрогнул и порывисто поднялся.

— Я пойду... Мне надо поспать, понимаешь... Обязательно поспать...

— Иди, — просто ответила полоумная.

— Ты хорошая... — Крашенинников благодарно погладил девушку по щеке. — Я знаю, ты хорошая...

И опять он отдернул пальцы, их снова обожгло ледяным холодом ее кожи. Озноб мгновенно обежал тело, ударил в зубы, прихватив его замешкавшуюся улыбку на губах и скривив ее до какой-то нелепой устрашающей гримасы.

— Хорошая... — повторила девушка.

Не оглядываясь, Крашенинников вышел из будки, свернул с тропинки, чтобы укоротить путь. Он скоро согрелся под солнцем, не замечая, однако, того, что бредет также медленно, как и раньше, не замечая; что туфли его полны обжигающего белого песка, не предполагая, что жара на самом деле, словно бы измотав саму себя, лежала сейчас в беспамятстве, опрокинувшись лицом вверх, высоко устремив в белое небо истощенный подбородок, раскинув обезвоженные руки, опустив безвольные веки. Спекшиеся губы ее молили раскаленное небо о пощаде — и оно вливало в них прозрачный кипяток вместо холодной исцеляющей влаги...

Он уснул не раздеваясь, едва коснувшись подушки, а проснулся за полночь. «Дежурная кнопка! — осенило его. — Дежурная кнопка должна там быть...» В самом деле, как он не догадался сразу? Он умылся, почистил зубы. Сухость и горечь во рту исчезли. Есть не хотелось. Маленьким кипятивничком он согрел воду, заварил кофе из аэрофлотовского пакетика, десятка два которых всегда брал в дорогу. Девушка спала под клетчатым пледом на диване, он тронул ее за плечо, попросив открыть дверь: «Я в аптеку, прошу прощения за беспокойство...»

Дверь освещалась тусклой покосившейся лампочкой. Подросток перед ней, опустившись на одно колено, всем корпусом прижимался к другому. Это выглядело со стороны устрашающе неестественно: словно бы мальчишка хотел, как змея, всем телом обернуться вокруг него. Худые лопатки остро выпирали из-под пиджачка, дышал он тяжело, с одышкой, заметив Крашенинникова, заговорил, не меняя позы:

— Знаешь, какое ощущение... обезболиться надо мне... кости тянет жутко... невозможно не рассчитать, что отходняк такой будет... никогда так не было. — Он протянул Крашенинникову деньги, разжав кулачок. — Теофедрина возьмишь три пачки? Она меня знает, сволота эта старая, орет: в тюрьме за тебя не хочу сидеть... да кому она нужна, глупость ходячая...

Крашенинников колебался, неуверенно занес руку над кнопкой.

— Купил бы, а? — без какого-либо выражения снова попросил Олег и, видя, что Крашенинников молчит, дотянулся до обломка кирпича, почти ползком. — Возьми, пока я тебе чердак не расколотил... Слышь, ублюдок?

Крашенинников оцепенел. Олег отбросил кирпич, заплакал:

— Ну, возьми... будь человеком... дело на копейку...

На звонок вышла старушка.

— А теофедрин не дам, — строго отказала она, протягивая Крашенинникову таблетки. — Знаю кому берете...

— Дайте. — настойчивее попросил Крашенинников. — Не может он без этого...

— Теперь уж, конечно, не может, — пробурчала дежурная, но сжалась, принесла. — Сами же его портите, покупаете... солидные вроде люди, а чем занимаетесь. Круглые дни он здесь вертится...

Олег быстро разодрал целлофан, запить было нечем, он едко поморщился, разжевывая. Крашенинников с похжей поспешностью, в свою очередь, тоже стал жевать, тоже морщась. Мальчишка процедил:

— Иди, не виси над душой. Тебе что, заняться нечем?

— Я не тороплюсь...

— Дай тогда сигаретку. Ты из Москвы что ли?

Крашенинников кивнул.

— Когда обратно?

— Тебе есть где ночевать? — поинтересовался Крашенинников. — Чего ты домой не идешь?

— Дома я редко ночую...

— А где же?

— На вокзале обычно. Мне все равно.

— А милиция?

— Они меня знают.

— Знают, что ты... — Крашенинников запнулся, соображая, как в деликатной форме изложить вопрос.

— И про «колеса» знают, — помог Олег. — Хочешь, чтоб я тебе компашку составил?

— Наверно, — ответил Крашенинников не совсем, впрочем, уверенно.

Когда пришли, он указал Олегу на свободную кровать у противоположной стены под бездарным натюрмортом, раздражавшим Крашенинникова с первого дня, ибо явно эта подделка принадлежала кисти местного халтурщика. Олег нехотя разделся, спросил, накрываясь простыней:

— А тебе чего не спится?

— Приболел я... — Крашенинников выключил свет, прислонился горячим лбом к косяку окна. — А ты давай, отдыхай...

— Мерси, — усмехнулся Олег.

Оставшись в Пицунде один, Крашенинников начал испытывать беспокойство, какого не испытывал никогда — причина этого беспокойства была в чем-то даже и мистическая. Ему стало казаться, что он догадывается. Догадывается — что случилось с ней, когда она вернулась домой (ни в какой Подольск она не поехала, теперь он это знал совершенно точно), когда вошла в квартиру, прошла по комнатам: рассеянная, но вся сосредоточенная на своем темном влекущем замысле — или, возможно, уже вся отдаваясь ослепительному свету счастья и холода, который был уже в ее груди, который уже поднимался к глазам, и потому она была уже полуслепая, и волосы ее были уже сожжены, и мозг ее был уже полурасплавлен, и маленький кристаллик уже обозначился четко, когда она устало села перед зеркалом и, долго глядя на себя, подумала... Так или иначе, не прошло и трех дней после ее отъезда, а он, весь сосредоточенный на своей догадке, был на пути к Москве. На пороге квартиры — лихорадочно доставал ключи, неверно совал в скважину, мимо, мимо, замок внезапно клацкнул с оглушительной силой — он замер, пораженный. Да, теперь он совершенно точно знал, что могло произойти в эти несколько дней в типовой двухкомнатной квартире, в типичном доме, на типичной улице столичной окраинки. Он замер, пораженный. За спиной прошуршала дверь закрывающегося лифта — он дико, шизофренически оглянулся. Потом отвалился к стене — лицо его было белым, глаза широко открыты, словно бы он видел сейчас перед собой бриллиантовый свет Млечного Пути. Тем не менее он вошел, снял в прихожей пиджак, зная: вчера-позавчера она села у зеркала при полном параде своих драгоценных пут — серебряных широких браслетов, похожих на кандалы, золотых колец, которыми были неизменно унизаны ее пальцы, крупного ожерелья и цепочек на шее, которых водилось у нее много и которые она часто меняла, села у зеркала перед царством флакончиков, источавших сложный тяжелый аромат цветов, которые никогда так не пахли в настоящей жизни, и подумала о себе так, как думал в последнее время о ней Крашенинников: у нее никогда не может быть детей. Крашенинников постоял перед дверью ее комнаты, потом с силой толкнул ее от себя — та с треском врезалась в стену. Жена без движения лежала лицом вверх на постели. Она была мертва.

— Болеешь? — долетел до Крашенинникова вопрос Олега. — А я думаю, чего ты такой странный какой-то... непонятный...

Их глаза постепенно привыкали к темноте. Крашенинников опустился в низкое расхлябанное кресло с расщепленным подлокотником.

— Сказку хочешь расскажу? — предложил он.

— Сказку? Как дед насрал в коляску? — удивился мальчишка.

— Нет, красивую.

— Сентиментальный ты...



— Представь себе, жила звездочка над крышей. Каждый вечер она исправно вспыхивала, все были уверены, что она охраняет людей от всякой бляки: от несчастий, от одиночества...

Крашенинников смолк, вдруг увлекаемый волной чистой нежности к подростку. Слушая, мальчишка подался вперед, просунувшись в поток лунного света: коротко стриженная голова; ее несла трогательная, беззащитная шея, длинно выраставшая из неверных линий плеч.

— Грустный ты чувачок, — вздохнул Олег.

— Ерунда, — согласился Крашенинников. — Ерунда полнейшая... Олег лег, притих. Скоро задремал и он — это брал свое успокаивающий анальгин.

Она была мертва. Конечно, в следующую секунду он рассмеялся — никогда он не считал себя неврастеником до такой степени, чтобы с ним могло случиться такое. Крашенинников поправил трубку, которая лежала криво и, наверно, давала «занято», сгреб валявшиеся на полу деньги, сунул их в сумочку, налил полный стакан из початой бутылки дорогого французского коньяка, который был на журнальном столике, выпил, съел пару шоколадных конфет. Потом налил вторично, закурил длинную сигарету на кухне из ее пачки, поглядывая на голубя, который ходил по подоконнику, ловко огибая всякий раз высокую вазу с подвявшими розами. Его развезло даже быстрее, чем он предполагал. Покачиваясь, он вернулся, низко склонившись, посмотрел в ее лицо, потормошил. Она открыла мертвецки пьяные глаза, села — в стареньком каком-то разодранном халатике, которого он никогда не видел на ней прежде, непричесанная, без единого следа косметики, совсем не ослепительная, чтобы будить в нем привычную неприязнь. Он смотрел на нее и думал, что она сейчас совершенно пьяна и ничего не понимает, но и самого его поволокло теплой волной, и он улыбнулся ей, и она в ответ улыбнулась ему, и, кажется, стала ему что-то говорить, а он слушал ее жалкий голос — не слыша слов, — и по голосу выходило, что она такая, какой он ее хотел знать, что она и есть та маленькая, кроткая женщина, которую он искал в жизни, что она всю жизнь шла и шла к нему, что и птица древняя летела над ней, и шуршал дождь, и потом он сменился снегом, и потом снова блеснуло над ней июльское солнце, и снова падал на волосы дождь, — и платье ее однажды стало трухой, стало ее платье совсем стареньким, как этот халат, но не зябкое вовсе. И хорошо ей было идти, переходя из ночи в день, из лета в осень — босой, простоволосой, без имени и занятия, словно была она сама душа, явившаяся в мир зримо. И мороз подкрашивал ей лицо, и весенний ветер поднимал длинные волосы, и в августовской ночной листве сверкали ее глаза, и в осенних прозрачных деревьях проходила она — заполоченная чистотой, мимолетная, взмахнувшая рукой, прощуршавшая ступней...

— Значит, это ты? — удивился Крашенинников, силясь вскинуть совершенно безвольную голову. — И ты несла подвявшие розы, и на плече у тебя сидел голубь? Это была ты?

— Это была я. — Улыбалась она и кивала. — И голубь был, и сухие розы тоже...

— Ты... — бормотал он. — Неужели ты? — И никак не мог поднять голову, и руками он шарил по ее босым ногам, и искал на них, наверно, и грубые, и нежные рубцы ее дальних странствий, и не находил.

— Я... конечно, я... Иди ко мне, иди...

— Ты? — И верил и не верил он, и, замешкавшись, упал на колени, и заплакал навзрыд, уже совершенно пьяный. — Я... не догадывался...

Он еще чего-то бормотал, все тычась в ее ладони, которые она держала перед его лицом ковшичком, а она все улыбалась над ним также пьяно и счастливо, и говорила, и тоже заплакала, и в кухне по широкому подоконнику открытого окна ходил голубь, и он стал затахать, он перестал всхлипывать, а голубь все ходил и ходил по подоконнику, довольно ловко огибая сухие розы...

— Ерунда это: звездочки, лампочки... — снова вздохнул Олег.

По шороху Крашенинников понял — ищет таблетки. Упала в стакан струйка воды из графина.

— Брось, не надо... — Язык Крашенинникова заплетался, тяжелые веки не поднимались.

— Все равно...

«Все равно... все равно...» — повторял про себя Крашенинников, снова безвольно произнес:

— Не надо бы...

Больше он ничего не сказал, окончательно проваливаясь в сон. Утром в окно светило усталое, нежаркое, скудное солнце. Иногда солнечный свет пропадал вовсе, в номере становилось темнее, как перед дождем. Он прислушался. До слуха его дошел еще не сильный, но уверенный шум листвы — значит, дул ветер. В погоде наступали перемены: долгая, изнуряющая жара, похоже, отступала. Действительно, он обнаружил, что в небе плывут быстрые длинные облака — к дождю. Мальчика не было. Крашенинников скользнул глазами по неубранной постели — из нее уже ускользнуло чужое разбитое детство, ушла горячая нежность щеки, которой оно доверчиво прижималось к казенной подушке... На столе, заваленном его черновиками, он обнаружил и смятую пачку из-под теофедрина. Все, на нефтебазу он больше не пойдет. Сгрел бумаги со стола, сунул в сумку: если очерка не получится, отпишется какой-нибудь дежурной заметкой — и дело с концом. Чувствовалась слабость, но температуры и тяжести в голове уже не было, на всякий случай он проглотил еще пару таблеток. Робкие признаки улучшения были налицо, отдаленно хотелось есть, он отправился в кафе — если не пообедать, то выпить какого-нибудь сока...

Часам к пяти жары как не бывало, а небо вконец заволокло тучами, ощутимо дохнуло с него влагой. На вокзале у той же колонки, у того же газетного киоска он увидел полоумную. Она была одна. Она посмотрела на знакомого мужчину в костюме цвета крем-брюле и пошла за ним. Он помахал ей рукой, но видя, что она стоит и не уходит, остался в тамбуре, снял с плеча сумку и закурил. Он курил и смотрел на нее — спокойно, сосредоточенно, долго. Так долго, что ей, наверно, стало казаться, что он никуда не уезжает, никуда не торопится, потому что ему, в сущности, некуда ехать, как и ей, потому что впереди у него, оказывается, ничего нет и ничего не было: даже смерти, а была только вечность. Да-да, именно так ей показалось, и тогда она зашевелила губами, глядя на знакомого мужчину в костюме цвета крем-брюле — ей показалось, что она спросила:

— Даже смерти нет? А только вечность?

И он, конечно же, ей ответил: «Даже смерти нет. Только вечность». Он ответил ей именно так, потом он, ежась под каплями, подошел к ней и погладил. Он погладил ее по голове — ото лба, через темя и вниз по волосам; и снова точно так же: от лба, через темя и вниз, даже по спине, до самого почти что пояса. Он гладил и говорил:

— Ты хорошая... Я знаю... Ты хорошая... Иди домой... Не мокни...

Но она не уходила и, совершенно точно, наверно, думала и говорила, шевеля губами: если я хорошая, зачем мне идти домой? Но не было ей от него ответа. Он на ходу вскочил в вагон и стал махать ей рукой и отдаляться, сначала медленно, а потом все быстрее, а она стояла и стояла на летнем перроне, уже вся промокшая.

И кто знает, может, в самом деле она махнула Крашенинникову в ответ из пелены вдруг обрушившегося на землю дождя, или же это ему только пригрезилось, когда в незакрытые еще двери грязного тамбура ударило свежестью и влагой, ударило ошеломляющим летом по его лицу от пролетающей мимо сплошной листвы — но ему показалось, что это махнули точно ему, что его позвали в бесконечный сад, называемый летом...

Он медлил. Он медлил, раздумывая, может ли такое быть, а кто-то молодой и беспечный уже входил в мокрые и шумные ворота, и уходил все дальше и дальше, и время от времени издали оборачивался, улыбался ему — и улыбка была обольстительной. И лицо это как будто было знакомо Крашенинникову, и он силился, но не мог припомнить, кто же это уходит от него. И потому он не мог вскрикнуть, не мог окликнуть его по имени. Наконец он понял, почему он не знает ни лица его, ни имени. Потому что это был сам сад, это он уходил от него. Он — шумный, ликующий, кипящий сегодня — готовился благоухать и сверкать завтра, расплесканный под солнцем, в сущности, безразличный к тому, чьи усталые, пожившие глаза всегда смотрели на его легкую, быструю игру с ужасом и восторгом, словно видели Бога...

Виктор Санчук

## ВОСПОМИНАНИЕ О СЕВЕРО-ВОСТОКЕ

### Стихотворение

*Анатолию Найману*

Эту вещую память, эту птицу живую —  
с нервным клеточком в клюве, с нежной корпией  
пуха —  
я беру осторожно — рукою под брюхо  
приласкать, как — с опаской — собаку чужую.

Так пугающе тихо работают стрелки,  
и в согласьи их поскрип с пейзажником зимним, —  
эта жадность: раздвоенным жалом змеиным  
гладко вылизать всех циферблатов тарелки.

Запрокинутой кружкой стеклянно жжется  
кромка полдня, и вывернут шар златопузый.  
Бытие, как автобус, попятится юзом,  
так, что кажется, будто вот-вот и сорвется.

Но, как в зеркале, вижу смещение любое,  
где за зеркалом льда вьется в темном затворе,  
тянет руку река к беспредельному морю —  
где-то тронуть отлив пятерней голубою.

Желторотый птенец, тот, который уронен —  
в край Кайны, — вовнутрь круга зимнестоянья,  
по-наивному мнит, что игрой воркованья  
он каминный трещот заменяет ладоням.

1983

\* \* \*

*Аркадию Пахову*

Если складывать вместе — все медные солнца —  
эти полдни капельного звона капризней,  
то, наверное, можно скопить до червонца  
натурального блеска в копеечной жизни.

---

Виктор Генрихович Санчук родился в 1959 году в Москве. Учился на истфаке и филфаке МГУ, работал геофизиком («Аэрология», «Гидропроект»); сторожем, лифтером, столяром-краснодеревщиком. С 1988 года — журналист («Бюллетень Христианской Общественности», «Экспресс-Хроника»), корреспондент в Ленинкане, Степанакерте, Вильнюсе, Риге (1988—1992). Переводил немецких, южнославянских, грузинских поэтов. Стихи Виктора Санчука публиковались в «Огоньке» (1992 г.), в «Часе пик» (1991, С.-Петербург), в сборнике «Понедельник. Семь поэтов самиздата» (1990), в эмигрантских «Стрельце» и «Третьей волне». Живет в Москве.

Разбираю былое — с три короба горы:  
не сумел, не успел, не посмел разбросаться!  
Принимайте ж теперь, старики-крохоборы,  
добровольцем в ряды ростовщицкого братства!

Мне ли зла не достало?.. — не стало азарта.  
И безликой эпохе тех месяцев сотни  
не швырнуть, не зажить так, как если бы завтра  
встретить смерть-королевну, а лучше б — сегодня.

Можно выпить, и выйти, и видеть на пару:  
среднерусский разлив: среди холода года  
март подобен заморскому чудо-товару.  
Отплывают к теплу облаков пароходы.

Недалече, знать, лето по этим приметам.  
И бормочешь, запрягшись торговли трудами:  
никогда литератор не будет поэтом,  
все равно, как «британцы не станут рабами!»...

Он пройдет к турникету, монеты разменной  
не найдет...  
И рассердятся очень и даже  
в голубые глубины метрополитена  
не пропустят, как в небо, — республики стражи.

1985

\* \* \*

*Александру Сопровскому*

С другом проехали Волхов в полночь —  
снова ко дням черновым от праздных.  
Где-то гулял здесь Булак-Балахович,  
сволочь, — с ребятами — к белым от красных...  
Он засмеется. И шаткий мост  
рухнет, залившись водою темной, —  
в ватный туман, как последний тост, —  
в вечность прощанья. Притихни, дом мой, —

слышишь, на пальцах ключи бряцают:  
воздух жилья рассекать с отмашкой.  
Так же вот звонко — кто понимает —  
можно работать булатной шашкой.  
Или не знаешь? — за боль любить,  
путники вспять, к золотому плену, —  
мы бы и жизнью могли платить.  
Если б она здесь имела цену.

1985

\* \* \*

Как вечеру впору двух окон оправа, —  
следить, близорукому, тихо за мной.  
А я, постигавший германское право,  
был забран в осаду славянской зимой.

И, пленник, когда неотвязна, как похоть,  
тоска в окруженьи безлюдных лесов,  
я бережно трогал за маленький локоть  
«Дюаль» — повелительницу голосов.

И к помыслам строгие, в правильном строе,  
как черные буквы на чистом листе,  
ожившие звуки нуждались в просторе,  
в сплошной, как январская даль, пустоте.

Чтоб думать: в полночном расслабленном мире  
лишь власти нетленной крупцу найди,  
какую, превыше любви Валькирий,  
смерть ставит над жизнью, как точку над *i*.

Не буковок бусы, но звездная сетка —  
кольчугой планиде. Гремел граммофон,  
где окон оправа, и ветер, и ветка,  
как чья-то рука, прогонявшая сон.

Чтоб я заучил, — как бы климата фактор  
на Север войною собравшийся враг —  
Да здравствует Вагнер.  
Да здравствует Вагнер.  
Да здравствует Вагнер.  
Да здравствует мрак.

1984

\* \* \*

*Мадлене Розенблюм**«Балканы — мягкое подбрюшье Европы».*

У. Черчилль

Не ждут меня вовсе чужие края,  
не снятся далекие страны.  
И жадность прошла, словно юность моя.  
И Бог с ней... Но только Балканы...

Там облачной картой плывет небосклон:  
такие границы, другие...  
И словно бы древки истлевших знамен,  
кольшутся травы тугие.

Там скрытые занавесью трын-травы —  
дунайской столетней осоки,  
седые министры не слишком правы,  
а горы — не очень высоки.

Львы так неохотно сползают на бой  
в геральдике Малой Антанты.  
И длится затишье, как перед стрельбой  
в кого-то... зачем-то...

Ах, там бы

Мне долго на синее море смотреть.  
И душу простором наполнить.  
И женщину тихо любить. И стареть  
И жить. И другого не помнить.

Покамест к востоку — с извечной войной  
германец попрет твердолобый,  
успеть бы заснуть навсегда — головой  
на нежных коленях Европы.

1986

\* \* \*

Дом строил венгр — угрюм и черноус,  
как флагом, укрывавшийся шинелью.  
Его не чтит начальник белорус  
и костерил неведомую шнелью.

Чтоб позже здесь хирел под пылью кант  
materого, как старость, фолианта  
в глухом шкафу, и непрочтенный Кант  
мне даровал свободу дилетанта.

А время шло, — дом обветшал, и сад  
в иной сентябрь подвержен стал одышке.  
Тогда побрел чертополох назад,  
как вспомнив детство, — к деревянной вышке.

А ей, кому, как проволка, колюч —  
в ногах репейник на чужих задворках,  
уже неумогу папахи туч  
таскать, как человечка на закорках.

Там есть сельпо. О, бог мой, как давно  
я знаю в нем всех Дарий и Макаров,  
кто пьет запоем хлебное вино  
и втайне ждет неведомых мадьаров,

и спяну шепчется, мол, близок миг,  
когда точно из домиков у речки —  
опять из скучных философских книг  
посыплются живые человечки.

1984

## ***О генерале Пепеляеве***

Море Охотское, наконец, растаяв,  
из себя являет как бы свинец или сталь.  
Генерал-лейтенант А. Н. Пепеляев  
бинокль наставляет и смотрит вдаль.

И конец зиме, а все одно не видно  
прогала, и снега белей вода.  
Генерал-лейтенанту слегка обидно,  
потому что война проиграна навсегда.

Красноватым — из-за Камчатки солнце —  
выплывает флагом, что рыбий глаз.  
И между пальцев сопок снуют японцы,  
плоскодонный налаживая баркас.

И как братики, сопки русоволосы.  
 Но рассыпался стяг, что из боя — в бой:  
 сзади красные, спереди — море белесое,  
 только синее небо над головой.

Ну и правильно, может. Знать, небу надо.  
 В летний снег канет глупый якутский марш.  
 Лишь взвывается утром штандарт микадо.  
 И ночь будет звездной, как знамя САСШ.

А того, что плескалось среди трезвонов —  
 нет. Тевтон шрапнелями погромсал.  
 То ли сразу, когда погорел Самсонов,  
 то ли, когда Брусилов в прорыв бросал, —

или может, когда оставляли Галич...  
 О былом полагает, припомнить тщась,  
 генерал-лейтенант Анатолий Николаич,  
 за восемь лет прошедший шестую часть.

И теперь на краю, в этот полдень летний,  
 глянув на север ли, на восток ль,  
 генерал Пепеляев — из всех последний  
 видит белое, серое и опускает бинокль.

Но постойте, оставьте! На дно каньона  
 вас не брошу, — вернусь к вам — и сам покаян.  
 Да и что мне, с матерью их японы,  
 или янки — простые будто Аян.

И когда здесь ринется лето — выжечь  
 жаром севера тело коротких трав,  
 и когда в сердце речек рванется кижуч,  
 весь подобием сплавленных бревен став,

и из года в год — положите благом  
 видеть тридцать дурацкий девятый год  
 и еще пятьдесят, чтоб под белым флагом  
 на Москву пройти в победный поход.

Это я вас зову к золотой победе.  
 Я лелеял вас, словно цветка проток,  
 разгребал в могилах энциклопедий,  
 вспоминал сквозь давний Дальний Восток.

Нынче властью мне данной — чутьем поэта,  
 вас, кто в жизни не выжил, кто канул за кант.  
 И кто сопок главнее. Прошу за это,  
 выпейте стопку, генерал-лейтенант.

Потому как и вы календарей шире  
 жили, а чтили — один Престол.  
 И черно-красный враг наш — Каландаришвили —  
 нехай тоже садится за этот стол.

1986, 1989

\* \* \*

Женщины бывают прекрасными —  
 что и жизни отдать не жалко.  
 Звери бывают умными —  
 умнее иных людей.  
 Коммунисты бывают добрыми —  
 впрямь счастья желая прочим.

Но я как потомок Адама говорю вам:  
 — /если хотите выжить/ —  
 и те, и другие, и третьи —  
 должны знать свое место.

1987

\* \* \*

Мне близок дизайн револьвера:  
 не отчетливость линий «Кольт-автоматик»,  
 но изысканность «Смитт-Вессона» —  
 давних времен;  
 если же пистолет,  
 то, разумеется, «Парабеллюм»,  
 хотя баллистические характеристики «ФН» не хуже,  
 а сам он легче и проще;  
 но «Парабеллюм»!  
 /красоту и традиции должно чтить, —  
 древние навсегда лучше/.

Но конечно,  
 если говорить в прозе,  
 стремительную и опасную базуку предпочту  
 грациозному «Единорогу».

1988

\* \* \*

## Отцу

Лишь только окно		и снова грядущего знаки
побелело,		по белому чертит мороз.
он, тронув ладонью окно,		
вдруг вспомнил, как горло		
давно, безнадежно давно.	болело —	Там те же за шкафом обои,
Как будто готических хроник		и ворох тепла за стеной.
в какой-нибудь ранней главе,		А люди проходят по двое
когда высотой подоконник		за стеклами рамы двойной.
едва уступал голове.		
Там стынут слова и собаки,		Там что-то забылось,
и лошадью пахнет овес,		осталось...
		рассталось, ушло, унеслось.
		И нынче туда возвращалось,
		и, кажется, жизнью звалось.

1985



\* \* \*

Словно домик с часами, передо мной  
встань, как в угол дальний — внутрь января.  
Чтобы мне повернуться — к зиме спиной,  
/о другом же — и вовсе не говоря/.

В темно-красную ночь, в травяную раму,  
как на грани света — замри, замри.  
Там — не к плоти и крови несли мы брань,  
а лишь к власти — воздуха и земли.

Но, светлейшая, — нынче, — из одалиск,  
проходя во мглу, обернись ко мне.  
И сугробом вырастет обелиск  
всем безвинно павшим в твоей зиме.

Чтобы смену года опять, опять, —  
мне читать бы только в одном лице.  
И о времени сурочном узнавать —  
по александриту в твоём кольце.

1986

\* \* \*

Отправляется поезд.

Нет, — это часы застучали.

Но так гулко, так густо, как будто б до этого просто молчали.  
И как будто б среди этих рук и волос  
время новое вдруг началось.

И тебя потеряю. Я знаю.

Я всегда все теряю: отечество, деньги, ключи.

А к тому же в конце, — /помолчи! — и всерьез умираю, —  
растворяюсь, как в извести черной, — в ночи.

Меж железнодорожных, — электро ли, тепло, тех поздних, —  
как попало сцепленных — локтями ли, пальцами рек,  
что уходят, уходят, как жизнь, или пыль, или воздух,  
или все, что уходит, и гаснет, как снег.

И тогда в налетевшем, рыдающем, диком,  
в этом новом гудке, мне, — /ну правда! —  
понявшему изнутри ход,

мне б всего улыбнуться в «спасибо» своем — красным криком,  
потому, как теперь, — вот как раз уже верю: спасет!

Отправляется день... Начинай!

Это к вечному ревности.

А потом, — я ведь помню: река, переходы, вокзал...

Но побудь, ну побудь...

хоть бы час, хоть бы стык... Хоть какую пустую бы внешность...

Как темнеет к утру и к весне,

все темнеет...

Ну вот и сказал.

1990

Михаил Шишкин

## ВСЕХ ОЖИДАЕТ ОДНА НОЧЬ

РОМАН

### ВТОРАЯ ТЕТРАДЬ

**В**от так сюрприз приготовили Вы мне на прощанье! Ждал Вас, ждал, а Вы, оказывается, уже в Петербурге, любезный Алексей Алексеевич, уехали и даже не попрощались.

Только не подумайте, что я па Вас в обиде. Я ведь все понимаю. В хлопотах по отъезду мудрено ли забыть черкнуть пару слов на прощанье? И вообще, давно бы Вам нужно было бежать из нашей дыры. Что за жизнь у уездного доктора, которого и держат-то не столько для помощи больным, сколько для участия в полицейских следствиях.

В последний раз, осмотрев меня, Вы сказали, что все идет хорошо. Что ж, спасибо и на том. Это ведь первейшая заповедь всякого эскулапа дурачить нашего брата, безропотного, легковверного, подслащивать пилюлю, как дитяти, словом, вселять надежду. К тому же, Алексей Алексеевич, по Вашей теории (помните ли: эмбрион — водичка, старость есть высохшие органы организма) в моем нынешнем жидком состоянии я и так сущий младенец.

Этой ночью я чувствовал себя ужасно, почти не спал. Да и как тут уснешь? Ноги горят. В углу что-то шебуршится. За стеной храпит Михайла. В трубе гудит. Часы тикают невыносимо. И еще все время душно. Дышать — пытка; хочешь глотнуть побольше воздуха, а глотаешь дух сырых дров, лекарств и несвежей постели. Велишь открыть фрамугу — оттуда валит снег.

Но все это было ночью, а сейчас, выпив запретный стакан утреннего чая, любезный мой доктор, снова я в моем кресле за столом. От вчерашнего осталась лишь боль в висках. В морозных окнах февральское солнце, в комнатах так жарко натоплено, что уши щиплет, в чернильнице чернила, в песочнице песок, перьев наточил по-римски, *salamis*'ом, на целую канцелярию.

То лето стояло сухое и жаркое. Над Казанью висела дымка, пахло гарью. Где-то горели высохшие леса. Саранча залетала даже в город.

Вдруг в конце июля в Казань перестали приходить французские газеты. «Северная пчела», сообщив о королевских ордонансах, замолчала, будто воды в рот набрала, сделала вид, что Франции никогда и не было. Казанские французы высыпали на Большую Проломную с трехцветными флажками, бумажками, у кого что было трехцветного, пели «*La parisienne*» \* Лавина и кричали в двери каждой лавки: «*Revolution! Revolution!*» \*\* Их тут же отвели на съезжую, и как они ни убеждали начальство, что во Франции произошла революция, были взяты под стражу за разглашение ложных слухов.

Все эти события в бурлившей где-то Европе неминуемо должны были сказаться на нас.

В августе царским указом объявили новый рекрутский набор. Были прекращены отпуска для военных. Говорили, что войска срочно переводятся из-за Дуная в Литву. Всем было ясно, что новой войны не миновать.

Окончание. Начало см.: «Знамя», 1993, № 7.

\* «Парижанка» (фр.).

\*\* «Революция! Революция!» (фр.).

Но войну отодвинула холера.

Опустошив Азию, болезнь проникла из Персии в Баку и Ширвань. В июле холера свирепствовала по обе стороны Кавказа, морем пришла в Астрахань и поползла вверх по Волге.

Газеты, стараясь предотвратить панику, писали, что холеры почти нет, что, где и была, уже прошла и все, что говорят, то вредные слухи. В правительственных бюллетенях медики печатали объяснение заразы и способы, как предохраниться от нее. Располагающими причинами к холере назывался сырой воздух, особенно после теплых дней, жирная пища, а также сырая капуста и репа, недоброкачественное питье в виде кваса и меда, неумеренность в пище, низкие болотные места, легкая одежда, не защищающая от простуды, уныние и беспокойство духа и еще Бог знает что. Население призывали избегать излишнего употребления муки и чесноку, не пить кислых щей, молодого квасу. Чтобы уберечься от заразы, советовали пить вместо чая ромашку или мяту, тереть ежедневно все тело, а особенно ноги, теплыми суконками, расставлять в жилищах в разных местах раствор хлорной извести. Действительно, во всех домах курили ладан, и всюду был запах хлора.

Страну изрезали карантинные. Письмо от матушки я еле-еле смог прочитать — пакет так обработали хлорным раствором, что расползлись все строки. Матушка писала, что в Симбирске холеры еще нет, но они переезжают в деревню, будут пережидать там. Еще матушка писала, что прощает мне все: «Противно, конечно, умереть не по-людски, а вот так, в корчах да неприглядности, но что поделаешь, все под Богом ходим, а я уже, сыночек мой, ко всему приготовилась».

Во всех церквях шла служба. У Петропавловского собора я столкнулся со Шрайбером. Он сказал, что все болезни в Казани стали заметно уменьшаться.

— Поразительное дело, Александр Львович! За неделю принял только роды, и все. Люди со страху перестали болеть!

В канцелярии в те дни было особенно душно, и время тянулось медленней. Все слонялись из комнаты в комнату, говорили вполголоса. Холеру в городе ждали со дня на день.

Генерал Паренсов стал приходить на службу ежедневно, и сам весь переменялся. Благодушный старик подтянулся, стал жестким, хмурым, следил, чтобы все были на местах, требовал, чтобы строго соблюдались все противохолерные предписания. Паренсов шагал по своему кабинету как заведенный, изредка лишь останавливался у окна и крестился на собор. Там беспрестанно звонили колокола. Когда кто-то из чиновников под предлогом недомогания хотел отпроситься, чтобы вывезти семью из Казани, Илья Ильич набросился на него:

— Вы, уважаемый, на государевой службе! Извольте иметь в себе достоинство!

Шепотом рассказывали страшные случаи про беспорядки в местах, куда уже пришла холера. Говорили, что мужики, эти безмозглые животные, привязывали докторов к холерным трупам и бросали их так умирать в ямах.

Беду ждали с низу Волги, но холера, перескочив сотни верст, открылась в самом конце августа в Нижнем. Едва в первых числах сентября первые барки с купеческими товарами приплыли с Макарьевской ярмарки в казанскую волжскую гавань Бакалду, уже распространился слух о внезапной смерти там нескольких бурлаков. Туда сразу послали полицейского чиновника для надзора над бурлаками и для того, чтобы не допустить их в город, но чиновник этот, посетив барки, в несколько минут скончался в страшных корчах тут же, на пристани, а с ним и еще несколько бурлаков. Смерть их, чтобы сдержать панику, уже начавшуюся в городе, приписали погоде, сырой и холодной, что наступила внезапно после трех месяцев жары.

На следующий день прямо на Воскресенской упал калачник из Бакалды, и его тотчас отвезли во временную больницу, заранее приготовленную по предписанию губернских властей в Адмиралтейской слободе.

Скрывать болезнь было уже бесполезно, и 9 сентября власти объявили, что в Казани холера.

В городе началась паника, говорили невесть что, и нигде невозможно

было выяснить истинное положение дел. В тот день я зашел к Солнцевым, чтобы узнать хоть что-то вразумительное.

Дом губернского прокурора я посещал не часто, но регулярно, нанося визиты на все большие праздники. Ходить туда было неприятно, и не только потому, что разбитая параличом старуха не отпускала меня без партии в мушкетера, но прежде всего неприязнь во мне вызывал сам Гавриил Ильич, напыщенный, чопорный, весь проникнутый своей значительностью и относившийся к любимцу тещи с презрительным снисхождением. Всякий раз он принимался расспрашивать меня о службе, задавал одни и те же два-три вопроса и, мало интересуясь моими ответами, более на меня не обращал уже никакого внимания.

Тогда, в первый день холеры, в доме все было вверх дном, бегала прислуга, плакали дети, Татьяна Николаевна сама собирала в суматохе вещи. Они намеревались уезжать в тот же день. Я старался успокоить ее как мог. Татьяна Николаевна только качала растерянно головой и глядела кругом заплаканными глазами.

— За что все это? За что? — все время повторяла она.

Старуху два мужика вынесли на улицу прямо в кресле.

Я уже собирался уходить, когда приехал Гавриил Ильич. Он сказал, что только что из Суконной. Рабочие разбили там кабак и пошли, пьяные, громить устроенную холерную больницу. Я спросил его о начальстве. Он ответил очень зло:

— Начальство! Пирхушка наделал в штаны от страха! Сказался больным и перестал вовсе появляться у себя в канцелярии! — Барон Пирх был в то время губернатором Казани. — Мерзавец! Я был у него сегодня, так он заперся и никому не велел открывать!

Солнцев наскоро простился с женой и снова куда-то уехал.

По улицам прочь из города уезжали экипажи, из которых выглядывали перепуганные люди.

Два дня ничего не было слышно о новых больных, и полицейские власти объявили, что то был ложный слух. Даже 12 сентября будочники раздавали объявления, в которых утверждалось, что город находится в благополучном состоянии, но в этот день холера сразу открылась на Сенной площади, в Ямской и Мокрой слободах, а оттуда уже рассеялась во все концы Казани. 13 сентября начальство закрыло все присутственные места и учебные заведения.

Нольде собирались целый день. Все что-то кричали, бегали по комнатам. Отец Амалии Петровны, слепой старик, отказывался куда-либо ехать, как его ни уговаривали. В конце концов его оставили на посещение Ульки. Я поцеловал на прощание мягкую морщинистую руку Амалии Петровны, она плакала без конца.

— Куда мы едем, зачем? — причитала она.

Они звали меня с собой, в деревню, но я сказал, что пересажу заразу в четырех стенах.

Нольде уехали на двух подводах, нагруженных с верхом. Я помахал им вслед и вернулся к себе. Внизу качался в своем кресле старик, и скрип разносился по всему дому.

На следующий день я снова отправился к Солнцевым. Там уже никого не было, дом был пуст. Кто-то испуганным голосом сказал мне, не открывая двери, что Татьяна Николаевна с детьми уехала в деревню, а Гавриил Ильич с утра отправился по больницам и до сих пор не возвращался.

Казань показалась мне каким-то вымершим городом. На улицах почти никого не было, ни пешеходов, ни экипажей, куда-то спешили редкие прохожие, в основном простолюдины.

Я велел Михайле запереться и никого не впускать. С утра до ночи он сидел у Ульки и пил водку, а она зачем-то все время мыла полы. По ночам старик начинал бродить по комнатам, и было слышно, как он шаркает ногами и натывается на стулья. Я пробовал читать, но ничего не получалось. От запаха ладана и хлорной извести болела голова. Я часами смотрел в окно на пустынную улицу, по которой торопились лишь редкие прохожие да иногда дребезжали холерные возки.

Однажды я увидел Шрайбера, который проезжал мимо в своих дрожках. Доктор осунулся, выглядел усталым, помятым и дремал. Я окликнул

его в открытое окно. Он вскинул голову и, увидев меня, велел своему рыжему кучеру остановиться.

Я спустился вниз. Шрайбер уже стоял на крыльце. Я хотел поговорить с ним через замочную скважину, но он рассмеялся своим сухим смешком:

— Не валяйте дурака, открывайте!

Я не открывал.

— Да бросьте вы, Александр Львович, кому суждено быть повешенным — сами знаете. Неужели вы так боитесь умереть?

Я открыл. От него пахнуло каким-то неприятным резким запахом хо-лерного барака. Он прошел в комнату и сел в кресло.

— Представьте себе, я две ночи не спал, — заговорил он. — Все мотаюсь по больницам, а их открыли в доме Меча, в Ямской, в Подлужной — сами видите, какие концы. К тому же все их рекомендации — дерьмо! Смею вас заверить, что эту гадость ничего не берет. А сейчас только что прихожу в один дом, здесь у вас за углом, а хозяйва, муж и жена, валяются на полу, все кругом в блевотине и испражнениях. На моих глазах оба и отошли. Еду от них, а тут вы. Право, очень рад, что хоть вы в добром здравии!

— Вы, верно, голодны, — сказал я. — Я пойду скажу, чтобы вам что-нибудь приготовили да чтобы накормили вашего кучера на кухне.

Когда я вернулся, Шрайбер уже спал прямо в кресле. Я накрыл его пледом.

Когда же через некоторое время Улька принесла щи, я разбудил доктора и мы сели обедать, в комнату вбежал перепуганный Михайла, весь бледный, руки его тряслись.

— У Дмитрия началось! — пролепетал он, заикаясь. — Стали кормить, а его вырвало!

В комнату Михайлы, куда отнесли рыжего кучера, нельзя было войти от зловония. Дмитрий уже не мог сам выйти во двор. Он кричал, корчился на полу, и жидкость выходила у него всевозможно. Шрайбер велел приготовить горячую ванну, и Улька бросилась греть воду. Когда все было готово, Дмитрия ослабило в четвертый раз. Все вместе мы посадили его в горячую воду, но он не смог просидеть в ней и четверти часа, хотя чувствовал заметное облегчение от судорог. Шрайбер заставлял говорить его все, что тот ощущает, и записывал в свою книжечку. Мы вытащили Дмитрия, обсушили и положили в нагретую постель. Теперь он стал пускать под себя, не имея сил встать. Лицо и все тело его посинели, ноги казались отмороженными. Прошло два часа с небольшим, как началась болезнь. Почти мраморного холода рук и ног он сам не чувствовал, напротив, ему казалось жарко. Пульс скоро вовсе пропал, голос его переменялся и охрип. Дмитрий все время просил кваса, которого ему Шрайбер давать не велел. Доктор все подносил руку к искаженному от судорог рту кучера.

— Попробуйте! — обратился он ко мне. — Холодом несет, как из погребка.

Еще через час Дмитрий сказал, что ему лучше и что он будет спать. Он действительно казался спящим, но более уже не просыпался.

Шрайбер уехал, сам взявшись за вожжи.

К вечеру за Дмитрием пришли будочники, одетые в длинные балахоны, пропитанные дегтем, и в рукавицах. Они взяли его за руки и за ноги, вынесли на улицу, где ждал возок — большой ящик с крышкой, установленный на телеге, — раскатали покойника и забросили наверх. Ящик был почти полон, и Дмитрий упал мягко. Потом кто-то залез наверх, принял от другого ведро, окатил содержимое известью и захлопнул крышку.

Это была страшная бесконечная ночь. Я все не мог заснуть. Мне казалось, что я уже заразился, что я болен. Тошнота несколько раз подкапывала к горлу. Я испытывал все признаки болезни: и головную боль, и неутолимую жажду, и холодный липкий пот. Несколько раз я вставал и зажигал свет, чтобы посмотреть, не желтеет ли кожа.

Вечерами ко мне стал заходить Шрайбер. Он был уставший, злой, ругался по-татарски и все время повторял: *vivere in sperando, morire in sa-*

cando \*. Он усаживался в кресло, пил какую-то настойку, которую привозил с собой во фляге, и иногда молчал целыми часами. Изредка он предлагал:

— Давайте играть в карты, что ли... — И мы садились за маленьким столиком. Он выучил меня играть в какую-то немецкую игру, которая называлась тойфельхерц. За картами он принимался ругать больницы, в которые везли всех без разбора, даже пьяных, которым там нещадно пускали кровь. Все цирюльники и сиделки тоже были пьяны от дармовой или, как говорили, холерной водки. Шрайбер рассказывал, как люди, не веря в медицину, сами принимались лечить себя от холеры: кто натирал тело жиром кошки, кто пил деготь, а один пил сам и заставлял выпивать всю семью по три стакана бычачьей крови в день. Еще Шрайбер говорил, что, по всей видимости, мужчины больше подвержены опасности заболевания, чем женщины, и что морозы должны на зимние месяцы приостановить эпидемию.

Уходил он поздно, когда глаза его уже сами закрывались от усталости. Один раз доктор появился у меня какой-то радостно возбужденный. Он рассказал, что сыновья учителя гимназии играли взаперти, и один из них глупо сошкольничал. Мальчик беззаботно с размаха сажился на стул, а старший брат его подставил палочку из слоновой кости для надевания рисовальных кисточек. Палочка длиною в три вершка прошла в таз и переломалась на две части. Пришлось срочно делать операцию. Шрайбер взял вынужтый обломок на память. Он вертел им перед собой и все никак не мог успокоиться:

— Нет, вы только представьте себе! Кругом холера, а тут вот эта палочка!

В октябре холера пошла на убыль, хотя случаи заболевания продолжались до самой зимы.

В самом начале ноября я получил письмо из дома. Холера, слава Богу, прошла стороной. Матушка написала мне втайне от сестры и невестки, а может, и по их наущению. Она написала, что Нина ждет меня и будет ждать. Я ответил несколькими строками, что я жив-здоров, что Бог зачѐм-то бережет меня и что к Нине не вернусь никогда.

Потихоньку жизнь в Казани оживала. В город возвращались те, кто спасался от заразы в деревнях.

Предметом разговоров сделался Кострицкий. Он тоже заболел холерой, но через три дня мучений вдруг выздоровел. Его все поздравляли с возвращением с того света, но он ходил как во сне, испуганно озираясь по сторонам, осунувшийся, бледный, никого не узнавал.

Вернулись Нольде и рассказывали про безобразия, творившиеся на карантинных заставах, про лихоимство и тупость чиновников, про дикость народа, не желавшего исполнять спасительные предписания, про то, что от двухнедельной задержки всякий мог откупиться.

С наступившими холодами холера притихла.

Служба засасывает, отравляет мозги. Я заметил, что чтение и сочинение всех этих входящих и исходящих уже не вызывает во мне прежнего живого отвращения. Бумаги жили какой-то своей, стройной, разумной, чернильной жизнью с непреложными законами и верой в свою необходимость. Я ловил себя на том, что иногда на меня стало находить даже своеобразное вдохновение при сочинении бесчисленных резолюций, отношений, выписок, и, разогнав перо, я уже не мог остановиться и мчался по листам, будто по льду на коньках. А потом наступало отрезвление. Труд мой, только что доставлявший мне удовольствие, делался постыдным, отвратительным, и, отдавая написанное перебеливать, разминая уставшие пальцы, я с ужасом думал о том, что бумаги эти залетят в какие-нибудь Столбищи и будут храниться там и после моей смерти, если их не спасет пожар.

На мой стол слетались и заплутавшие жалобы, доносы, прошения. Отчаявшиеся добиться справедливости люди начинали писать во все существующие и несуществующие учреждения и инстанции, и часто мне приходилось читать и отвечать на бумаги, ни с какого бока с корабельными лесами не связанные. О чем только не зывали к вселенской пустоте эти

\* Жить в надежде — умереть в дерьме (ит.).

несчастные! Помню страшное письмо, каким-то чудом переданное из заключения. Один соликамский чиновник был оклеветан и безвинно посажен в тюрьму, из которой живым он уже не чаял выбраться, поскольку надзиратели натравливали на него убийц и насильников. Он умолял снарядить комиссию и разобрать его дело, а не то он не выдержит издевательств и наложит на себя руки. Какая-то вдова продала весь свой скарб, чтобы дать взятку для выигрыша дела о домике, но ее обманули. Исправник в Урюме, вместо того чтобы ловить безобразничавших там разбойников, сам навел шайки на купцов и брал себе мзду. Какой-то учитель из Арска ослеп и просил отправить его на казенный счет в Петербург к главному врачу Лерхе, снимавшему катаракту.

Бумаги зывали, возмущались, жаловались, просили, требовали. Казалось, губернию населяют сплошь обиженные, убогие, обманутые, одним словом, страдалцы. Все их отчаянные крики о помощи, излитые чернилами на бумагу и отправленные Бог знает куда, лишь бы в Казань да в столицу, были совершенно бессмысленны. Все эти мольбы, жалобы прямоиком отсылались обратно на места, чтобы с ними разбирались те самые взяточники, притеснители и казнокрады, на которых и жаловались несчастные, ибо кому какое дело в Казани или в столицах до ограбленного в Урюме или до слепого учителя в Арске?

Я отсылал подобные послания обратно во все эти Урюмы, Пестрецы, Морки с просьбой к местным властям разобраться, прекрасно отдавая себе отчет в том, что толку никакого не будет, даже если я сам, возмущенный попранием справедливости, брошусь черт знает куда и буду добиваться освобождения безвинно посаженного за решетку соликамского чиновника. Судья найдет еще десять резонов, за что стоит посадить этого беднягу, ибо будет спасать свою шкуру, да к тому же еще выяснится, что этот чиновник и в самом деле преступник. И я, хорош был бы я в роли казанского Донкишота! Тот окончил дни свои по крайней мере в собственной постели, а мне бы пришлось коротать денечки в сумасшедшем доме на Успенской, откуда по ночам разносились по всей Казани истошные крики.

В первых числах декабря до Казани дошли известия о восстании в Польше.

Сперва это были смутные слухи об убийствах в Варшаве, потом короткие официальные сообщения, из которых трудно было понять, что происходило там на самом деле. Было ясно одно — то, что было расстреляно и повешено на Украине и в Петербурге пять лет назад, поднималось теперь в Польше и Литве.

В те первые, особенно тревожные дни, когда ничего не было ясно, я набрасывался на газеты, старался в нескольких трусливых фразах отыскать крупницы правды, жадно прислушивался к разговорам, которые снова, как той зимой, велись испуганным шепотом.

Слухи ходили самые противоречивые, все казалось неправдоподобным, невозможным, и все могло оказаться правдой.

Говорили, что в заговоре весь польский гарнизон Варшавы со всеми офицерами. Заговорщики подняли на ноги город, возмущая жителей тем, что русские будто бы начали резню. Ненависть к русскому царю была такая, что для возмущения достаточно было любой, самой бессмысленной лжи. Во главе бунтовщиков были школы подпрапорщиков и студенты. Русские полки были окружены прямо в казармах, и огонь обрушился на сонных. К своим соплеменникам, оставшимся верными русской присяге, восставшие были безжалостны, даже более жестоки, чем к русским. Рассказывали, и это подтверждали газеты, что были убиты польские генералы, не желавшие примкнуть к восстанию. У всех на слуху были имена этих людей: Гауке, Трембицкий, Жандр — они пытались образумить прапорщиков и студентов и были растерзаны толпой. Еще говорили, что все варшавяне вооружаются, готовясь умереть с оружием в руках, но не сдаваться русским войскам, и что на стенах они пишут по-русски: «За нашу и вашу свободу!»

Нольде приходил ко мне каждый вечер, долго откашливался, отдувался, пил свой зеленый чай с молоком и принимался уверять, что поляки бе-

саяся с жиру. От своей бурды он делался весь мокрый, с висков текли капли, и старик не успевал промокать их платком.

— Поверьте мне, Александр Львович, это взбалмошный, вздорный народец! Еще Фридрих II сказал, что нет подлости, какой бы ни сделал поляк, чтобы добыть сто червонцев, которые он выбросит потом за окно! У них и слова-то такого в языке нет — честь, у них не честь, а гонор! Ничего, ничего, вот увидите, Александр Львович, они свое получают!

Я смотрел на Евгения Карловича, на этого доброго, в сущности, старика, к которому я относился чуть ли не с сыновней нежностью, и не понимал, что вдруг произошло с ним, будто передо мной сидел совсем другой человек. Казалось, будь Нольде помоложе, он сам бы ринулся добровольцем усмирять поляков. Это превращение так меня поразило, что я лишь молча выслушивал Евгения Карловича и ничего не говорил в ответ, видя всю бессмысленность и бесполезность любых моих доводов и суждений.

Мне стало страшно приходиться в канцелярию. Я думал встретить в моих сослуживцах, людях недалеких, но не злых, если не сочувствие к восставшим, то хотя бы понимание. Какое там! Среди людей я вдруг оказался как на необитаемом острове. Вернее, я вдруг почувствовал на себе какое-то клеймо, постыдную и опасную отметину, которую я должен был ото всех скрывать. Во время разгоравшихся обсуждений у печки, где собирались греться, бросив свои заваленные стылыми бумагами столы, я еле сдерживался, чтобы не выдать себя ничем, ни словом, ни тоном. Патриотические чувства затмили людям и разум и сердце. Их больше всего возмущало, что поляки, разбойничавшие с Наполеоном в России и прощенные нами, приняли дарованные им права, о которых мы, победители, и мечтать не смели, как должное, — и все им было мало! Загибая пальцы, они перечисляли все несправедливости, которые вынуждены были терпеть русские: и то, что срок службы у поляков всего восемь лет, а наш несчастный мужик тянет лямку четверть века, и то, что войскам их положено такое жалованье, которое нашим и не снилось, и то, что пошлины на их товары снижены, а Россия от этого терпит убытки, и то, что Польша — завоеванная нами страна, а земледелие, промышленность, торговля — все в цветущем состоянии, а у нас что ни урожай, то голод.

Илья Ильич Паренсов, обычно такой добродушный, тут весь принимался трястись от ярости. Он багровел, на глаза наворачивались слезы.

— Какая низость! Какая черная неблагодарность! — кричал он. — Ну, чего им не доставало! Конституции? У России ее нет, а Польше — пожалуйте! Сейм? Будьте любезны! Права? Какие, панове, угодно? А теперь по заслугам мы, русаки-дураки, и получили. Они все, все нас ненавидят! А мы их и тогда рубили, и сейчас порубим! Вот увидите, как еще порубим! Чтобы неповадно было! Неблагодарные мерзавцы!

Один раз он так разнервничался, что кровь ударила ему в голову. Он схватился руками за голову и чуть не упал. Его подхватили, хотели послать за доктором, но Илья Ильич только сказал принести снега, подержал его на лбу, на висках, и все обошлось.

Паренсов брал Варшаву с Суворовым и был ранен при штурме под стенами Праги.

Все жили в те дни тревожным ожиданием войны. Польша, как еще казалось тогда, не представляла для гигантской империи серьезного противника. Но за восставший против царя народ должна была вступить Франция, Европа. После европейской войны выросло новое поколение, и для него заваривалась своя кровавая каша.

Войны страшились, да и как могло быть иначе, но что поляков нужно наказать, привести их в повиновение, в том ни у кого не было сомнений. В народе уже тогда, в первые же дни Варшавского восстания, стали говорить, что это поляки навели на Россию мор. В холеру наши простодушные никак не могли поверить, а в то, что поляки отравляли их самих, жен их, детей, поверили сразу.

Иногда мне начинало казаться, что я живу среди сумасшедших. Люди, окружавшие меня, не понимали совершенно искренне, почему не может быть доволен сытой жизнью угнетенный народ! Им все казалось, что если кто-то богаче и образованней наших вотяков, то он непременно должен быть счастлив. Само слово свобода — что еще оно могло вызвать в



их крови, если не леденящий ужас воспоминаний о пугачевщине, о кровавом половодье, о диких зверствах бапкирцев.

С первого дня Варшавского восстания я ни минуты не сомневался в том, что оно обречено, что этот пожар будет потушен обильной кровью поляков и русских, но я преклонялся перед мужеством народа этой маленькой растоптанной страны, который поднимался безоружный, но гордый против величайшей армии Европы — «за нашу и вашу свободу».

Господи, думал ли польский сейм, отслужив молебен по русским — казненным участникам декабрьского возмущения двадцать пятого года, как отзовется в России эта благородная панихида по пяти повешенным! Поляки молились за своих русских братьев и возмутили этим всю Россию, ибо в редком русском доме матери не проклинали цареубийц.

В связках старых немецких журналов в гостиновдворской лавке я наткнулся каким-то чудом на гравированный портрет Костюшки и повесил его у себя в комнате в рамке над столом. Амалия Петровна, принеся мне кофе, спросила:

— Кто это?

Я отвечал, что это великий творец «Мессиады».

Что бы случилось с этой милой доброй женщиной, скажи я ей правду!

Как я вдруг возненавидел добрейшую Амалию Петровну, ее недоуменный лепет, это искреннее удивление, смешанное с ужасом в глазах!

— Александр Львович, миленький, объясните хоть вы мне, — говорила она, сжимая свои желтенькие кулачки, — ну, чего им не хватало? И за что только император Александр их так любил? А Николай! Что только он для них ни делал! И вот результат! Боже мой, какая нищота!..

Никогда еще я не испытывал большего унижения. Что может быть отвратительней этого безысходного двуличия, этого оскорбительного бессилия: радоваться малейшему успеху восставших и присоединяться к общему возмущению вслух! Никогда еще я так не презирал себя за то, что я — русский, за то, что отечество мое — отечество палачей, за то, что язык мой — язык завоевателей.

Я стыдился быть русским.

Я ненавидел и проклинал эту волчью, безмозглую страну до помешательства, до боли в челюстях.

На службе я еле сдерживался, чтобы не сорваться и не наговорить в пылу лишнего.

Но все же подчас ненависть захлестывала меня. Когда Нольде в очередной раз притащился ко мне со своей лоханью александровского чая и принялся громко прихлебывая, говорить, что все войска стягиваются к польским границам и что эскадрон его Сережи теперь тоже где-нибудь в Литве, я неожиданно для самого себя прервал его и стал кричать в лицо старику, что он смешон, что все кругом знают о его сыне.

— О какой Литве вы говорите, Боже мой! Да ваш же сын на каторге за растраты! Вы, седой, старый человек, зачем, скажите, зачем вы ломаете эту комедию? Вы — посмешище, понимаете или нет?

Евгений Карлович смотрел на меня, хлопая глазами и задыхаясь. Он сипел, как меха. Потом что-то забормотал, стал почему-то просить прощения, осекся, принялся дуть на чай, опрокинул чашку, встал и зашаркал к себе, мелко тряся разлохмаченной седой головой.

После этого случая старики дулись на меня. Мы почти не разговаривали.

У Кострицкого возобновились пятничные робберты, но я не ходил туда, хотя и звали. Вообще, как-то сами собой прекратились все мои казанские знакомства. Я поругался даже с Солнцевыми, придя обедать к ним на Николу.

Помню, никаких гостей у них в тот день не было. Мне обрадовались. Прикованная к креслу старуха сказала, когда я подошел поцеловать ее иссохшую руку с желтыми ногтями:

— Вот, думала, от заразы помру и не придется мне с вами, милый Александр Львович, уже сыграть в мушку. А вот живу, небо копчу.

Сонечка, младшая дочка, которой я принес леденцы, сразу полезла ко мне на руки. Татьяна Николаевна принялась рассказывать мне о своих переживаниях во время холеры, как она боялась за детей, особенно, когда скрутило в одночасье их дворника. Еще она сказала, что накануне на улице простолодины избили нашего казанского поляка-лавочника Гунге-муса.

— Какой ужас! — вздохнула она. — Но этого и следовало ожидать.

Гавриил Ильич сидел напротив меня. Он обедал молча и много пил. Было видно, что он раздражен, зол. Рыхлая, красноватая кожа на лице еще больше краснела с каждой рюмкой. Одутловатое пористое лицо делалось угрюмой. Глаза под обвисшими веками смотрели зло и цепко. В конце обеда язык его развязался и гнев вылился в адрес губернатора, вора и взяточника, которого Солнцев ездил только что поздравлять.

— На всем, мерзавец, наживается! Война начинается, так он уже и на провианте и на рекрутах руки нагрел! Нет, в этой стране никогда ничего не будет! В России честно жить и учиться-то не у кого.

Он устало махнул рукой и опрокинул еще одну рюмку.

— Плетью обуха не перешибешь!

Я взорвался.

— Так на то, Гавриил Ильич, прокурор и существует, чтобы бороться с беззакониями, невзирая на чины! Вы прекрасно знаете, что все эти господа — казнокрады, негодяи и взяточники, и вместо того чтобы засадить их в тюрьму, вы обедаете с ними, улыбаетесь им, ездите к ним в гости! Вы сетуете, что нет честных людей, а сами плодите безнравственность!

Я на какое-то мгновение осекся. Татьяна Николаевна смотрела на меня с испугом, не донеся куска до открытого рта. Но меня поразили глаза Солнцева. Они смотрели на меня насмешливо и с любопытством.

— Что же вы остановились, Александр Львович? Продолжайте, продолжайте, сделайте милости!

Я скомкал салфетку, бросил ее на стол и ушел, хлопнув дверью.

Я забыл в прихожей шапку, но, вспомнив о ней на улице, в метель, все равно не стал возвращаться. Мне прислали ее на следующий день. Я дал себе слово, что ноги моей больше в том доме не будет.

Тогда же я получил записку от Екатерины Алексеевны.

Она только что вернулась в Казань и прислала ко мне своего человека с просьбой прийти. В первое мгновение я хотел бросить все и бежать к ней. Помню, тогда я подумал, что она — это единственное, что у меня было в жизни. Но потом я велел Михайле отвечать, что я сплю, и приказал себя не будить, что бы тут ни стряслось.

На следующий, кажется, вечер внизу, в прихожей, несмотря на поздний час, вдруг раздался стук в дверь, послышался какой-то шум, чей-то хохот, и на пороге моей комнаты появился Барадулин.

Не снимая шубы, на которой еще не растаял снег, он уселся прямо ко мне на кровать. На лбу у него была ссадина, на исцарапанной щеке запеклась кровь. Язык его заплетался, изо рта несло водкой.

— Ты не смотри, брат, что я пьян, — зарычал он, — ты одевайся поскорей да поедем!

— Что с вами, Николай Сергеевич? Куда ехать? Зачем? Да объясните вы толком, что стряслось?

— По дороге все объясню! Ты, брат, поторапливайся, а то я в шубе-то весь взопрел.

— Я никуда не поеду. Я приболел. Мне холодный воздух вреден. Да объяснитесь вы, наконец, или нет?

— Вот и поедем, брат, лечиться! — захохотал Барадулин и стал бросать мне мои вещи. — Пожалей извозчика, нам еще ехать, а там буран. Толку от него было не добиться. Сам не понимая почему, я стал одеваться.

Внизу стояла со свечой испуганная Амалия Петровна в ночном капоте. Я растерянно ей улыбнулся.

За воротами нас ждал заснеженный возок. На улице действительно начиналась сильная метель.

Мы поехали, закутавшись в волчью полость. Барадулин достал начатую бутылку, отхлебнул прямо из горлышка и заставил выпить меня.

— Думаешь, брат, я не вижу, как ты все время на меня смотришь?

— О чем вы, Николай Сергеевич? Я ничего не понимаю.

Барадулин захохотал.

— Не понимаешь? Да я тебя насквозь вижу. Ты, брат, меня презираешь. Да и всех кругом!

— Помилуйте, с чего вы взяли?

— Ты сейчас ничего не говори! Ты лучше выпей со мной!

Он снова заставил меня пить из горлышка и опять захохотал. Крепкое вино ударило мне в голову, и я тоже вдруг засмеялся.

— Я, брат, человечек изнутри вижу! Ты, Ларионов, не гордись! Ты, брат, ничем нас не лучше! Ты, может, такой же подлец, как и я, а нос от меня воротись. Не надо, зачем?

Я хотел что-то сказать, но он замахал рукой.

— А ты молчи, ничего не говори и ничего не спрашивай и пей со мной. Мы ведь с тобой бороться едем.

Санки мчались по темному городу. Сквозь метель я видел, что проехали мимо Черного озера, поднялись на Воскресенскую, спустились к Булаку, перелетели через мост. Долго петляли по кривым улочкам татарской слободы. Наконец остановились у каких-то ворот.

Нам открыл заспанный татарин в исподнем, в наброшенном на плечи тулупе и с лампой в руке. Увидев Барадулина, он заулыбался беззубым ртом и задергал своей куцей бородкой. Мы сбросили шубы, сняли сапоги и в одних чулках пошли куда-то по темному коридору. Татарин лепетал что-то, называл Барадулина эффенди, все время говорил о какой-то Михри. В большой комнате, увешанной коврами, мы уселись по-татарски прямо на пол. Хозяин суетился, подкладывал под спины подушки, кричал на кого-то в приоткрытую дверь. Жирная старуха с густыми, сросшимися бровями принесла блюдо с кушаньями, графины. Барадулин снова заставил всех пить: и меня, и татарина, и старуху. За стеной бегали, кто-то все время заглядывал в дверь. Принесли балиш и учпишмяк, мы принялись есть прямо руками. Я был уже совсем пьян, когда в комнату вошла молодая маленькая татарка с миской для полоскания рук и подала мне полотенце. Барадулин что-то пел, хохотал, плескал ей в лицо водой из миски. Потом он обнял ее, поцеловал в губы и толкнул ко мне.

— Это, брат, Михри. На, люби ее!

Михри взяла меня за руку и куда-то повела. Ноги мои заплетались, перед глазами все скакало. Я еле шел. Она смеялась и спрашивала меня что-то. Я никак не мог понять, о чем она говорит, и на все отвечал:

— Якши!

От выпитого мне сделалось совсем плохо. Я помню только ее краше-ные черные зубы и сильный мускусный запах.

Под утро я проснулся один в той же большой комнате, где мы были сначала. Я лежал на ковре, кругом были разбросаны подушки. За окном только светало. Все в доме еще спали. Я никак не мог найти выход. Открыл в полумраке какую-то дверь, но оттуда на меня зашипела вчерашняя жирная старуха. Наконец я выбрался на улицу. Там все еще была метель. Я плутал по сугробам, не зная как выйти к Кабану, пока не поймал чудом извозчика.

День был воскресный, неприсутственный. Сам не зная почему, я отправился в Мокрую слободу, где не без труда разыскал занесенный снегом домик Пятова.

Землемер удивился моему приходу, несказанно обрадовался и торопливо принялся наводить порядок в своем логове, иначе трудно было назвать его запущенную каморку, где неосторожное прикосновение ко всякой вещи оставляло след в толстом слое пыли. В комнате было холодно. Пятов был закутан в какую-то шаль поверх невероятного драного халата. Он суетливо переставлял клетку с места на место, стирал со стульев рукавом пыль и причитал без конца:

— Эх, Александр Львович, кабы знал, что вы придете, сбегал бы в трактир, а то и угостить вас нечем!

Я послал хозяйского мальчишку, чтобы он принес из трактира напро-  
тив чаю, булок, колбасы.

Кругом все трепыхалось и свиристело. Соловьи, непривычные к гостям,  
встревоженно метались в своих клетках, и землемер успокаивал их:

— Тише, тише, бесенята! Вы что, не узнали? Это же Александр Льво-  
вич к нам пришел!

Мы сели пить чай, и он все говорил мне:

— Да что же вы не едите, Александр Львович, вы ешьте!

Я пересвистывался с соловьями, пока Пятов торопливо глотал хлеб  
и колбасу, и потом часа два слушал про нравы соловьев, про скудное жа-  
лованье, про больных родителей в Свяжске, про слабоумную сестру. Пя-  
тов говорил сбивчиво, глотая слова, будто боялся, что я вот-вот уйду, так  
что я даже рассмеялся:

— Да куда вы торопитесь, Аркадий Петрович? Сейчас снова за ча-  
ем пошлем. Еще наговоримся.

Я сидел в комнате у этого сумасшедшего, кормил его птиц крошками  
и думал о том, что не понимаю, зачем я живу в этом занесенном сугроба-  
ми чужом городе, зачем бреду каждое утро по темным еще улицам на  
службе, зачем говорю с людьми, с которыми меня ничего не связывает.  
Еще я думал о том, что не знаю, чего я здесь выжидаю, от кого и от чего  
прячусь. Дома, среди родных, мне было одиноко. Вот я бежал от этого  
одиночества в Казань. И что же? Я жил здесь уже второй год и не знал,  
куда бежать теперь.

Вот и пришла пора писать мне про Степана Ивановича Ситникова.

Я знал этого человека недолго, каких-нибудь несколько месяцев, а по-  
том пытался забыть его и все, что с ним было связано, всю жизнь. А те-  
перь жизнь прошла, и я вывел имя его пером совершенно спокойно, ничто  
не дрогнуло в душе моей. Да и почему должно быть иначе? Совесть моя  
чиста. Я ничем не виноват перед ним. А в том, что тогда в Казани прои-  
зошло, некого винить, кроме него самого.

Нет-нет, я вовсе не собираюсь оправдываться, как это может показаться.  
Видит Бог, вины на мне нет. Просто я пишу обо всем, что было в  
жизни моей, ничего не пропускаю, ничего не утаивая. Напишу и об этом.  
И ничего больше.

В половине декабря в канцелярии появился новый служащий, штабс-  
капитан генерального штаба Ситников.

Это был молодой уже человек с ранней лысинкой, русский, невысо-  
кого роста, грузный, даже мешковатый. На груди у него был крестик за  
турецкую кампанию.

Не могу сказать, чтобы я сразу обратил на него внимание. Тем более  
невозможно было предположить, что мы как-то сойдемся, сблизимся, бу-  
дем считать друг друга друзьями. Это был человек скорее неприятный.  
Всякого общения с сослуживцами, выходящего за рамки дел, он избе-  
гал, здоровался со всеми сухо, на вопросы, располагавшие к беседе, отве-  
чал односложно, давая понять, что не имеет никакого желания разговари-  
вать с вами. Его назначили на вакантную должность начальника чертеж-  
ной, и целыми днями он просиживал там, закрывшись, и сверял съемки  
заволжских корабельных роц.

Вообще, в этом человеке было многое непонятно. Ситников снял квар-  
тиру на Большой Казанской. Жил один и ни с кем не хотел знаться. Даже  
когда в канцелярии разгорались разговоры о том, что происходило на  
Висле, Ситников не вступал в них, предпочитая отмалчиваться.

После отступления великого князя из Варшавы революция в 24 часа  
распространилась по всей Польше. Только что все переживали за его  
участь, и вот уже всех возмущало его поведение. Рассказывали, что Кон-  
стантин отпустил к восставшим польские части, которые остались у него  
под командованием. Более того, встречая во время отступления польских  
солдат, спешивших на воссоединение к мятежным войскам, он приказывал

вал им построиться, производил мелочный осмотр, просил не забывать его добрых советов и повторял все время:

— Это мои дети. Ведь это я обучал их военным приемам.

Офицерам он говорил:

— Я более поляк, чем все вы. Я женат на польке. Я так долго говорил на вашем языке, что с трудом изъясняюсь теперь по-русски.

После Вислы Константин перешел и Буг. Всеобщая ненависть к великому князю началась уже тогда. Позже, когда открылись военные действия, она росла чуть ли не с каждым днем. Рассказывали, что при виде русской кавалерии, отброшенной польскими уланами, Константин не мог удержаться, захопал в ладоши и воскликнул:

— Bravo, дети мои! Польские солдаты — первые солдаты в мире!

Он так радовался неудачам Дибича, напевая под его окнами «Еще Польша не сгинула», что фельдмаршал попросил императора отозвать великого князя из армии. Когда в разгар боевых действий, следующим летом, он стал жертвой холеры, которая шла вместе с русской армией, без преувеличения скажу, что Россия вздохнула с облегчением. Даже последние слова его, обращенные к княгине Лович, были оскорбительны для патриотов:

— Скажи императору, что, умирая, я заклинаю его простить поляков.

17 декабря Николай обратился к полякам с воззванием. Он обещал прощение всем, кто одумается. Воззвание это возымело обратный эффект. «Отеческое обращение» в Польше было воспринято как еще одно оскорбление со стороны империи. Теперь уже не было никакой надежды на то, что удастся хоть как-нибудь избежать войны.

Наступило Рождество. Был снежный тусклый день. С утра я валялся на диване и все никак не мог заставить себя встать. Я лежал в каком-то тяжелом полусне, и до меня еле доносился звон колоколов и гром пушек из крепости: победный салют в годовщину изгнания французов из России. В доме, была суета, хлопали двери, все кричали. Вечером Нольде ждали в гости Баевских, такую же одинокую старческую чету.

Помню, как с улицы раздались нестройные крики, и я выглянул в окно. Это пришли подростки, которые, вооружившись звездой из картона, изображали волхвов, хотя напоминали скорее баскаков, взимающих с мирных жителей Нагорной свой ясак. Амалия Петровна, закутавшись в шаль, сама вышла к воротам и стала раздавать пряники, крестя каждого и целуя в лоб. Когда она возвращалась к крыльцу, мальчишки в благодарность швырнули ей в спину снежок.

Я снова было лег спать, но тут неожиданно пришел Белолобов.

— Ба, да вы еще спите! Вот не предполагал! — закричал он с порога. — Я на минутку. Вот, приехал поздравить вас с Рождеством Христовым и проститься. Рапорт мой удовлетворили! Уезжаю к Дибичу в действующую армию! Пролог, как говорится, закончен. Еду играть роль совсем на другом театре!

— Как в армию? Да подождите вы, право, дайте мне хоть одеться! Белолобов засмеялся и сел ко мне на кровать.

— Да вы спите, спите, Александр Львович, я ведь действительно на минуту. Всех объезжаю, вот и к вам решил заглянуть. Проститься. Мало ли что. Может, и не придется нам с вами никогда больше увидаться. Может, схвачу пулю от какого-нибудь пана-добродзея.

Он достал из кармана шинели бутылку.

— Где тут у вас бокалы? Давайте выпьем за помин моей души!

— Что вы несете? С чего, черт возьми, вы взяли, что вас убьют? Вы, Белолобов, возьмете Варшаву и дослужитесь до генеральства!

Он захохотал. Вино налили в чашки, оказавшиеся под рукой, и выпили. Лицо его сделалось серьезным.

— Вы знаете, — сказал он мне на прощание, — я тоже чувствую, что ничего страшного со мной не случится. Ну, прощайте, пора.

Перед тем как убежать, он стиснул меня в объятиях и прижался к лицу своей щекой.

Помню, в ту минуту, глядя в окно, как Белолобов бежал к санкам, я подумал, что не знаю, ненавидеть или жалеть этого слепца. Скольких лю-

дей, повинных лишь в том, что не хотят жить рабами, убьет его рука, которую я только что пожимал? И если суждено ему быть убитым, он и умрет-то в счастливом неведении, думая, что умирает за отечество! Что за Богом проклятая страна, где зло творят милые, хорошие люди!

То, что в тот рождественский вечер я столкнулся с Ситниковым на Рыбнорядской, было, конечно, простой случайностью, как и то, что он тоже был выпускником Дворянского полка, что поневоле нас сблизило. С другой стороны, было бы странно, чтобы два человека, ненавидевшие одно и то же, рано или поздно не сошлись.

В тот вечер какая-то тоска погнала меня на улицу. Извозчики, кучера, все были пьяны и носились сломя голову с истошными криками. Я бродил среди праздничного хмельного люда, пока не стемнело. У ворот каждого дома зажглись подслеповатые плашки, наша казанская иллюминация. На Рыбнорядской горели костры. Там толпился народ, было шумно, что-то кричали, пели. Помню, как старик с клюкой и медалями на армяке убеждал кого-то, что самого Наполеона одолели, а уж с поляками царь и по-давно управится. Рядом люди толпились у ширмы, над которой Петрушка бодро дубасил какого-то урода в чалме, причем называл его паном. Из толпы его подзадоривали:

— А ну-ка наподдай, наподдай-ка ему еще! Бей, не жалея!

Пан в чалме верещал и скулил, а Петрушка все сыпал ему одну за трещину за другой. Все лица кругом были в красных отблесках от костра.

Там, в этой толпе, мы и столкнулись. Ничего приятного в такой встрече я для себя не находил. На службе с этим человеком мы, кажется, и парой слов не обменялись. Как-то раз случайно столкнулись в гостинодворской книжной лавке: тогда он сухо ответил на мой поклон, с трудом признав во мне знакомого.

То, что мы оказались однокашниками — Ситников был выпущен в тот самый год, когда я поступил в полк, — обрадовало его, но не меня. Общее прошлое к чему-то обязывает. Только не хватало быть связанным с этим человеком, неприятным мне, и этими узами. На меня вдруг пахнуло, казалось, давным-давно истлевшим в памяти духом холодного, уютного дортуара, шумной удушливой столовой залы, дождливого осеннего плаца. Мы вспоминали наших учителей, давнишние проказы, общие у всех выпусков, знаменитые полковые анекдоты, обычаи. Расхотались, вспомнив «мороженое». По воскресеньям оставшиеся в корпусе кадеты устраивали себе пиршество: в ведро выжимали через простыню клюкву, размешивали сок с патокой, а потом клали туда снег — и мороженое было готово. За неимением ложек ведро без церемоний в мгновение ока вычерпывалось руками.

За разговорами, вспоминая то, что было давно забыто, мы незаметно подошли к его дому. На втором этаже, где он снимал квартиру, было темно.

Я хотел проститься, но Ситников сказал:

— Идемте, я провожу вас. В такую ночь как-то глупо ложиться спать.

Я пригласил его к себе распить бутылку вина.

На лице Нольде изобразилось крайнее удивление, когда он увидел в дверях вместе со мной нашего нового сослуживца-нелюдима. Евгений Карлович был красный, распаренный, пыхтел громче обычного, видно, уже выпил рюмку, и не одну. С тех пор, как я за чем-то обидел его, он больше не поднимался ко мне, мы лишь молча раскланивались при встрече, а теперь опьяневший старик принялся лобызать и меня, и Ситникова и, хотя мы хотели подняться ко мне наверх, насильно усадил нас за стол.

Старики Баевские были умирительно похожи друг на друга, как все люди, прожившие долго вместе, и казались копией один другого и жестами, и словечками, и чертами лица. Весь вечер Баевский никому не давал вставить слова и рассказывал про польскую кампанию, когда служил у Суворова гусаром.

— А я вам говорю: доверять полякам — ни-ни, ни в коем случае! — кричал он, тряся складками кожи под подбородком. В этом тучном, обрюзгшем старике трудно было признать кавалериста. — Сколько у нас так вот погибло — чуть отстал от эскадрона, замешкался, а потом находят тебя с

вилами в боку! В Мциевцах, как раз накануне того боя, когда был пленен Костюшка, устроился я на дворе бриться, а напротив была цирюльня. И вот стоит в дверях фризёр, на меня смотрит и посмеивается, мерзавец. «Прошу, — кричит, — пана гусара до голения!» И наших кругом как на зло никого! Я на него ноль внимания. Одной ведь Матке Боске известно, что там этот негодяй задумал. Полоснет бритвой по горлу, и голоса подать не успеешь. А он за свое и так с ухмылочкой говорит: «Может, пан россиянин струсил?» Тут я вскипел, кровь ударила в голову. Плюнул на все, думаю, будь что будет, но чтобы я, русский человек, перед этим наглым полячишкой дрожал? Не бывать тому! Сел к нему в кресло, саблю поставил поближе к себе, а он, подлец, смеется. И то правда, думаю, теперь и сабля не поможет! Этот хам вокруг меня крутится, завязывает салфетку, точит бритву, а я уже и не рад своей дурусти. Сажу и жду, когда меня, как поросенка, зарежут. Он уже мне пену по шее размазал, а я все никак не решаюсь бежать. Все-таки дело чести! Никогда мне еще так жить не хотелось. Наконец, стал меня этот черт брить. Бреет-бреет, конца нет, а я весь мокрый сажу, с жизнью прощаюсь. Он смотрит на меня и подло так улыбается. Думаю, решил покуражиться, а потом уже прикончить. Тут он вдруг снимает салфетку и хихикает: «Готово, пан». А я сажу ни жив ни мертв. Он даже денег не хотел с меня брать. «Мне, — так и сказал, — вас голить была велька пшемношчь!»

Все хохотали над подобными историями, которые лились из уст Баевского потоком, и только Ситников сидел мрачный, угрюмый, и я видел, как с каждой минутой он все больше хмурился, комкал салфетку, раздраженно смахивал крошки.

Баевский так размахивал руками, что опрокинул бокал с вином, и красное пятно побежало по скатерти. Старик на минуту замолк, и воспользовавшись этим, Ситников откланялся. Я вышел проводить его в прихожую.

— Вы, верно, еще не познакомились с нашими достопримечательностями? — спросил я. Ситников пожал плечами. Сам не зная почему, я вызвался показать ему наши казанские древности. Мы договорились, что на следующий день я зайду за ним. Он улыбнулся мне устало и холодно.

Утром, к намеченному сроку, я отправился на Большую Казанскую. Стоял рождественский морозец, ночью выпал снег, и у тюрьмы арестанты, обмотанные в тряпье, разгребали лопатами сугробы. Они щурились на солнце, били себя по бокам, подпрыгивали, терли щеки и жалобно поздравляли прохожих, выклянчивая копейчку. Если кто-то не подавал, того осыпали ругательствами и злыми насмешками. Солдат, охранявший арестантов, не обращал на это внимания, видно, был с ними заодно, имея потом с этих копейчек свою долю.

Ситников жил в Кафтыревских домах, уцелевших от пожара. Вход к нему был отдельный, и дворник провел меня к крыльцу со двора.

К моему удивлению, дома Ситникова не оказалось. Встретил меня его человек, литвин, плохо понимавший по-русски. Этот белокрысыый юноша, щегольски одетый, с яркой шейной косынкой, в вышитой манишке с розовой подкладкой, говорил со мной сквозь зубы и вообще всячески подчеркивал свое неудовольствие моим приходом. Видно, он сам собирался куда-то идти, а я ему помешал. На все мои расспросы, куда ушел его хозяин и когда вернется, он лишь пожимал плечами. Я решил подождать, снял шубу и прошел в комнату.

Здесь был полный беспорядок, всюду валялись неубранные вещи, книги были разбросаны на стульях и на диване, стол был засыпан пеплом и табаком. Было жарко натоплено, и стоял тяжелый дух, пропитанный дымом. С утра не проветривали, и вообще было видно, что хозяин мало трепал своего слугу. На полу у печки разлилась лужа. Очевидно, гордый литвин, когда топил, нанес на сапогах снег и не удосужился за собой подтереть. Я снял с кресла халат, бросил его на диван и присел. Хозяйская обстановка была неудобной: громоздкие допотопные мебели, треснувшие кафли на печи, закопченный, давно не беленный потолок.

Я просидел так с полчаса, сам понимая глупость своего положения. В соседней комнате шаркал литвин, бросая на меня сквозь открытые две-

ри злые взгляды, и недовольно что-то бурчал на своем шепелявом наречии.

Я сел за стол, чтобы оставить записку и уйти, когда Ситников вдруг появился в дверях. Он смутился, стал извиняться. Забыл ли он просто о нашей встрече или хотел отделаться подобным образом от назойливого знакомца — все это было неприлично и даже оскорбительно. Но я, вместо того чтобы уйти, сказал:

— Пустое, я не придал этому значения. Так что же, мы идем?

Первым делом мы отправились в университет. Студенты были распушены на рождественские каникулы, часть из них разъехалась, кто-то остался, но занятий не было, и в огромном здании было пустынно, шаги наши звучали гулко, и в метлахских плитках, которыми там вымощен пол, отражались замерзшие окна. В естественном кабинете, открытом по праздничным дням для посещения публики, мы осмотрели всякие чучела и каких-то уродцев в банках, костюмы диких народов и прочую дрянь. Потом мы поехали в татарскую слободу смотреть мечети.

По дороге я принялся рассказывать всевозможные истории о казанской старине, слышанные мною от Шрайбера.

Истории, казавшиеся мне забавными, Ситников слушал невнимательно и явно тяготился нашей прогулкой.

— Вы, я вижу, не большой любитель древностей, — сказал я.

— Увы, — ответил он. — Я не понимаю, как древности могут быть важнее настоящего. Камни мертвы.

— Что вы хотите этим сказать?

— Вам разве не мешает восторгаться памятниками прошлого то, что происходит вокруг них сейчас? Право, при всем желании у меня не выходит любоваться пейзажем, если я знаю, что в живописном селении живут рабы...

— Что же получается, музеи, памятники не нужны вовсе?

— Отчего же. Надо лишь, чтобы ничто не отвлекало от наслаждения прекрасным. А для этого нужно всего-то быть свободным человеком в свободной стране.

— Вы верите, что Россия станет когда-нибудь свободной? — спросил я.

Он пожал плечами и ничего не ответил. На том мы и расстались в тот день. Этот разговор впервые заставил меня посмотреть на Степана Ивановича другими глазами.

То была ирония судьбы, что я сам познакомил его с Екатериной Алексеевной. С того майского дня мы не виделись с ней. После холеры она давно уже вернулась в Казань, но я не был у нее ни разу, потому что решил забыть ее, и я уже думал, что мне это удастся, но тут пришел Новый год, и в благородном собрании был костюмированный бал.

Встречать Новый год в обществе задыхающегося Нольде за партией в лото было бы невыносимо, и я отправился в дом Дряблова: не позаботившись ни о каком маскарадном костюме: решил, что и так буду хорош.

Характерных масок было мало. По какому-то провинциальному жеманству костюмироваться считалось чуть ли не неприличным, и, хотя в собрание съехалась почти весь город, приезжали только чтобы посмотреть, а потом обругать да посмеяться. Редкие капуцины, турки, мавры и еще не поймешь кто растерянно бродили под веселые мотивы гарнизонного оркестра мимо мундиров и фраков. Казанские дамы, вооружившись лорнетами, сидели по стенам. Публика угрюмо протискивалась из залы в залу, ища обещанного веселья, все перешептывались, усмехались над нашим казанским маскарадом, имевшим мало что общего с беспугабашным праздником итальянцев, на которых так хотелось быть похожими. Когда предводитель в трико, с венком из роз на голове, весь обшитый трефовыми валетами, и его супруга, звякая бубенцами на своей фригийской шапочке, начали полонез, я спустился в буфет. Там было шумно, душно, летели пробки от шампанского, в углу уже кого-то разнимали. Я сразу заметил Барадулина, которого после нашего визита в татарский бардак всячески избегал. Тот, увидев меня, полез целоваться и потащил в свою уже изрядно подогретую вином компанию. Тут пили за Новый год, который уже наступил в Японии, и ссорились, у кого точнее часы.



В танцевальную залу я вышел, когда уже гремел вальс. Стремительно кружились пары, публики заметно прибавилось. Сделалось душно, меня обдал приторный запах духов, увлажнившейся пудры, взмокших тел и свечного чада.

Взгляд мой сразу нашел ту, которую безуспешно искал с самого начала. Екатерина Алексеевна была в розовом домино. Вокруг нее увивались какие-то господа в масках и офицеры. Она звонко хохотала и вальсировала без передышки, меняя после каждого круга кавалера. Отчего-то я не решился подойти и наблюдал за ней из-за колонны. Наконец, она упала в кресло, распустив юбку веером, прямо в двух шагах от меня и отправила своего кавалера в буфет за мороженым. Потом обернулась и сказала:

— Ну, что же вы там прячетесь, Ларионов! — Она поманила меня пальцем. Я подошел.

— Бессовестный Александр Львович! — она улыбнулась и укоризненно покачала головой. На лбу и ключицах капельки пота сверкали в огне сотен свечей. — Как вам не стыдно! Вы в Казани, но куда-то пропали, живете Робинзоном. Не появляетесь, не пришлете весточки. Даже не нанесли визит на святки. В конце концов это просто неприлично!

— А где же господин Орехов? — спросил я.

Улыбка на лице ее вдруг застыла. Екатерина Алексеевна сделалась серьезной.

— А разве вы ничего не знаете?

— С ним что-то случилось?

Она снова рассмеялась.

— Нет-нет, что вы! Ему ничего не сделается. Просто в одно прекрасное утро я сказала этому человеку, в общем-то хорошему и доброму, что никогда не стану его женой. Вот и все. Так и сказала: никогда.

Между нами вырос турок с ятаганом за поясом и, качнув чалмой и щелкнув каблуками, пригласил ее «пурунтурдевальс». Видно, в пику гарнизонному натиску Екатерина Алексеевна неожиданно сказала:

— Я уже ангажирована.

Набросив розовый капюшон, она протянула руку в длинной перчатке мне, и мы закружились по зале.

— Милый Ларионов, — шепнула она мне на ухо, коснувшись губами кожи. — Вы вальсируете отвратительно.

Екатерина Алексеевна танцевала, закрывая глаза, запрокидывая голову, смеялась, подпевала. Только сейчас я заметил, что она немного пьяна.

— А правда ли, что ваш новый сослуживец — человек с причудами, — вдруг спросила она. — Ни с кем не встречается, всех презирает?

— Неправда, — ответил я. — Господин Ситников интересуется казанскими древностями, и я даже был его чичероне.

— Вот как? Тогда сделайте милость, если еще помните дорогу к нашему крыльцу, приходите ко мне, Александр Львович, по старой дружбе да приводите с собой вашего анахорета. Придете? Впрочем, какие глупости я спрашиваю. Ради Бога, не обращайтесь на меня внимания, я выпила шампанского. И потом, я же вижу, милый Ларионов, что вы меня более не любите.

Она снова засмеялась.

— А сумасшедший Орехов, представляете, все равно ходит ко мне по пятницам на журфиксы, потому что в другие дни я не велела его пускать. Приходит и сидит в углу, а все над ним смеются. А он сидит и все смотрит, смотрит на меня.

Мы танцевали, пока она вдруг не остановилась.

— Ах нет, вы вальсер никудашный!

Екатерина Алексеевна бросила меня посреди залы и ушла в дамскую уборную.

Я терпеливо ждал, пока она выйдет, но Екатерина Алексеевна, даже не взглянув на меня, сразу прошла вниз. В окно я видел, как кучер сложил за ней подножку и захлопнул дверь. Пока длился бал в собрании, на улице пошел снег, и на крыше кареты намело целый сугроб.

Тут часы, встречавшие своим боем еще Екатерину Великую, стали бить двенадцать, все закричали ура, стали разбирать с подносов бокалы с шампанским.

Помню, в ту минуту я подумал о том, что вот зачем-то люблю эту женщину, но она не моя и моей никогда не будет, но кроме нее у меня в этой жизни, в общем-то, ничего и нет.

В первую же пятницу я отправился к Екатерине Алексеевне и взял с собой Ситникова.

После морозов неожиданно началась сильная оттепель, с Волги дул мягкий, парной ветер. Дороги развезло, то и дело моросил дождь, сугробы почернели и осели, улицы были залиты снежной жижей. Мы ехали на извозчике, и мокрая лошаденка еле тащила санки по слякоти.

Я не был в доме на Грузинской с прошлой весны. С невольным трепетом снова я вошел в ту гостиную, где жил запах ее духов, где повсюду были заботливо расставлены бесчисленные ее безделушки, фигурки, саксы, где в окна лезли ветви черных мокрых яблонь, окутанных паром от таявшего в саду снега.

Екатерина Алексеевна была в белоснежном шуршащем платье с обнаженными плечами, на которые она набросила прозрачный невесомый вуаль. Вокруг шеи бежала нитка жемчуга. На руках были короткие белые перчатки. Она сидела, закрыв юбками весь диван, в голубой полутени от зонтика, поднятого над свечами. В воздухе стоял запах тубероз и нарциссов — ее любимых духов.

— Вот и Ларионов, — сказала она, когда я поцеловал ей руку. — А я все думаю, где-то мой Александр Львович, верно, лежит на диване, дуется на человечество и киснет, как капуста. Вот вы уже и обиделись. Не стоит, милый Ларионов, обижаться на глупости. Это еще глупее, чем говорить их.

Она была капризна, зла, раздражительна. Все время вспоминала Белолобова, который единственный умел развлечь ее. Была со всеми подчеркнута нелюбезна. К Степану Ивановичу, о котором сама расспрашивала, отнеслась холодно, почти не обращала на него внимания. Тот сидел мрачный и, я чувствовал, злился на меня за то, что я привел его сюда.

Кроме нас был, разумеется, Шрайбер, который в тот вечер не пикировался, как обычно, с Екатериной Алексеевной, а сидел в задумчивости и беспрестанно катал шарики из оплывшего свечного воска. Пришел и Иванов, вернее сказать, прибежал с последним номером «Заволжского муравья», в котором напечатали его стишок в два куплета. Он бросался всем на шею и весь вечер ходил именинником. Казалось, он и действительно верил, что занял местечко среди бессмертных. Во всяком случае, смотрел на всех откуда-то издалека, как будто с другого берега.

В углу как ни в чем не бывало сидел Орехов. Он небрежно кивнул мне и снова принялся листать какой-то волюм.

Екатерине Алексеевне вздумалось играть в фанты. Шрайберу с Ивановым выпало провальсировать пять кругов по зале. Они проделали это стоически, с невозмутимыми лицами. Орехов должен был, забравшись на стул, продекламировать что-нибудь про любовь. Он прочитал несколько стихов из Малерба. При этом глядел ей в глаза и во взгляде его была ненависть. Мне пришлось трижды крикнуть петухом в открытую форточку. В пустом саду даже некому было испугаться этих криков. Там, в темноте, снова шел дождь, и голова моя в одно мгновение сделалась мокрой.

Когда на столике остался лишь один фант, перстень с перчаткой, принадлежавший Степану Ивановичу, Екатерина Алексеевна назначила:

— А этому фанту поцеловать меня.

Она села на диван, расправив юбки, и посмотрела на Ситникова с насмешкой.

Тот вздрогнул, покраснел, но не тронулся с места.

Неловкое молчание все продолжалось. И тут я впервые увидел, что Екатерина Алексеевна смутилась.

— Что ж, вы правы, — сказала она. — Последнее дело потакать взбалмошным провинциальным барышням.

— Я вовсе не имел намерения обидеть вас, — сухо ответил Ситников.

— Мне просто хотелось посмеяться над вами. И ничего более.

Потом она, кажется, даже не взглянула в его сторону.

Мы пили чай из тонких фарфоровых чашек с виноградными гроздьями

и листвою. Разговор как-то сам собой зашел о том, что происходило в Польше.

— Вы задумайтесь, господа, — говорил Иванов, — отчего вообще случаются мятежи? Отчего добропорядочные отцы семейств вдруг оставляют всякий свое занятие и бросаются вместе с уличными мальчишками крушить, шить и ломать все подряд: и окна, и государственный порядок? Чего им недостает? Да покажите первому нашему нашему лапотнику усадьбу последнего польского крестьянина, и он скажет вам, что поляки зажрались, — и будет прав! В том-то и дело, господа, что чем больше у народа есть, тем он развратнее! Голодный не пойдет бунтовать и безобразничать, потому что будет думать, как поработать и накормить своих детей. А вот пресыщение рождает идеи. А чем кончаются все идеи? Не было еще и не будет такой идеи, которая не вела бы в конечном счете к беспорядку и резне, потому что любая идея, пусть и самая замечательная, противна природе. В природе-то идей нет! Идея отрицает сложившийся порядок, а значит, природу ради идеи. Как только торжествует идея, общество повергается в хаос, сытые становятся голодными. А голодный человек снова хочет порядка. И все возвращается на круги своя. Возьмите французов. Лавочникам захотелось привилегий и гражданских свобод. И что же? Они залили всю страну кровью, и первый же проходимец приструнил этих революционеров, объявив себя императором! Прошло пятнадцать лет, новое поколение отрастило себе брюшко, и, пожалуйста вам, все сначала. Это еще французы! А не дай Бог русский человек наестся досыта!..

— А что же Пугачев? — усмехнулся Шрайбер. — Или от сытости вырезали всех подряд казаки да калмыки?

Иванов снисходительно улыбнулся в ответ.

— Боюсь, доктор, что нашу пугачевщину и мятежом-то не назовешь. Мятеж есть некое сотрясение устоев, отрицание природы вещей, если хотите. Так сказать, плод цивилизации. А наши дикари не жалели живота своего ради законного государя! И поднимались с вилами отстаивать свой порядок вещей против узурпаторши и цареубийцы. А мятежниками в их куриных мозгах были мы с вами, любезный Петр Иванович!

— Все же посмею с вами не согласиться, — возразил Шрайбер. — Уверяю вас, что любые мятежи, революции, бунты — все эти кровавые игрища слеплены из одной глины. И глина эта — безнравственность. Если хотите, элементарная дикость. Мы привыкли считать себя верхом цивилизации, потому что обуздали пар, окружили себя книгами, изобрели громоотвод и представительную систему. Что ж из того? Увы, образование не ходит в ногу с нравственностью. Среди людей, призывавших, и с успехом, к убийствам, было полно образованнейших людей, возьмите Эбера, Карне или того же Лелевеля. Религиозные, социальные предрассудки, служившие поводами для всевозможных бесчинств, действительно, в какой-то мере порождение образованности, но варшавская революция есть порождение дикости уже потому, что созрела на национальной почве, ибо наиболее примитивный образ мыслей — образ мыслей патриотический. Чем больше в нации патриотизма, тем ближе она в нравственном отношении к варварскому состоянию. В поляке больше пыла, нежели резона. Народ этот, подобно незрелому юноше, пьяному своей первой преглупой любовью, пьян от любви к своей собственной национальности. С каким жаром побежали они за Наполеоном, с какой готовностью лезли на испанские ножи в Пиренеях только потому, что император умел бряцать на этой сладкой для польского уха струне. Просто говоря, не глупость ли вступать в войну с Россией, заранее проигранную? И не безнравственно ли звать свой народ на это самоубийство? В конце концов поляки живут в своей стране, не буйствуют, пользуются всеми правами и даже льготами, имеют даже свою конституцию — что еще нужно народу для благоденствия? Не безнравственно ли принорить в жертву жизнь, и свою и своих близких, только потому, что им не нравится считать себя подданными чужого царя? Будто это важнее, чем жить.

— А вы не допускаете мысли, — вдруг сказал Степан Иванович, который до этого только хмуро следил за разговором, — что их отчаянный мятеж есть порождение не глупости, не безнравственности, а оскорбленного человеческого достоинства? Не кажется ли вам, что безнравственность как раз в том, чтобы народ, будь то поляки, французы или русские, принадле-

жал одному лицу, или семейству, или касте? Дикость как раз в том, что народ существует для прихоти правителей, вместо того чтобы самому выбирать себе правительство, какое ему заблагорассудится. И если у народа это естественное изначальное право отнимается, я не вижу ничего предосудительного в том, чтобы народ отстаивал справедливость, пусть и с оружием в руках. Ведь вы же, если на вас нападут какие-нибудь мерзавцы и станут унижать вас, возьметесь в конце концов за палку, не так ли?

— Браво, — сказал Шрайбер. — Вы проповедуете народоправие. Но народ-то — дитя. Оставьте детей без присмотра, предоставьте им самим возможность жить, как им вздумается, а им наверняка вздумается играть с острыми предметами — далеко ли до беды? Нет, боюсь, что здесь не обойтись без отеческой твердой руки. Народу нужно вырасти, достичь совершенлетия, тогда и можно его предоставить самому себе. Взгляните на древние европейские народы, в них чувствуется взрослая разумность. А Россия хоть и на двенадцать дней моложе, но нагнать их тяжело. А Польшу сгубил Александр Павлович. Он вздумал лечить ее патриотический недуг свободой. И вот залечил. Это снадобье сильнодействующее, и пользоваться им нужно осторожно. Даже в самых гомеопатических приемах оно вызывает к себе болезненную страсть, подобно опиуму. Чем больше общество дышит этим дурманом, тем больше зелья ему надобно.

— Что ж в том такого? — перебил его Ситников. — Болезнь эта здоровая, швейцарцы доживают с ней до самой смерти. И поляки, не сомневайтесь в том, смогли бы с ней сладить, коли бы им не мешали.

— Каждый народ имеет ту форму правления, которая ему естественна, и не более того. Швейцария — республика, потому что в ней и последний пастух ощущает себя гражданином. Но вспомните — «мое учреждение лучшее, но только для Афин». Вы хотите попробовать учредить представительное правление в России, в стране, где сам воздух пропитан неуважением к личности, где народ темен и туп, где рабство не только узаконено, но впитано с материнским молоком, где, наконец, свободные — тоже рабы, если не по убеждению, то по воспитанию. Даю вам мою седую голову на отсечение, но то изнеженное семечко не взойдет в таком климате. А коли и примется, так *mutatis mutandis* \*. В этом уродце вряд ли вы найдете желанные черты.

— И тем не менее до татар и Москвы славянами правило вече. Человеческой природе естественно жить своим умом. И вообще, существу, наделенному собственным разумом, душой, волею, недостойно и неприлично жить, ежесекундно подчиняя себя произволу.

— Вече! Так ведь черемисы тоже решают, чью дочку подсовывать на ночь исправнику, на общей сходке. Что же из этого следует? Беда не в отсутствии парламента, конституции, а в невозможности их. Возьмите последнюю заразу. Отчего по России прокатились бунты? От бесправия? Какое там! Оттого, что в кармане у бабы холеру нашли! Народ этот нуждается не в республике, а в строгом правильном уходе. Вот вам яблочный спас. Как просто и как мудро: есть яблоки до Преображения — грех. А почему? Да потому, что ведь зеленые еще. Но зато в спас эти взрослые дитяти обжираются до того, что у всей России животы болят.

Разговор этот прервала Екатерина Алексеевна:

— Довольно, господа, — сказала она. — В конце концов вы не на римском рынке. Вы рассуждаете о народной свободе, а вам самим нельзя давать никаких прав: вы ведь готовы растерзать друг друга из-за двух десятков слов! И все ваши рассуждения не стоят выеденного яйца, потому что каждый живет так, как ему удобней. Одному легче сжиться со всем и плодить себе подобных, другому легче разбить себе голову о стену. Жертвуют собой, как любят, не для чего-то, не для достижения каких-то целей, а просто так, из внутренней потребности. Вот и все.

Потом она села за фортепьяно и стала играть что-то, глядя на свечи. Мы возвращались со Степаном Ивановичем на одном извозчике.

Дождь все еще продолжался, кое-где сугробы совсем сошли. Заборы еле виднелись в тумане и темноте.

— Вы простите меня, что потащил вас туда, — сказал я. — Думал развеять вас, и вот что получилось.

\* Сообразно с обстоятельствами (лат.).

Он будто очнулся и закивал головой невпопад.

— Да-да.

Потом он сказал:

— Знаете, этот доктор тысячу раз прав.

— О чем вы?

— Да о том, что мы с вами хуже черемисов. Эти несчастные холопствуют от невежества. А мы-то почему терпим все это? Повесили, сослали на каторгу честнейших, достойнейших из нас — мы стерпели. Теперь идут убивать целый народ, который не желает быть, подобно нашему, рабом, — мы снова терпим!

Какое-то время мы ехали молча. Потом он тихо добавил:

— Вы знаете, иногда больше всего на свете я ненавижу и презираю самого себя.

— Вы просто устали, Степан Иванович, — сказал я. — Посмотрите, на вас лица нет. Приедете домой и ложитесь спать. Все пройдет.

Он действительно был бледен, дрожал, кутался в шинель.

Я завез его на Большую Казанскую и отправился к себе, на Нагорную, утонувшую в грязи.

На следующий день на службу Ситников не пришел, прислал только сказать, что нездоров. Из канцелярии я сразу направился к нему. У Степана Ивановича был сильный жар, он лежал в жестокой лихорадке. Он выглядел осунувшимся, измученным приступами, следовавшими один за другим.

Когда я вошел, он попытался улыбнуться и прошептал бескровными губами:

— Ну вот, видите, что со мной, никуда не гожусь. Проклятая валахская лихорадка. За Дунаем от нее погибло больше людей, чем от турецких пуль. Третий год уже пошел, а все не отпускает.

— Был ли доктор? — спросил я.

— Что толку в нем? Он пропишет мне хины, а она, как видите, помогает мало. Да вы присядьте!

— Где ваш человек? Надо послать его немедленно за доктором!

Я вышел в другую комнату, где столкнулся тут же с литвином. Тот суетливо захлопнул створку буфета и, смахнув со рта крошки, сделал вид, будто протирает пыль. Я велел ему сейчас же отправляться к Шрайберу и написал на листке бумаги адрес и несколько слов с просьбой сразу же приехать.

Когда я вернулся в комнату, Степана Ивановича снова начало трясти. Лицо его было все в поту, губы дрожали. Он кутался в одеяло, все никак не мог согреться, и я накрыл его еще шинелью.

Через какое-то время лихорадка отпустила, и он, измученный пароксизмами, заснул.

Я просидел у него до самого вечера.

Пришел Шрайбер, но, увидев, что Ситников спит, не велел будить его и сказал, что зайдет на следующий день.

— Пусть спит, — сказал он, уходя. — Сон лечит лучше всякого доктора. А доктор что? Он перед природой бессилен. Представьте, принимал вчера роды, очень тяжелые. Ребенок родился здоровенький, а мать сейчас умерла. Хорошенькая такая мещаночка из Подслужной. Вот так-то.

Он тяжело вздохнул, потом усмехнулся:

— Поеду ужинать. Доктору ведь чья-то смерть не может испортить аппетита. Иначе какой же это доктор?

И он сказал еще что-то по-татарски.

Приступы лихорадки продолжались три дня, и каждый раз после службы я отправлялся к Степану Ивановичу и сидел у него до позднего вечера. Мы говорили.

Я вспоминаю наши болезненные, безоглядные, бесконечные, бессмысленные споры.

Ничто не может так сблизить чужих, далеких людей, как ненависть. Мы ненавидели с ним одно и то же до ярости, до бешенства: узаконенное

рабство и холопство от души, дикость мужиков и хамство властителей, государственную страсть загнать свой народ в казарму, а соседние придушить, и главное, невозможность жить в России достойно, без постоянных, от рождения до смерти, унижений. Кто не родился русским, тот не знает, что значит жить и носить эту ненависть в себе, как нарыв, терпеть эту муку в одиночку. Кто не жил в России, тот не знает, как изъедает эта ненависть изнутри, как выедаёт душу, как отравляет мозг. Кто, кроме русских, умеет так ненавидеть свою страну?

Нас сближала ненависть, но не более того.

Разговоры наши были безумными, мучительными. Мы спорили изо дня в день об одном и том же, не умея ни убедить друг друга, ни хотя бы понять. Его суждения казались мне наивными, а вернее, губительными. Он же злился, что я не могу понять вещей, для него очевидных. Между нами была стена утомительного, искреннего непонимания. Эти бесплодные споры доводили нас до ожесточения, до досады.

Он ненавидел Николая, видел в нем палача, не мог простить ему тех пяти повешенных, сожалел, что заговорщики не довели намерений своих до конца.

— Хорошо, представьте себе на минуту невероятное, фантастическое, — убеждал я его, — что русский трон достался порядочному человеку. Он полон негодования, пыла, усердия, любви. Он всей душой хочет распутать наконец этот узел, и ему даже кажется, что он знает, как подступиться к нему, видит тот самый конец, за который нужно тянуть. И вот он тянет, а толку нет. Тащит что есть силы за другую веревочку, третью, а узел все туже. И не дай Бог еще рубить сгоряча начнет. В конце концов он плюнет, смирится и станет делать лишь то, что от него требует должность: расширять границы да поддерживать дисциплину в разболтанном отечестве, потому что в России чем больше у тебя власть, тем ты бессильней. Русский государь, пусть свирепый самодур, пусть ученый немец, всегда будет только петрушкой в этом балагане.

— Но почему, почему, — прерывал меня Степан Иванович, — это ничтожество, этот выскочка, дорвавшийся до короны через голову брата, этот недоучка с амбициями капрала должен править мною, вами?! Порядочного человека палками не загонишь на русский трон! Теперь по его приказу будут вешать поляков, вся вина которых состоит лишь в том, что они не растоптали в себе, подобно нам, чувство собственного достоинства. Как, скажите, как жить в стране, где на троне преступник?

Я убеждал его, что мысль о царевубийстве приходит хоть раз, но каждому русскому, и главное — преодолеть, отбросить ее, потому что они посадят себе на шею еще кого-нибудь, в десять раз хуже. Но он не слушал меня.

— Да ведь я, я тоже живу в России, я тоже русский! И никто меня никогда не убедит, что я рожден для скотской жизни! Ну почему я, одаренный в той же степени собственным разумом, волею, чувствами, должен подчинять и тело мое, и душу произволу другого существа, отличающегося от меня только властью? Вы, я, тысячи людей в России готовы хоть с завтрашнего дня начать человеческую жизнь. Нас держат здесь всех в мешке. Эта шайка безнаказанно душит нас, а мы только мычим, потому что не верим в собственные силы. В России достаточно образованных, честных, совестливых людей, которые не могут мириться с произволом, пусть даже это будет стоять им жизни. Вспомните 14 декабря. На каторгу пошли сотни, а в России их тысячи. В конце концов в России есть общество. Оно безгласно, оно парализовано страхом, но надо только начать! Если телегу не толкать, она и не поедет.

— *Opinion publique*,\* — понимаю. Там, в Париже, правят журналисты. Но общество, общественное мнение — пустой звук, абракадабра, нонсенс. Здесь какое прикажут, такое мнение и будет. В телегу надо запрягать образование и тогда дело рано или поздно двинется само собой.

— Восстание в Варшаве начала школа прапорщиков, а поднялся за несколько дней весь народ.

— Из-за нескольких горячих голов, которые потом и раскаиваться не

\* Общественное мнение (фр.).

будут, в тысячи домов войдет смерть. Это все просто самоубийство. Это уже не геройство, а безумство, глупость.

— Но и жить так невозможно, вы понимаете? Невозможно!

Так часами мы говорили, как выражаются немцы, мимо друг друга.

Помню тот вечер, когда после болезни Степан Иванович впервые вышел на свежий воздух. Мы гуляли вокруг Черного озера, делая круг за кругом.

Шел сильный снег, валил огромными хлопьями, цеплялся к ворсу шинели, и приходилось все время стряхивать его с рукавов, с плеч, но снежные погоны снова вырастали за одно мгновение.

Я убеждал его, что человеческое счастье или несчастье зависит не от общественного устройства, а от личной судьбы.

— Да-да, — кивал он головой. — Надо что-то делать, надо что-то делать.

На масленицу Екатерине Алексеевне взбрело в голову кататься на татарах. Катания эти были казанским дополнением к обычным русским блинам, и я отправился нанимать пошевни на Рыбный рынок, куда из окрестных деревень к масленице съезжались на своих лубяных санках возчики. Ночью накануне шел снег, с утра немного подморозило, деревья стояли заснеженные. На улицах былолюдно. На Рыбнорядской с самого утра стоял гомон от масленичного столпотворения. Я сторговался за пять рублей ассигнациями с каким-то татаринном, который приехал в Казань с сыном. Он все гундосил:

— Не обмани, бачка! — и скалил сгнившие зубы.

На сиденье и на задок санок были накинуты яркие домотканые ковры. Лошадям в гриву и хвост вплетены были разноцветные ленты. Воздух звел от колокольчиков.

Катались сперва вчетвером. В санки к старику села Екатерина Алексеевна с Ивановым, во вторых пошевнях ехал со мной Шрайбер. Молодой татарин в озяме из белого домашнего сукна с ярлыком на спине, в бараньей шапке визжал беспрестанно и немилосердно сек своих лошадок, стараясь заработать побольше на водку.

Сперва мы помчались через весь город в Мокрую слободу. Пар вырывался из лошадиных ноздрей белыми клоками. Сухой мерзлый снег скрипел и визжал под полозьями не хуже татарина, брызгал из-под копыт.

Потом Екатерине Алексеевне вздумалось взять с собой кататься Ситникова. Это было тем более странно, что после того визита она даже не вспоминала о нем. Я стал говорить, что выйдет неловко, что он и не поедет с нами, что не стоит его беспокоить, он только оправился после болезни, но в глазах ее уже было какое-то злое упрямство.

Мне казалось невозможным, чтобы он дурачился вместе с нами, и я надеялся, что мы не застанем его дома. Но все вышло совсем не так, как я ожидал. Увидев шумную компанию на пороге, Степан Иванович вдруг преобразился, будто в один момент натянул на себя маску добродушного весельчака, масленичного гуляки, которая вовсе не шла к нему, и я не сразу понял, зачем это ему. Он быстро оделся, и мы поехали впятером, распив прямо в пошевнях бутылку шампанского.

Иванов свистел, выхватив у татарина кнут, хлестал им пьяный гулящий люд, так и бросавшийся под копыта, и выкрикивал в морозный воздух вирши. Екатерина Алексеевна смеялась, срывала на лету снег с сугробов, бросалась снежками, которые рассыпались в воздухе и осыпали нас, ехавших следом, снежной колкой пылью.

Шрайбер повез нас на Кабан, где на масленицу каждый день шли кулачные бои между татарской слободой и русской суконной. Насладиться этим диким зрелищем нам не удалось в полной мере, потому что приехали мы, что называется, к шалочному разбору. По истоптанному заснеженному льду разбросаны были рукавицы, драные армяки, кое-где виднелись на снегу алые точки. Кучками дрались еще мальчишки. Зеваки, которых набиралось на берегу достаточно, уже разошлись. С татарской стороны возвращались зарвавшиеся бойцы, преследовавшие поверженных врагов до самого их берега.

Помню, как Екатерина Алексеевна стояла, прислонившись к стволу столетней ивы, которая летом поднималась из воды, а тогда была вся в снегу.

— Они дерутся так всякий праздник, — рассказывал Шрайбер. — А самое интересное бывает, когда случается одолевать татарам. Они преследуют русских даже в их избах. Вот там-то начинается настоящая баталия. Там уже бьются чем ни попало и старики, и бабы. В этом есть что-то здоровое. Эти люди настолько близки к природе, что в них клокочет чересчур много крови. Им время от времени необходимо спасительное кровопускание.

— Поедемте, господа, ко мне, — вдруг предложил Степан Иванович. — И приготовим жженку!

Все это было так не похоже на него, и то, что он поехал тогда с нами, и это его неожиданное предложение. Мне казалось, будто он хочет сыграть какую-то роль, сделаться таким же, как все они. Будто ему хотелось избавиться от самого себя.

На Воскресенской, во французском ресторане, мы купили фруктов, вина и специй, теперь мы сидели с Екатериной Алексеевной вдвоем, и я поставил в ноги корзинки с бутылками и апельсинами. По дороге, увидев, что у меня мерзнут уши, она стала оттирать их снегом, а потом вдруг поцеловала меня.

Мы поужинали холодной телятиной и сыром, потом принялись варить жженку. В медный тазик вылили две бутылки белого рома. Туда положили сахар, всякие пряности, подожгли. Литвин вынес из комнаты свечи, и комнату освещало только голубое мерцающее пламя. В его отблесках светились в полумраке лица. Екатерина Алексеевна положила мне голову на плечо. Руки ее пахли апельсинами, с которых она снимала кожуру. Потом залили пламя лафитом. Внесли свечи, и Екатерина Алексеевна стала разливать жженку в бокалы. Ситников поднял тост за Гебу, черпавшую вино на Олимпе, все кричали «ура» и пили. Огненное вино сразу ударило в голову. Екатерина Алексеевна сидела, забравшись с ногами, в глубоком кресле, а мы пили за нее бокал за бокалом и быстро пьянели.

Пустому разговору, больше похожему на сплетню, я не придал тогда никакого значения. У всех на устах была в Казани в то время фамилия Ивашева. В Сибирь, к своим мужьям, участникам заговора двадцать пятого года, разделить тяготы каторги ехали одна за другой жены этих несчастных. Их жалели, им сочувствовали, если не открыто, то в гостиных. Вокруг же невесты Ивашева, моего симбирского земляка, снежным комом росли какие-то истории, домыслы, невероятные догадки.

Говорили, что старики Ивашевы, убитые горем, не зная, как утешить сына, который, по слухам, пытался и в крепости, и в Сибири наложить на себя руки, вспомнили о его юношеской любви, поехали сами в Москву, разыскали там бывшую гувернантку и предложили ей за дочь Камиллу, юношескую пассию их сына, большие деньги. Та вроде бы сначала и слушать ничего не хотела, а может, лишь набивала цену, и вот в конце концов Камилла была принесена в жертву ради младших сестер, которым обеспечено было теперь богатое приданое. Как бы то ни было, Камилла с матерью находились в Ундорах и готовились к долгой дороге.

Екатерина Алексеевна говорила об этой девушке уничижительно и называла ее презрительно Камишкой.

— Не понимаю, — сказал я, — почему вы так говорите о ней. Неужели подобный проступок не вызывает уважения? Ведь она жертвует собой, не важно, для сестер ли, для него.

— Смеею вас уверить, — сказала Екатерина Алексеевна, — что она делает это не для него, тем более не для сестер, а для себя. А самое смешное то, что она вовсе не любила никогда этого Ивашева. Вернее, любила, но вовсе не того человека, к которому собирается. Если это правда, что она чахла по нему восемь лет, то он-то здесь, во всяком случае, ни при чем. Она не его любила, а саму идею — принести жизнь свою в жертву любви и, не сомневаюсь, была не на шутку счастлива, так бы и умерла в этом блаженстве, если не вся эта затея с каторжной женитьбой. Даже страшно себе представить, что будет с этой девочкой, когда они теперь наконец встретятся. Не приведи Господь жить одним домом и вести хозяйство с мечтой всей своей жизни да еще при каторжных обстоятельствах! А вдруг она не



узнает своего избранника через столько лет? Вдруг бросится при первом же свидании на шею кому-нибудь другому?

— Поступок этой девушки кажется вам глупостью? — вдруг спросил Степан Иванович.

— Если хотите, блажью. Во всяком случае, принесение себя в жертву людям ли, собственным ли выдумкам не требует благодарности, более того, не стоит ее. Самопожертвование сладостно, оно дает упоение, за что ж здесь благодарить?

— Похоже, вы не решились бы на такой поступок.

— Всякий человек способен и на любую подлость и на беспримерный подвиг, но кто знает, что случится с нами завтра. Смертному не дано видеть дальше своего носа.

Она рассмеялась.

В тот вечер я отвезил ее домой.

На улице было холодно и светло от луны.

Я посадил ее в санки, укутал ноги шубой. Мы катили по пустынным улицам. В ночной тишине особенно звонко скрипели полозья, храпела лошадь, били о наезженный снег копыта.

Екатерина Алексеевна снова положила мне голову на плечо.

— Саша, скажите, что вы меня любите, — вдруг попросила она.

— Я люблю вас, — сказал я.

— Так чего же вы ждете, увезите меня куда-нибудь!

— Куда же мне везти вас, если вы никуда со мной не поедете?

— А вы не спрашивайте, увезите силой, куда-нибудь далеко, подальше от этой страшной Казани, украдите в конце концов!

— Вы будете звать на помощь.

— Свяжите меня, заткните мне рот, черт возьми!

Я ничего не отвечал. Мы долго ехали в молчании. На сугробах лежали черные резкие тени домов. Следы полозьев ярко блестели в лучах месяца.

Потом я сказал:

— Зачем вы говорите мне все это? Вы не боитесь, что я и вправду украду вас?

— Нет. — Она подняла голову и, вытащив из муфты руки, поправила свою шапочку. — Не боюсь.

Мы завернули на Грузинскую и подкатали к ее крыльцу. Я помог ей вылезти из санок и поцеловал ее озябшие руки.

— Вы смешны, Сашенька, — сказала она мне на прощание.

Настал Великий пост. Унылый звон колоколов призывал еще не протрезвевший люд к молитве. По домам ходили татары, выпрашивая «поганных» блинов, что оставались от праздника.

Неожиданно Степан Иванович уехал из Казани.

Еще во время его болезни я уговаривал его под видом командировки поехать полечиться на наши местные воды, хотя бы в те же ивашевские Ундоры, где были целебные, известные на всю округу источники, но он и слышать ни про какие лечебные ключи не хотел. А тут вдруг решил, выхлопотал себе, как я ему и советовал, назначение осматривать корабельный лес там, где его и в помине не было, выправил подорожную и уехал.

Накануне, перед самым отъездом, он зашел ко мне домой. Степан Иванович был какой-то рассеянный, не слышал, что я ему говорил, то и дело переспрашивал. Он попросил, чтобы я забирал с почты письма, которые будут приходиться на его имя. Мне все казалось, что он пришел сказать что-то. Уже уходя, в дверях, Степан Иванович замешкался, остановился, будто решаясь, потом махнул рукой и, ничего не сказав, вышел на крыльцо.

Я пожелал ему счастливого пути, ничего не понимая в ту минуту и ни о чем не догадываясь. Тогда его еще можно было окликнуть, попытаться объяснить что-то, образумить, спасти.

Потянулись тоскливые великопостные недели.

Как-то после обеда ко мне робко постучалась Улька, служанка Ноль-

де, осыпанная бородавками. Не говоря ни слова, она разрыдалась, и я порядком намучался, прежде чем добился от нее, в чем же дело.

— Александр Львович, меня ваш Михайла обрухатил! — она снова заголосила.

— Чего ж ты ревешь, дура? Вот мы вас и поженим! Свадьбу справим, погуляем. Я у вас посаженным отцом буду! Хочешь?

Она заревела еще пуще.

— Я-то хочу, а вот Михайла ни в какую. Я, говорит, на тебе не женюсь, и не думай. Любовь, говорит, любовью, а жить я с тобой не хочу.

То-то Михайла накануне ушел в запой, чего раньше за ним не замечалось, и валялся теперь на сундуке в прихожей, изредка издавая жалобные стоны.

Я пытался утешить бедную Ульку, как мог, и обещал, как только он протрезвеет, во всем разобраться.

На следующее утро я растолкал его и стал допрашивать еще очумелого, непроснувшегося.

— Да как же, Александр Львович, я на ней женюсь? — чуть не зарыдал в свою очередь теперь Михайла. — Вы только посмотрите на нее! Да чем с такой жить, лучше пойти сразу удавиться! Я ведь хочу, чтобы все по-людски было, чтобы девка красивая была, молодая!

— Так какого ж черта, ты, сукин сын, сундук с ней давил?!

Михайла пожал плечами и, казалось, сам недоумевал теперь вполне искренне.

— Бес попутал, Александр Львович!

Я стал ему втолковывать про святость семьи, про силу брачных обязательств, про совесть, про достоинство и тому подобное. Он слушал, отвернувшись к стене и шмыгая носом. Потом буркнул сквозь зубы:

— Сами вы хороши, Александр Львович! Нина Ильинична дома хотела руки на себя наложить, а вам плевать.

Помню, в первое мгновение я рванулся ударить его, но сдержался, усмехнулся только и сказал ему:

— Ну что ты понимаешь! Иди лучше печку истопи, дурак!

В тот же день, когда я вернулся со службы, Михайла и Улька сидели вдвоем в людской за графинчиком, играли в подкидного и ворковали как два голубка.

На выходе из кремля, у Ивановского монастыря я столкнулся с Татьяной Николаевной, женой Солнцева, у которого не был с того самого дня, когда ушел из их дома, хлопнув дверью.

— Милый Александр Львович, что же вы нас совсем забыли, — зашептала она. — Куда ж вы пропали? Мы все время вас вспоминаем, а нашей старушке вы совсем вскружили голову. Все никак вас не дождетя. Нехорошо, нехорошо!

— Право, — растерялся я, — не думаю, чтобы Гавриил Ильич был рад меня видеть. Я был несколько дерзок и наговорил в прошлый раз всякой всячины.

— Пустое! Гавриил Ильич очень вас любит! Вас вспоминая, говорит все время: какой горячий хороший юноша! Заходите, заходите к нам попростому, как раньше!

Она отпустила меня лишь с тем условием, что я снова буду приходить к ним обедать.

На Благовещенье я опять отправился к Солнцевым. Помню, что по дороге мне встретилась партия рекрутов, перепуганных, сбившихся в кучу, большей частью состоявшая из черемисов и вотяков, которых гнали через всю Россию убивать поляков.

В доме было тихо. Увидев меня, Татьяна Николаевна замахала руками и зашептала:

— Ради Бога, Александр Львович, не обижайтесь! Все одно к одному, как что-то не заладится. Гавриилу Ильичу нездоровится, и мы никого не принимаем.

Только я хотел откланяться, как дверь в гостиную распахнулась и на пороге появился сам Солнцев. Он был пьян и страшен. Он подошел ко мне,

шаркая турецкими туфлями, на нем был толстый татарский халат и вязаные чулки.

— Прошу за мной, — сказал он голосом, не терпящим возражений.

Татьяна Николаевна смотрела на нас испуганно. Я пожал плечами и прошел к нему в кабинет, который весь был в книгах. Он уселся на диван и уставился на меня тяжелым пьяным взглядом. Я сел в кресло напротив него.

— Что сегодня за день? — вдруг спросил Солнцев.

— Благовещенье.

Он захохотал.

— То-то полиции прибавится сегодня работы!

— Отчего же? — не понял я.

— А это поверье такое существует: кто в этот день удачно украдет что-нибудь между утренею и обеднею, то может потом целый год воровать, не опасаясь, что его поймают.

Он вздохнул.

— Вот так-то, юноша.

— Смеею заметить, Гавриил Ильич, — сказал я, — что я уже давно не юноша.

Он махнул рукой.

— Да какая разница! Ты мне, свет Александр Львович, все одно в сыновья годишься.

Солнцев вдруг схватил меня за шею, привлек к себе, прижался своей мокрой ключевой щекой и зашептал на ухо, обдавая меня пьяным дыханием:

— Да ты разве жил? Ты и не жил еще, свет Александр Львович! Тебя, юноша, еще жизнь на зуб не пробовала!

Я вырвался из его объятий.

Он снова захохотал.

— Пей со мной! Не хочешь? Чванишься? Ну так я один выпью!

Я хотел встать и уйти, но он не пустил меня.

Какое-то время мы сидели молча. Потом он вдруг стал рассказывать про то, как его изгоняли из университета. Магницкий, получив донос о том, что лекции Солнцева основаны на разрушительных началах, велел устроить над ним университетский публичный суд. У студентов отобрали тетради, и целая комиссия во главе с Лобачевским сверяла записи студентов с рукописями, которые были изъяты у Солнцева, чтобы уличить его, если он что-нибудь выбросил. Комиссия исполнила поручение добросовестно и подготовила донесение о том, что нашла много расхождений. Устроители суда, среди которых были все товарищи Солнцева, даже разыскали студентов, которые давно уже служили учителями кто в вятской, кто в пензенской гимназии, и допрашивали их под присягой.

— А суд-то, суд! — кричал Солнцев, бегая по комнате в распахнувшемся халате. — Пальмин, мерзавец, которого я продвигал, которому помогал, составил двести семнадцать вопросных пунктов. Двести семнадцать! А мне, юноша, представьте себе, даже забавно было! Да-да, забавно представить себе, как это я войду к ним туда, и они посмеют смотреть мне в глаза. И ничего, и в глаза смотрели, и в лицо говорили все, что полагалось, и вышвырнули меня из университета единогласно! А потом, после суда, по одному приходили ко мне прощения просить. Гавриил Ильич, говорили, подлость простить невозможно, но вы хоть по старой дружбе поймите: обстоятельства, жалованье, семейство. А я зла на них не держу, нет. Я им простил. Даже не знаю, кто тот донос написал из них, а простил. Потому что подлость-то как раз как не простить!

— Что вы такое говорите, Гавриил Ильич? — не выдержал я. — Оттого и живем в подлости, что все друг другу прощаем!

— А я простил! И всю подлость человеческую прощаю! Всю, какая была, и всю будущую! Прощаю!

Я не мог больше слушать его пьяных криков, встал и ушел.

Известия из Польши становились все тревожнее. Вся Россия, затаив дыхание, следила за этой братоубийственной войной. Огромная русская армия перешла границы царства. Передавали слова Дибича, что кампания продлится ровно столько, сколько переходов от границы до Варшавы.

Вся польская армия была по крайней мере впятеро меньше русских войск.

Ненависть к русским была такая, что поляки вооружались всем, чем могли. Во всех кузницах оттачивали косы, ковали наконечники для пик.

Все сильнее ходили слухи о наших неудачах. Наконец пришло известие о разгроме корпуса Гюйсмара, а с ним и весть о гибели в этом деле Белолобова. Пуля попала ему в живот, и он промучился лишь до следующего утра.

В Казани, в Морской слободе, жила его мать. К ней стали ездить с болезнованиями. Отправился к ней в Морскую и я.

Вся в черном, убитая горем, бедная женщина сидела на стуле посреди комнаты, прижав платок к губам и глядя куда-то за окно. Я поцеловал ей руку, сказал несколько слов, подобающих случаю. Она перевела взгляд на меня. Ее изможденное лицо выдавало бессонную, залитую слезами ночь.

— Вы были его другом? — вдруг спросила она.

Я замялся.

— Мы были с ним знакомы.

Она схватилась за голову.

— Какой ужас! Я ведь ничего, ничего о нем не знаю! Только придет и сразу убежит. Ничего про себя не рассказывал, все ему некогда было!

Она заплакала, и я поспешил перейти в соседнюю комнату, где какой-то прилизанный фиксатуром господин предлагал всем помянуть погибшего. Вокруг столов, на которых была расставлена закуска, стояло несколько человек, в основном мне не знакомых. Там же я встретил Иванова, уже пьяного, который сообщил, что заехал еще утром и все никак не уедет. Он объяснил мне, что этот господин был вторым мужем Белолобовой, которого покойный ненавидел, что было у них взаимно.

Я выпил за бедного Белолобова рюмку водки, закусил маслятами и уехал домой.

Совершенно случайно я узнал, что в Казань вернулся Степан Иванович. Было странно, что он не зашел, не прислал записки, тем более что он собирался пробыть на источниках месяца два, а возвратился почти в половину срока. Я испугался, что с ним в дороге случился приступ болезни, и сразу поспешил на Большую Казанскую, прихватив с собой несколько писем, которые пришли на его имя за это время.

Мне открыл его слуга, заспанный, в одном исподнем, в наброшенном на плечи старом хозяйском халате, все это несмотря на то, что был пятый час пополудни.

— Барин дома? — спросил я.

Он прошепелявил в ответ, что Степан Иванович никого не велел принимать.

— Что с ним такое? Нездоров?

— Почему я знаю? — Литвин зевнул и пожал плечами. — Вторые сутки, как приехали, заперся у себя и бесится.

— Что ты мелешь? Пойди доложи обо мне!

— Не верите, поднимитесь к нему сами. Я больше туда не пойду. Рычит только да дерется.

Я отпихнул его и бегом поднялся по лестнице.

В первой комнате валялись на полу неразобранный саквояж, складной походный самовар, сапоги, заляпанная грязью шинель. Я осторожно приоткрыл дверь во вторую комнату. Там был полумрак. Степан Иванович одетый лежал на кровати, подложив руки под голову, и глядел на меня. Глаза мои привыкли к темноте. Я заметил, что он был не брит, исхудал, осунулся и вообще выглядел плохо.

Я вошел.

— Степан Иванович, что с вами?

Он молчал.

— Я как узнал, что вы вернулись, сразу к вам. Думаю, не дай Бог, опять заболел. А тут ваш слуга плетет сам не знает что.

Он, ни слова не говоря, отвернулся к стене. Все это было очень странно. Я подошел к нему.

— Да что с вами такое? Вам плохо? Я сейчас пошлю за врачом.

Он вдруг вскочил на кровати и взглянул на меня со злостью, даже с ненавистью.

— Господи, вам-то что от меня нужно!

Я растерялся от неожиданного тона.

— Я принес вам письма. Вы просили.

Я протянул ему их. Он выхватил письма у меня из рук и швырнул на стол.

— Подите вон! — вдруг крикнул он мне.

Опешив, я не знал, что сказать. Потом, пожалв плечами, вышел.

Я никак не мог прийти в себя и несколько раз прошагал улицу из конца в конец. Я был в ярости, в бешенстве, потому что ничего не понимал.

Потом был тот яркий апрельский день.

Воскресным солнечным утром я отправился на Булак. С крутого кремлевского спуска как-то неожиданно открылась вся казанская ярмарка, вереницы барж и лодок, бесчисленные лавки, яркие толпы на набережных. Головы в разноцветных тюрбанах, платках, шапках роились, ныряли, пестрели, как яблоки с упавшего в реку воза. Толпа подхватила меня и понесла к Кабану. Торговали и вразнос и прямо с лодок. Над ярмаркой стоял гул, все кричали, расхваливая товар. В глазах рябило от глыб халвы, грудями лежал розовый, лимонный рахат-лукум, всюду были пирамиды засахаренных слив, вишен, груш.

Вдруг в самом людвороте я увидел Екатерину Алексеевну. Изо всех сил она дула в свистульку, но это пронзительное верещание тонуло в общем гаме. С ней был Степан Иванович. В руке он держал какой-то кулек. Она взяла его под руку, и они отправились дальше, тоже по направлению к Кабану, в нескольких шагах впереди меня. Нас сразу же разделила толпа. Сперва я даже хотел их окликнуть, догнать, но сразу же одумался и пошел сам по себе, проталкиваясь, заглядывая во все лавки, вырываясь из цепких рук татар-торговцев.

Я то терял их в этой оглушительной толчее, то чуть не наталкивался на них, прижатый людским потоком. У самого моста я увидел их в последний раз.

На обратном пути взял извозчика.

Я вдруг расхохотался и долго не мог остановиться, хотя извозчик обращался на меня все с большим беспокойством.

Расплатившись, я спросил, часто ли ему попадают такие чудные сидоки.

Он аккуратно спрятал деньги в мешочек, завязав его каким-то хитрым узелком, и потом, уже трогая, пробурчал:

— Да что, мил человек, ты один такой, что ли? Кто ни сядет, все какой-нибудь чудик! Вон вас сколько.

Я смеялся над самим собой.

Этот человек, которого я считал чуть ли не за друга, был мне гнусен и отвратителен.

Я умудрился простыть и всю страстную неделю провалялся в постели, глядя на опостылевшую литографию над диваном, некогда приглянувшуюся мне, с видом какого-то Регенсбурга, в существование которого невозможно было поверить.

Амалия Петровна выхаживала меня всякими припарками и примочками, заставляла пить горячее масло, едва разведенное молоком. Она укутывала меня, баловала какими-то пирожками-шариками, приготовленными по одному известному лишь ей рецепту, и отчитывала, как дитя, если я вставал с кровати. Несколько раз, обмолвившись, она назвала меня Сережей.

В пятницу во всем доме запахло ванилью и миндалем, пекли куличи, готовили пасху, варили луковую кожицу для крашения яиц.

В субботу мы отправились ко всеобщей все вместе. Я вышел на улицу впервые за всю неделю.

Пасхальная ночь была свежая, ветреная. Еще днем, после полудня, прошел дождь, и к полночи все еще капало с деревьев. Сквозь пятна обла-

ков проступало звездное небо. Праздничные плоски у ворот мерцали в темноте.

На обратном пути и потом, дома, когда сели разговляться, старики все вспоминали своего Сереженьку, каким он был в детстве. Помню, что я сидел и слушал зачем-то все эти бесконечные истории, как ребенок ошпарил себя кипятком и тому подобное, и все почему-то не мог заставить себя уйти.

Заснуть в ту ночь я долго не мог и тогда впервые, кажется, за все это время вспомнил Нину. Мне вспомнилось, как в то первое наше лето нам вдруг вздумалось устроить пикник в лесу. Целую неделю шли дожди, и в тот день погода с утра стояла дурная, но мы все равно поехали, загадав, что к полудню пройдет. В лесу было сыро, и с деревьев нас шумно осыпало крупным дождем. Михайла сидел на козлах, и, помню, мы долго хохотали над тем, как веткой у него смахнуло картуз. За нашей коляской ехала телега с самоваром, угольями, всевозможными припасами, огромной величины астраханским арбузом и кадушкой со льдом, в которой стояла форма с мороженым. На поляне, на краю оврага, развели огонь, рядом расстелили на траве большой персидский ковер, чтобы дым отгонял от нас мошек и комаров. Пока мы ехали, ветер действительно разогнал тучи, и мокрый лес сверкал в ярком солнце. В другой яме развели еще один костер, в дым которого поставили лошадей для защиты от слепней и оводов. Самовар долго не разжигался, дымил и вовсе не хотел греть воду. Мы валялись на ковре, ели арбуз и смотрели, как клубы дыма сверкали в солнечных лучах, пробивавшихся сквозь ветви, и становились плотными, будто по лесу плыли куски полотна.

Было очень сыро, и скоро мы поехали домой. Нина положила голову мне на колени, и волосы ее пахли дымом.

До сих пор не могу понять, что заставило меня в тот день, когда я собирался на именины к Анне Васильевне, супруге Кострицкого, зайти к Солнцевым. Верно, есть какое-то высшее, непознанное еще чувство, которое ведет нас, слепых, туда, куда нам надо идти, ничего не объясняя, ничем не оправдываясь.

С самого утра моросил дождь. У ворот особняка Солнцева меня обогнала крытая коляска, в которой старуха ездил обычно в церковь, и у крыльца я наблюдал за сценой, как кучер и дворник вынимали неподвижную хозяйку. Горничная суежилась, не зная, где держать зонтик, над креслом или над старухой, у которой зацепилась за что-то юбка.

Сели пить чай. От дождя в комнате было темно, и внесли свечи. Татьяна Николаевна была одета неряшливо, разливала чай неаккуратно, чуть не опрокинула чашку и скоро ушла в детскую: опять болел кто-то из детей.

Гавриил Ильич был хмур, молчалив и не смотрел на меня.

Разговаривал без передышки некий Безносов, кряжистый, с обветренным лицом мужчина, один из степных родственников Татьяны Николаевны. От него, несмотря на видимую свежесть белья, исходил неистребимый запах навоза и конюшни. Помню, он рассказывал, как умер их сосед, подавившийся костью.

— Она ему горло прошила, как игла, и вот тут вышла, вот тут. — Он тыкал бурым корявым пальцем в свою крепкую воловью шею. — Покойник как закричит: «Не вынимайте, не вынимайте!» Глаза из орбит лезут, изо рта пена, весь красный сидит, хрипит что-то. Доктор если и придет, то только на следующий день. Решили: чего ждать? Схватили кончик пинцетом и выдернули с кровью. Тут он и помер у всех на глазах!

Так этот Безносов продолжал в том же духе, пока Солнцев вдруг не рассказал, что за несколько дней до того у него был генерал Ивашев, находившийся в Казани проездом в Петербург, куда он ехал по-прежнему хлопотать за сына.

— Возможно, это будет вам интересно, Александр Львович, — обратился он ко мне. — Вы человек горячий, с языком, а сейчас плохое время для речей. Будьте осмотрительней.

Ивашев рассказал ему, что жандармское ведомство подослало к нему в Ундоры провокатора, какого-то офицера, который, представившись последователем декабрьского дела, предложил план освобождения его сына и вообще возмущения там, в Сибири, и просил о содействии. Этот офицер

убеждал старика, что нужно только начать и вспыхнет вся Сибирь и весь Урал. Возмущенный генерал прогнал его.

— Что с вами, Александр Львович? — закончил Солнцев.

— Нет-нет, ничего, — сказал я и поспешил уйти. Я вышел на улицу, не видя ничего кругом, как оглушенный.

Весь вечер у Кострицких я провел как в каком-то полусне.

Я пришел много позже назначенного времени, но за стол еще не селись, а гостей было всего несколько человек. Зала, в которой обычно играли в карты, преобразилась, была пуста, мебель всю из нее вынесли, оставив лишь фортепьяно. В столовой был накрыт длинный роскошный стол. Слуга Кострицких, неуклюжий, нечистый, всегда ходивший в засаленном сюртуке с голыми руками, вдруг вышел во фраке, в белых нитяных перчатках с серебряным подносом.

Анна Васильевна была в голубом с кружевами платье с декольте. Белые длинные перчатки еле сходились на ее пухлых руках.

Кроме меня были еще Барадулин и Пятов. хотя на именины были приглашены все чиновники с женами. Мы кучкой стояли в углу большой залы, поглядывая украдкой на часы.

Наконец, сели за стол влятером. Обилие лишних кувертов было неудобно и унизительно, но Анна Васильевна делала вид, что ничего особенного не происходит, что все так и должно быть, хохотала много, по всякому поводу и без причины, смех ее скорее был нервным, чем веселым.

Пили много. Беседа не клеилась, и тосты за здоровье именинницы следовали один за другим. Анна Васильевна строила всем глазки и пила с каждым по очереди на брудершафт. Меня она тоже облизнула своими горячими губами.

Старшую дочку, Сонечку, посадили за фортепьяно, и она стала играть по нотам вальсы, раскачиваясь, как метроном, и то и дело сбиваясь. Анна Васильевна вальсировала со всеми, даже вытащила из-за стола Пятова, которого громко чмокнула потом в плешь, исцарапанную птичьими коготками. Со мной она танцевала чаще других, напевала что-то и горячим шепотом щекотала мне ухо. Вдруг она заплакала и стала говорить, что чиновничьи жены устроили против нее заговор: каждая прислала сказать, что ей нездоровится, и мужей не пустили. Потом она снова захохотала.

— Ах, Александр Львович! Что вы со мной делаете? Вы меня совсем закружили!

Мою руку она сжимала так, что на коже оставались следы от ее ногтей. От голых пухлых плеч ее поднимался жар, как от печных кафлей.

Снова пили водку, только что принесенную с ледника, и бокалы запотевали.

Анна Васильевна хваталась руками за голову, вороша локоны и закрыв глаза, кружилась по зале одна, выставляя напоказ темные мокрые пятна под мышками, и повторяла:

— Ах, я совсем-совсем пьяна!

Было уже поздно. Пятов собрался уходить, но, совершенно одурев от водки, никак не мог попасть в рукав шинели и в конце концов свалился в дверях.

Я тоже был сильно пьян, все внутри горело, голова кружилась, в ушах стоял звон. Я сидел за столом, хватал маслины прямо пальцами и жевал их одну за другой. Анна Васильевна куда-то поманила меня. Я, ничего уже не соображая, послушно пошел, нетвердо держась на ногах. Она затащила меня в сени и, шумно сопя, стала вдруг целовать в губы. Потом крепко схватила мою голову руками и окунула лицом в свои распаренные скользкие груди. Я еле вырвался, отпихнув ее от себя. Она стала пудриться перед зеркалом и устало бросила мне:

— Дурак!

Я сдернул с вешалки свою шинель и вышел на крыльцо. Кругом была темнота, и все еще шел дождь. Дождь налетал порывами, окатывая меня с головы до ног. В непроглядной темноте я выбрался со двора на улицу, несколько раз провалившись чуть ли не по колено в лужи. Я стал звать извозчика и кричал долго и мог кричать так до утра. Из ночи выступали только мокрые гнилые заборы.

Я был так пьян, что ноги шли куда-то сами по себе, а руки только успевали цепляться то за какие-то ветки, хлеставшие по лбу и щекам, то за

чьи-то калитки. Я не осознавал, что я делаю и зачем. В памяти от той ночи остались только какие-то обрывки.

Вот я стучу бесконечно долго, и мне не открывают. С крыши течет в переполненную бочку рядом с крыльцом, и я подставляю голову под струю. Наконец дверь открывается, на пороге стоит литвин с ночником в руке. Он мямлит что-то, но я отпихиваю его и, как есть, весь мокрый, в грязи, поднимаюсь наверх.

Вот я вижу Степана Ивановича, его испуганное, заспанное лицо. Я хватаю стул и сажусь посреди комнаты. С одежды, с сапог течет. Голос его доходит до меня приглушенно, как через слой ваты. Мысли мои путаются, я кричу что-то, сам не понимая, что я делаю. Я кричу, что он сумасшедший, что он погубит себя, что невероятно, невозможно, как он мог решиться на такое, что это страшно, бессмысленно.

Он говорит, что не понимает меня, что я пьян.

Я кричу еще что-то, потом помню только, как меня тащит куда-то ненавистный литвин, а я вырываюсь, пытаюсь ударить его по лицу. Кругом стоят какие-то люди. Меня возмущает, что они смотрят на меня с презрением, говорят обо мне что-то обидное, а я их совсем не слышу, так заложены у меня уши. Меня сносят с крыльца и сажают в коляску. Мне вдруг снова видится жена Костицкого, как она пудрится у зеркала, как засовывает обратно в платье свои груди и бросает мне: «Дурак!»

На следующее утро, неожиданно прозрачное, с солнечным лучом, отрезавшим наискось угол комнаты сквозь щель в гардинах, все, случившееся накануне, показалось мне каким-то бредом. Мне самому сделалось страшно своих вчерашних мыслей.

Когда я открыл глаза, на какое-то мгновение мне почудилось, что я дома, что, если распахнуть окно, там будет сирень и что в приоткрытую дверь только что заглядывала матушка проверить, не проснулся ли я.

Я еле встал, все кружилось перед глазами, и кое-как поплелся на службу.

Буквы рябили, строчки расползались. Хотелось взять с подоконника пыльную, разбухшую, перевязанную бечевкой стопку бумаг, взбить ее, как подушку, и заснуть прямо за столом.

Степан Иванович не выходил из своей чертежной. Я не знал, как посмотрю ему в глаза после вчерашнего.

К полудню Крылосов куда-то уехал, и, как всегда в отсутствие начальства, все бросили свои дела, сошлись к печке и начались обычные сплетни и пересуды. Я остался за своим столом, и до меня долетали только отдельные фразы. Слышнее других был Барадулин.

— Да-да, господа, — доносился его приглушенный голос, — а я совсем рядом стоял, вот как Пятов. Все кругом христосуются, и она к нашему Степану Ивановичу подходит. Я на них смотрю, а они ничего кругом не видят!

Я все порывался пойти и сказать Барадулину, что он не смеет вообще говорить о Екатерине Алексеевне, или просто дать ему при всех увесистую оплеуху, но меня удерживало то, что было глупо и унижительно связываться с этим ничтожеством.

Через день меня вызвал к себе Крылосов. Он встал из-за своего огромного стола, чего раньше никогда не случалось, вышел ко мне навстречу, протянул руку и предложил сесть. Крылосов походил по комнате, потирая руки, как бы готовясь начать со мной разговор, но все не произносил ни слова.

— Александр Львович, я хочу быть с вами откровенным, — начал он, но тут же осекся. — Вы простите меня, я несколько взволнован.

Действительно, я никогда не видел Крылосова в таком подавленном состоянии. На лице его проступили густые красные пятна, пальцы дрожали.

— Я хочу поговорить с вами о Екатерине Алексеевне, о Кате. Вы даже не можете себе представить, что она для меня значит. После смерти жены ближе Кати у меня никого нет в свете. Девочка осталась у меня на руках совсем крошкой. Она сама тогда чудом каким-то уцелела. Если бы не



Катя, не эти бесконечные заботы о ребенке, я бы сошел тогда, в те дни, с ума. Я не знаю, откуда в Кате это упрямство, эта бешеная строптивость, мать ее была совсем не такой. Я баловал Катю как только мог, я знал все ее детские тайны, она верила мне! Несчастье началось, когда она полоубила. Поверьте, я не пожалел бы для дочери ничего, пожертвовал бы всем, только бы сделать ее счастливой, но избранник ее был мерзавец. Она не понимала этого, нет, не видела и не хотела видеть. Да и что можно понять в шестнадцать лет! Я сделал то же самое, что сделал бы любой отец, любящий свою дочь, на моем месте. Я отказал ему от дома, запретил Кате встречаться с ним. И что же? Они стали встречаться тайком, благо в своднях у нас недостатка никогда не будет. Я подстерег их у ее двоюродной тетки. Я отпускал к ней Катю со спокойной душой, мне и в голову не могло прийти, что моя сестра будет способствовать растлению моей дочери. Я ворвался в комнату в тот самый момент, когда моя Катя была в объятиях этого негодяя. Я хотел убить его, задушить тут же, собственными руками. Этот подлец еще имел наглость сказать, что он в любую минуту к моим услугам, если я захочу с ним стреляться! Мне стреляться с этим негодяем? Я был в бешенстве. Я схватил первое, что попало под руку, тяжелые щипцы от камина, и бросился за ним, чтобы раздробить ему голову. Тут произошло ужасное. Катя, моя хорошая, дорогая моя Катя, вцепилась в меня. Она была вне себя, с ней сделалась истерика. Она кричала, что я хочу погубить ее, что я не отец ей, что она ненавидит меня. В ярости я ударил ее, и после этого наступило какое-то отрезвление. Она опустилась рядом со мной на пол и заплакала, тихо так, как щеночек. По лицу ее и по рукам текла кровь. Господи, не дай кому-нибудь пережить такую минуту. Я схватил ее на руки и бросился к доктору. Я сказал ему, что она споткнулась о порог. Я был весь в ее крови. Врач быстро остановил кровотечение, и все обошлось. На следующий же день я увез Катю в деревню. Ехать она не хотела ни в каку, и мне пришлось увезти ее силой. Я воспользовался моими связями и добился того, чтобы этого негодяя перевели из Казани. Она, моя дурочка, даже бежала к нему, но ее задержали дворовые. Дело было зимой, она чуть не замерзла. Она ничего не ела, била посуду. Иная на ее месте погоревала бы и успокоилась, еще и спасибо сказала бы отцу. Тем более что я показал ей кое-какие письма, бесспорные доказательства его подлости. В письмах этих, доставшихся мне с большим трудом, он отзывался своему приятелю о ней в гнусных, оскорбительных выражениях. Но Катя ничего не хотела видеть и слышать, в глазах ее была одна только ненависть ко мне! Два года она не разговаривала со мной! Два года! Она не сказала мне за два года ни единого слова!

Крылосов задохнулся, схватился руками за горло и какое-то время сидел молча, сгорбившись, теребя пальцами воротник.

— Я не совсем понимаю, Алексей Владимирович, зачем вы все это мне рассказываете, — сказал я. — Скажите, что я могу сделать для вас?

— Умоляю вас, поговорите с ней! Я для нее больше никто. Я будто умер для нее, вы понимаете? А вас она послушает, обязательно послушает! Вы ведь для нее близкий человек, я знаю, она к вам привязана! Помогите спасти ее!

— Да с чего вы взяли? Я действительно бывал у Екатерины Алексеевны, но что ж из того?

— Александр Львович, вы же видите, что происходит! Начались какие-то разговоры, ползут грязные сплетни, слухи! Я ведь ничего про нее, про мою дочь, не знаю! Что с ней, что у нее на уме?

— Я убежден, Алексей Владимирович, что между вашей дочерью и штабс-капитаном Ситниковым ничего нет. Степан Иванович человек порядочный и ничего низкого себе не позволит.

— Поговорите с ней! Вас-то она послушает! Катя, поймите, для меня все!

— Да что я смогу ей объяснить? И вообще, захочет ли она меня слушать?

— Поговорите, Александр Львович, я прошу вас! Я хочу спасти ее, вы понимаете?

Я сидел молча, не зная, что сказать, куда смотреть.

Потом он прошептал:

— Извините. Извините меня ради Бога. Сам не знаю, что я тут гово-

рил перед вами. Не обращайтесь внимания. Я в таком состоянии, что сам не понимаю, что делаю. Простите меня.

— Я могу идти? — спросил я.

Он устало кивнул головой и принялся очинивать перо.

Следующее воскресенье выдалось хмурое, и все предвещало дождь.

Я проснулся позднее обычного, с тяжелой головой, в дурном настроении. За то, что, подавая мне умываться, Михайла расплескал воду из таза, я набросился на него.

Одевшись, спустился вниз. Нольде давно позавтракали. Улька смахивала крошки с уже пустого стола. Она раздобрела, живот ее округлился. Беременность сделала Ульку еще уродливее. Кожа ее, и без того нечистая, покрылась какими-то струпьями. Носила она тяжело, и доктор сказал, что она может выкинуть.

Нольде был у себя, было слышно, как он читал своему слепому отцу газеты. Амалия Петровна поила на кухне чаем с сухарями двух оборванных старух. Она вечно кормила каких-то погорельцев, странниц, нищих, сирот, слепых. Этот народец, пользуясь ее добротой и неосторожностью, не ограничивался одним чаепитием, и в доме то и дело пропадали какие-нибудь вещи. Как-то одна набожная старушка, крестившаяся каждую минуту, все благодарила Амалию Петровну за чай и бараночки и все уверяла, что за доброту ей будет уготовано царствие небесное, а потом выяснилось, что пропала какая-то шкатулка с кольцами и серьгами, доставшимися Амалии Петровне от ее матери. Бедная хозяйка моя плакала два дня подряд, но все равно продолжала принимать у себя всех без разбору.

Я послунялся по дому и снова поднялся к себе пить кофе.

Сидел у окна и смотрел на подметенный двор. Помню, что я вдруг подумал о том, что если мне придется в тот день умереть — мало ли что бывает, — то последнее в жизни моей будет все то, что и внимания-то не стоит: как с утра я повздорил с Михайлой; старуха, что сосала беззубым ртом сухарик и держала блюдечко на четырех растопыренных черных пальцах, вместо пятого был какой-то узелок; скрип лестницы; остывший кофе; хмурое небо; вот этот подметенный унылый двор да Улька, что вышла посидеть на лавке и задремала, держа руки на животе, в котором зрела еще одна бесмысленная лакейская жизнь.

То, что произошло потом, было для меня полной неожиданностью.

К нашим воротам покатила коляска, и из нее вышел Ситников. Увидев меня в окно, он как ни в чем не бывало улыбнулся, хотя последние дни мы с ним вовсе не разговаривали.

— А я к вам, Александр Львович! — крикнул он.

Он поднялся ко мне, сбросил накидку, снял фуражку и стал промокать платком вспотевшую пролысину.

— Что вы намереваетесь сегодня делать? — спросил он.

— Да так, ничего особенного.

— Ну вот и прекрасно, тогда поедемте со мной!

— Куда ж вы меня зовете?

— В здешнюю Швейцарию. Я езжу туда стрелять в оврагах. Но одному, знаете, это занятие быстро надоедает. Вы хорошо стреляете из пистолета?

— Когда-то стрелял недурно. Не знаю, что выйдет сейчас.

— Ну вот и посмотрим! Одевайтесь, а я подожду вас внизу.

Я хотел сперва отказаться от этого неожиданного предложения, но потом передумал и поехал с ним.

Тряская коляска покатила нас в сторону Арского поля. Задумавшись о чем-то, Степан Иванович рассеянно глядел по сторонам. В ногах у нас стоял ящик с пистолетами.

Мы проехали всю Грузинскую, перемахнули через Арский мост и покатали мимо полей. Несколько раз Ситников оглянулся, будто хотел посмотреть, не едет ли кто за нами. Наконец слева позади осталось Арское кладбище, и мы остановились на опушке леса. Степан Иванович, расплатившись, отпустил извозчика, и коляска уехала, легко подскакивая на корнях.

— Обратно лучше выйти пешком к немецкому трактиру, — сказал Ситников. — Там и пообедаем. А оттуда добратся до Казани пустяк.

В лесу было очень сыро. Влага, пропитавшая воздух, исходила отовсюду: из трухлявых, гниющих пней, которые сочились, если наступить на них ногой, от заросших мхом деревьев, от невысохшей еще земли. Пахло листво́й прошлого года, слежавшейся, перепревшей. Снег уже сошел, но в оврагах, в густых ельниках то и дело встречались изъеденные, покрытые мерзлой коркой сугробы.

Мишенью были игральные карты, которые мы засовывали в трещины коры. Степан Иванович стрелял отменно, попадая с десяти шагов в сердце туза. Я, отвыкнув от пистолета, то и дело промахивался.

Там, в ложбинке, не было ни малейшего ветерка, и облачко дыма от каждого выстрела подолгу не расходилось.

Стрелять очень скоро мне наскучило, и я только заряжал пистолеты.

Ситников стрелял сосредоточенно, с каким-то хмурым упорством, подолгу целился, прищуриваясь, поджимая губы, и за все время не произнес ни слова.

После очередного выстрела я подошел к дубу, в который мы стреляли, чтобы сменить карты, и, когда обернулся, вдруг увидел, что Степан Иванович целился в меня.

— Что это с вами? — сказал я. — Верно, я похож на валета?

Ситников молчал. Глаз его был прищурен. Дуло глядело мне в лоб.

— Что означает эта дурная шутка? — крикнул я. Все это было дико, невозможно.

Рука его задрожала, и Степан Иванович опустил пистолет. Я сделал к нему несколько шагов. Он стоял бледный, на лице его выступил пот. Он нервно улыбнулся.

— Хорошо, считайте, что это была дурная шутка. Допустим, что мне хотелось посмотреть, как ведет себя человек перед смертью.

Степан Иванович как-то странно засмеялся.

Все это было выше моего понимания. Я вне себя от злости швырнул остатки колоды в снег и зашагал прочь.

На несколько дней по делам службы мне пришлось выехать в Тетюши.

На обратном пути на одной из станций мне встретились пленные поляки, которых гнали по этапу в Нерчинскую каторгу. Было уже темно, их пересчитывали с фонарем и загоняли в сарай на заднем дворе. Прапорщик, начальник этапа, рассказал мне, что двое из них уже умерли по дороге и неизвестно, сколько их приведет в Нерчинск. Когда им раздавали ужин, я зашел с прапорщиком в сарай, там был коптящий фонарь, чадающая печка, кашель, сырость, грязная одежда. Я попытался заговорить с ними, но поляки молчали. Я еще подумал, что они боятся прапорщика и, когда мы выходили, незаметно бросил на лавку у самых дверей деньги, которые так могли им понадобиться. Там было около ста рублей ассигнациями. Но только мы вышли и солдат задвинул засов, как поляки стали стучаться в дверь. Им открыли, и кто-то из них швырнул ассигнации к моим ногам.

В первый же вечер по приезде я увидел на своем пороге Степана Ивановича.

— Что вам угодно? — холодно спросил я.

— Александр Львович, мне нужно поговорить с вами!

— Я устал с дороги. К тому же, признаюсь, у меня нет никакого желания беседовать с вами.

— И все-таки я должен вам кое-что объяснить.

Мы прошли в комнату.

— Я чувствую, как опять ко мне подступает эта проклятая лихорадка, — сказал он, — но прошу вас не объяснять болезнью то, что я сейчас скажу вам.

Вид у него действительно был болезненный. Похоже, скоро должны были начаться приступы.

Степан Иванович долго молчал, собираясь с мыслями. Потом сказал:

— Там, в лесу, я имел намерение убить вас, потому что это я был в Ундорах, это я имел неосторожность раскрыть перепуганному старику мой план. Он принял меня за провокатора. Вы сами понимаете, что никто не

должен был знать об этом. Но вы каким-то непонятным образом обо всем догадались.

— Что же вы не выстрелили?

— Александр Львович! Неужели вы не понимаете, что та жизнь, которой вы живете, недостойна вас?! Вы — человек с душой и совестью, зачем вашим молчанием, вашей бездеятельностью вы множите общую подлость? Я говорю все это только потому, что вижу — вы порядочный человек. Вы не должны унижать самого себя!

— Я не понимаю, о чем вы.

— Сейчас сидеть здесь и прозябать — подло! Всякий честный русский сейчас должен быть там, вы слышите, там!

— Вы собираетесь стрелять в русских?

— Страшно стрелять не в русских, страшно, когда русские стреляют в безвинных, а мы молчим и ничего не делаем, чтобы прекратить это. Нельзя больше так жить, в рабстве, подлости, унижении! Как вы не понимаете этого!

Он вскочил и стал кричать, что достаточно немного, одного примера, нескольких честных офицеров, и тогда русские солдаты вместе с поляками повернут оружие против своего действительного врага, что Россия не может больше терпеть, что она готова вспыхнуть в любую минуту, что свободу не даруют, за нее нужно сражаться.

— Степан Иванович, — сказал я. — Вы сошли с ума.

Он остановился, взял голову в ладони, стал тереть виски. Несколько минут прошло в молчании.

— Я понимаю, — тихо сказал он. — Вы сейчас не готовы на что-либо решиться. Но я верю в вас. Я хочу, чтобы мы были вместе. А сейчас, я прошу вас, отвезите меня домой. Кажется, начинается.

Действительно, его уже знобило, лоб покрылся испариной, глаза горели.

Михайла пригнал извозчика. Мы посадили Степана Ивановича в коляску. Он откинулся назад и закрыл глаза.

Следующий день выдался душным и жарким, в воздухе парило, дышать было тяжело, и все предвещало первую майскую грозу.

На службе часы тянулись медленно от духоты и головной боли. Окна были открыты, но это помогало мало. Со двора, от нагретых на солнце стен, поднимался горячий воздух. Мальчишек-кантонистов то и дело посылали за квасом. Со стороны Казанки на самом горизонте собирались тучи.

Из канцелярии я зашел к Степану Ивановичу. Он был в очень плохом состоянии, лежал в беспамятстве, бредил. У него был сильный жар. Меня он не узнал. Я испугался, как бы все это не кончилось совсем плохо, и, взяв извозчика, поехал к Шрайберу.

Гроза была уже где-то близко. Среди бела дня стемнело. Кусок чисто-го неба еще оставался над Арским полем, но почти над всей Казанью уже нависла тяжелая, могучая темнота. Со стороны Казанки то и дело долетали раскаты грома и раскалывались прямо над головой, но молний еще не было видно. Резкие порывы ветра клубили по улицам казанскую пыль. Во дворах крутило сирень и надувало неубранное белье. Когда я остановился у дома Шрайбера, в песок упали первые редкие капли.

Мне открыла дородная неряшливая баба, его кухарка.

— Петра Ивановича нет, — сказала она, дожевывая что-то и глядя на небо. Ее руки были в тертой моркови, и она вытирала их о фартук. — С утра уехал на следствии. Сказал, что к обеду будет, а вот все нет и нет.

Я подумал, что он может быть у Екатерины Алексеевны, и поехал на Грузинскую. Мой возчик заартачился было:

— Бог с тобой, барин, не поеду дальше! Смотри, чего идет!

Он ткнул своим кривым черным пальцем в набегающий гром. Громыхало уже без остановки. В блесках молний воспламенялись кресты Петропавловского собора. Улицы опустели, то там, то здесь захлопывались ставни. Я сунул возчику полтину, и гроза стала ему нипочем. Мы резво поскакали в сторону Грузинской.

У дома Крылосова стояло несколько экипажей. Лакей провел меня в большую гостиную. На столе, в цветах, стоял портрет матери Екатерины

Алексеевны, это был день ее смерти. В комнате были какие-то люди, большинство из них я не знал. Я подошел к Крылосову и пожал его мягкую, будто набитую ватой руку. Он посмотрел на меня невидящим взглядом и сухо кивнул. Екатерина Алексеевна сидела в углу дивана в черном шелковом платье, которое так шло ей. Я подошел к ней, поцеловал руку. Шрайбера не было. Посидев немного для приличия, я откланялся. Екатерина Алексеевна вышла за мной в прихожую.

— Спасибо, — сказала она, протягивая руку, — что вы пришли к нам сегодня.

Мы оба помолчали. Потом я спросил, не было ли у нее сегодня Шрайбера.

— Нет, — ответила она. — Что-нибудь случилось?

Я замялся.

— Степан Иванович нездоров, причем сильно. Мне кажется, что это серьезно.

Она переменилась в лице.

— Так что же вы стоите! Скорее поезжайте к Малинину, он живет здесь неподалеку, на Арской. Да бегите же вы!

Я вышел на крыльцо.

Гроза уже перезревала, и ливень вот-вот должен был обрушиться. Дождь шел уже где-то над крепостью, там все было черно. Мы ехали по пустынной Театральной, где стоял некогда театр Есипова. От всего, от деревьев, домов, неба, исходило какое-то предгрозовое свечение.

Малинин, к счастью, оказался дома. Он вышел ко мне в халате с кистями. От него пахло жареной уткой и чесноком.

— Ну-с, что стряслось, молодой человек?

Я коротко объяснил ему все. Малинин сразу мне не понравился. Все в нем отталкивало, особенно губы его, налитые кровью, которые были в постоянном движении, то сжимались, то растягивались, как лекарские пилюльки. Выслушав меня, он скорчил кислую физиономию и всем своим видом показал, что не имеет никакого желания ехать куда-либо в такую погоду. В это время небо как раз будто прорвало, и пошел оглушительный плотный ливень. Мы стояли с ним у окна, и было видно, как за дождевой стеной почти исчез и забор, и заросли бузины, и как шевелилась от капель размокшая земля на дворе. От ударов грома звенели стекла.

— Долг есть долг, — вздохнул Малинин. — Оставьте адрес. Сейчас поужинаю и приеду.

Я вскочил в коляску, и мы тронулись сквозь густой, шумный водопад. По поднятому верху колотило, как по барабану. Несмотря на застегнутую полость, дождевые потоки заливали меня. Извозчик, которого я подбодрил еще рублем, совершенно промок и пел что-то, стараясь перекрыть грозу. При этом он нещадно сек свою грязную лошадь, у которой по крупу бежали фонтанчики от капель. По улицам с Воскресенской в сторону Булака неслись потоки воды. Мы спустились к Черному озеру. По поверхности его вспыхивали трещины отражавшихся молний.

Меня встретил литвин, которому я отдал сушить мой мокрый сюртук.

— Ну что, как он? — спросил я.

— Все то же, — прошепелявил в ответ. Он был в бухарском халате, в турецких тапках с гнутыми носами и с сеточкой на прилизанной голове.

Я подошел к комнате Ситникова и чуть приоткрыл дверь. Степан Иванович лежал в полумраке с закрытыми глазами, дыхание его было прерывисто, руки вздрагивали. Оставив дверь приоткрытой, я принялся шагать по гостиной. За окном лило не переставая. Под порывами ветра капли сыпали по стеклам градом. Литвин внес шандал с тремя свечами. От их пламени в комнате стало еще темнее.

Наконец, когда гроза немного утихла, послышалось, как к переднему крыльцу подъехала коляска. Кто-то резко задергал ручку звонка. Литвин открыл. На лестнице раздались быстрые шаги, и в комнату ворвалась Екатерина Алексеевна. Она сбросила дождевую накидку прямо на пол. Сорвала перчатки и швырнула их не глядя. Дождь успел намочить ее, мокрые волосы спадали на лоб, по лицу стекали капли.

Екатерина Алексеевна бросилась к Ситникову, опустилась у кровати на пол и стала целовать его руку, лоб, небритые, впавшие щеки. Степан Иванович открыл глаза. Я услышал его бессильный шепот:

— Вы? Здесь?

Она положила руку ему на губы.

— Ради Бога молчите, ничего не надо говорить!

Я закрыл дверь в комнату и отошел к окну. Как раз в ту минуту из-за угла показался докторский экипаж. От дождя Нагорная размокла, превратилась в болото, и пара лошадей с черными от грязи боками еле тащила коляску, которая так иногда увязала, что вода поднималась выше колесной ступки.

Малинин поднимался по лестнице, чертыхаясь и что-то недовольно бормоча себе под нос. Он кивнул мне и, когда литвин лил ему на руки, ворчал, что в такую погоду немудрено самому простудиться и схватить горячку.

Тут из комнаты Ситникова вышла Екатерина Алексеевна. Малинин от неожиданности видеть ее здесь замолчал на полуслове. Потом губы его сложились в кривую ухмылку.

— Вот так встреча! Рад видеть вас, Екатерина Алексеевна!

— Не паясничайте! Идите скорее осмотрите больного! — Она опустилась в кресло и устало откинулась на спинку.

Малинин долго выслушивал и выстукивал Ситникова, то и дело рыгал, и по комнате разливался жирный запах утки.

Когда мы вышли, Екатерина Алексеевна вскочила.

— Дело дрянь, — сказал Малинин серьезно. — Наш казанский климат для него губителен. Если он в ближайшее же время не поедет лечиться, то может окончательно расстроить свое здоровье.

Потом Малинин достал из своего чемоданчика банку с пиявицами. Он извлекал их по одной и приставлял их к вискам больного, цокая языком. Сев за стол, он выписывал долго рецепты, добавляя про каждый, что толку от этого снадобья скорее всего не будет, но и вреда оно не принесет.

Когда отняли пиявиц, лицо Степана Ивановича все оказалось залито кровью, и Екатерина Алексеевна вытерла ее мокрой губкой. Ситников успокоился, дыхание его стало тише, он закрыл глаза и снова забылся.

Малинин сунул в карман конверт с ассигнациями, еще раз гнусно ухмыльнулся, поклонившись Екатерине Алексеевне, и стал спускаться по лестнице. Я спустился проводить его до дверей.

— И вот так вот изо дня в день, мороз ли, слякоть, — заговорил он вдруг, надевая калоши, — хочешь не хочешь, а иди! Не поверите, но иногда скажешь себе: да пусть там они все перемерут, только оставят в покое со своими простудами и запорами! А потом собираешься и идешь и в мороз и в слякоть.

Он стоял уже одетый в дверях и все не уходил.

— Дочурку свою уже второй день только спящей вижу. Она со мной все в доктора играет. Я — больной, а она меня лечит. Говорит: вот это — порошки, а то — пилюли — и протягивает мне на ладонке ничего, воздух. Я и глотаю.

Он постоял еще немного, потом вздохнул и, наконец, ушел.

Екатерина Алексеевна сидела за столом, положив голову на руки. Дверь в комнату Ситникова была приоткрыта.

Екатерина Алексеевна подняла голову и посмотрела на меня. В ту минуту она была удивительно некрасива, с кругами под глазами, с опухшим от слез лицом, с неряшливо рассыпанными волосами.

— Не смотрите на меня! — Она схватила шандал и задула свечи. Комната погрузилась в темноту. Было очень тихо. Дождь почти перестал, и шорох его совсем не был слышен. Гроза ушла куда-то за Кабан, но от далеких молний то и дело вспыхивали разом все три окна с незадернутыми шторами. В эти мгновения были видны и пряди, упавшие на лицо, и дрожащие припухшие губы.

Она достала флакончик, обмакнула пальцы и потерла виски. Ее крестик на цепочке звякнул, ударившись о край оставшейся после ужина тарелки.

— Саша, — сказала она тихо, — что со мной? Там сейчас мама, а я здесь, у него. Я бросила ее там и прибежала сюда.

Я подошел к ней. Она вцепилась в мой рукав. Я обнял ее за плечи, они дрожали.

— Мне страшно, Саша! Я ничего не понимаю! Что происходит? Что теперь будет?

Она вскочила, обхватила мою шею вздрагивающими руками, уткнулась в плечо лицом. Я гладил ее по голове, по рассыпавшимся волосам.

— Екатерина Алексеевна, — сказал я. — Вы играете с этим человеком в дурную, жестокую игру. Вам нужно, чтобы он забыл ради вас обо всем на свете и сделался бы весь ваш, без остатка, чтобы он жил одним вашим словом, одним взглядом. Вы хотите превратить его в раба, в ничтожество не из любви и не из злобы, а просто от жалости к самой себе. Вам нужно, чтобы вас любили. Прошу вас, не делайте этого. Он полюбит вас, а потом вы посмеетесь над ним.

Она замерла. Потом оттолкнула меня.

— Боже, — прошептала она. — Вы или очень жестокий человек, или ничего не понимаете. Я люблю его. Вы, верно, просто не знаете, что это такое. Я люблю его.

Екатерина Алексеевна отвернулась от меня.

— Здесь очень душно, откройте окна.

В комнату ворвались свежий, мокрый воздух и шум омытой дождем листвы. Сразу сделалось сыро и зябко.

Екатерина Алексеевна села в кресло с ногами и положила голову себе на колени. Так прошло много времени. Мы ничего не говорили.

В комнатах первого этажа долго били часы.

С улицы послышалось шлепанье подков по грязи, скрип колес. К дому подъехала крытая коляска. Звонки были подвязаны, и в дверь постучали. Я зажег свечи и спустился, чтобы открыть. Литвин уже храпел у себя.

На крыльце стоял Крылосов. Он не ожидал увидеть меня и замялся. Потом спросил сквозь зубы, глядя куда-то в сторону:

— Она здесь?

Я молча пропустил его.

Он поднялся и вошел в гостиную, не снимая плаща и цилиндра. Я остановился в дверях. Екатерина Алексеевна по-прежнему сидела в кресле и не смотрела ни на кого. Крылосов мельком оглядел комнату, подошел к столу и бросил на него перчатки.

Я приготовился к тому, что он будет сейчас кричать, топтать ногами, стучать по столу. Но он все стоял и молчал, глядя на огоньки свечей, дрожащие от сквозняка. Тень Крылосова дергалась на стенах и потолке.

Он взял руку дочери и прижался к ней щекой.

— Поздно уже, Катенька, — шепотом произнес он. — Поедем домой.

Екатерина Алексеевна вдруг зарыдала, схватила его седую голову в ладони и, закрыв глаза, прижалась губами к его макушке. Так сидели они долго.

Я вышел в прихожую, где сопел во сне литвин. Там пахло смесью ваксы и помады.

Наконец, будто очнувшись, они стали собираться. Екатерина Алексеевна несколько раз перевязывала перед зеркалом длинный газовый шарф и долго натягивала узкие перчатки, пока их тонкая кожа не обрисовала ногти. Перед тем как уйти, она на минуту зашла с огнем к Степану Ивановичу, забывшемуся в беспокойном сне. В проем двери я видел, как она перекрестила его.

Я посмотрел, как они сели в коляску, как лошади тронули, и закрыл окна.

Брести домой по ночной, утонувшей в грязи и тьме Казани не было сил, и я устроился на диване. Было холодно, я скоро замерз, и пришлось укрыться шинелью. Лежать было неудобно, в бок впивалась какая-то пружина, ноги затекали, я вытянул их на подставленный стул. Я долго не мог заснуть, хотя очень устал. Несколько раз шинель с тяжелым шорохом сваливалась на пол. Я забывался ненадолго и снова просыпался, зажигал свет и глядел на часы.

Два дня Степан Иванович не вставал. Я посылал Михайлу справляться. На третий день заглянул на Большую Казанскую. Ситников чувствовал себя заметно лучше.

— Пойдемте пройдемся, — предложил он. — Я уже ненавижу этот потолок и эти обои с зелеными попугаями.

Майское солнце было всюду: и в свежей зелени деревьев, и в соломенных шляпах, и в столбах пыли, поднимавшихся от каждой проехавшей коляски, и в самом воздухе, густом, плотном от насытившего его запаха отцветавшей черемухи. В аллеях у Черного озера былолюдно. В послеобеденные часы здесь гуляла казанская публика. В глазах пестрело от парасолек, цилиндров, фуражек. Иногда встречались знакомые чиновники, и приходилось здороваться.

Вдруг около нас остановился экипаж, и из него выскочил Орехов.

— А вот и вы, господа! — крикнул он нам. Всегда неопрятный, какой-то запущенный, теперь он был одет безукоризненно. На нем был фрак, тончайшая рубашка, застегнутая солитером. Орехов был красен, сопел и кусал губы.

— Что же это, господин Ситников, я, зная, что вы больны, каждый день справляюсь о вашем здоровье, приезжаю сегодня, а вас нет! Вы уже в полном здравии и фланируете. Рад, очень рад!

Тон его настораживал. Орехов был чем-то сильно взволнован и еле сдерживал себя.

— А я-то думаю, где вас искать? Хорошо еще ваш слуга, изрядный, кстати, хам, сказал, что вы отправились сюда. И Ларионов здесь! Прекрасно, дело, значит, не обойдется без свидетелей.

— Что вам угодно? — сухо спросил Степан Иванович.

— Пару пустяков. Сделать вам одно признание. Должен вам сказать, господин Ситников, что я ненавижу мерзавцев! И считаю, что мерзавцев надобно учить!

Тут Орехов как-то неловко размахнулся и дал Ситникову пощечину. Удар пришелся куда-то в висок. Степан Иванович от неожиданности попятился, фуражка его упала на песок.

— Вы, милостивый государь, подлец и последний негодяй. Вы опорочили честь благороднейшей женщины. Вы низкий и недостойный человек, надеюсь лишь, что вы не трус и не будете бегать от моего секунданта. Он повернулся, сел в экипаж и бросил кучеру:

— Пошел!

Все, кто были в ту минуту кругом, смотрели на нас.

Ситников схватил фуражку и стал отряхивать ее от пыли. Потом сказал мне со злостью:

— Что же вы стоите, идемте!

Мы пошли обратно. Ситников молчал. Он то и дело снова нервно отряхивал свою фуражку и тер покрасневшую щеку.

Когда мы подошли к самому дому, я спросил его:

— Что вы теперь намерены делать?

— Что я намерен? — переспросил он раздраженно. — Я намерен просить вас быть моим секундантом.

— Степан Иванович, но это же безумие, недоразумение! Орехов не в себе! Я поговорю с ним, все объясню ему!

Ситников посмотрел на меня с насмешкой.

— Александр Львович, — сказал он. — Я ценю ваше расположение ко мне. Но Орехов не сумасшедший.

— Степан Иванович, я прямо сейчас поеду к нему. Поверьте, дело разъяснится.

— Вот и поезжайте. Договоритесь там обо всем. Буду вам очень признателен.

Он поднялся по ступенькам крыльца и с силой захлопнул за собой дверь.

Я крикнул извозчика и поехал на Георгиевскую. Я знал, что Орехов жил там где-то в собственном доме. По дороге я складывал в голове слова, способные убедить Орехова, но фразы выходили какие-то вялые, беспомощные. Я был в растерянности, потому что видел: все, что я делаю, бесполезно.

За палисадником стоял старый двухэтажный, чудом уцелевший от пожара деревянный дом. Дверь была открыта. В сенях сидел седой швейцар-калмык и вязал чулок.

— Барин дома? — спросил я.

Старик, не отрываясь от вязания, покачал головой.

— А когда придет?



Он пожал плечами.

Видя, что толку от него не будет, я вышел и решил подождать Орехова на улице. Я загадал, что, если сейчас, за эти полчаса, он вдруг появится, все кончится хорошо.

Я шагал по залитой солнцем Георгиевской, мимо ветхих заборов, покосившихся от напора жимолости, мимо домов, утонувших в зелени. Через открытые окна до меня доносились обрывки разговоров, смех, звуки фортепьяно. Весеннее солнце припекало. Лужи пересохли, и застывшая корка грязи везде потрескалась. Я то и дело обгонял дворника, расчищавшего дощатый тротуар от облетавшего черемухового цвета. Стоило чуть подуть ветру, и только что подметенные мостки снова покрывались густой белой пылью.

Я бросался к каждому редкому экипажу, заворачивавшему на улицу, но всякий раз обманывался. Прошло и полчаса, и больше, но Орехова не было. Наконец, когда я собрался уже уходить, его коляска вдруг оказалась в конце улицы. Кучер остановился у ворот. Я подошел, но увидел, что коляска была пуста.

— А где же Дмитрий Аркадьевич? — спросил я.

— Известно где, у Лиможа, водку пьет, — был ответ кучера. — То все ждешь, ждешь его, пока не околеешь, а тут говорит: «Ты езжай, Илья!» И рубль дал. Чудной какой-то нынче!

Я поспешил на Проломную, во французский ресторан.

Распорядитель провел меня по мягким коврам на второй этаж, где в отдельном кабинете сидел в одиночестве Орехов. На столе перед ним стояла початая бутылка шампанского.

Орехов мрачно посмотрел на меня. Он был уже пьян.

— Ну вот, — как можно беззаботнее начал я, — а ваш кучер говорит, что вы тут хлещете водку!

— Вы-то здесь зачем, Ларионов? Я не имею никакого желания разговаривать с вами.

Он пнул что-то под столом, и к моим ногам по ковру мягко выкатился пустой графин.

— Да, я пьян, но это не имеет никакого значения!

— Дмитрий Аркадьевич, послушайте меня! Все это пустое недоразумение! Степан Иванович — благородный человек. Он выше того, чтобы позволить себе что-нибудь. Вы же знаете Екатерину Алексеевну, вы же знаете ее взбалмошный характер! У нее сегодня одно на уме, завтра другое. Нынче она выдумала, что любит его. А завтра все пройдет.

— Не трудитесь, — прервал меня Орехов. — Дело сделано. Все остальное узнаете у Шрайбера.

— Как, он ваш секундант?

— Что вас так удивляет?

— И Шрайбер согласился?

Орехов налил себе шампанского.

— Я предложил бы вам выпить со мной, Ларионов, но слишком вас для этого не люблю.

— Опомнитесь, что вы делаете! Степан Иванович — редкий стрелок, он убьет вас!

Орехов мрачно усмехнулся.

— Может, мне это и надо. Вам-то какое до этого до всего дело?

Он запрокинул голову и стал жадно пить большими глотками из бокала. Шампанское полилось по его сорочке.

Говорить с ним было бессмысленно.

Я помчался к Шрайберу. Тот оказался дома и занимался в своей комнате, уставленной колбочками, пузырьками, бутылками и увешанной сушившимися травами.

Он сразу принялся рассказывать мне про какой-то отвар, которым татары лечат все болезни. Я долго смотрел на него, потом не выдержал:

— Зачем вы вальяте дурака, доктор?

— Если вы по поводу поединка, — сказал Шрайбер, — то все условия вот на этой бумажке, которую вручил мне Орехов.

Он протянул мне листок в осьмушку, исписанный корявым почерком, вдобавок залитый кляксами, Орехов требовал стреляться на 18 шагах с барьером на шести шагах, что делало неизбежным или смерть, или смер-

тельное ранение: на шести шагах самый слабый заряд пробивает ребра. Каждый имел право стрелять, когда ему угодно, стоя на месте или подходя к барьеру. После первого промаха противник имел право вызвать выстрелившего на барьер. Рана только на четном выстреле кончала дуэль, вспышки и осечки не в счет.

— Лепажей не достал, но зато есть пара славных кухенрейторов, — сказал Шрайбер. — И еще, посоветуйте вашему товарищу, чтобы он ничего не ел до дуэли. При несчастье пуля может скользнуть и вылететь насковзь, не повредя внутренностей, если они сохранят свою упругость. Кроме того, и рука натошак вернее. Я же позабочусь о четырехместной карете. В двухместной ни помочь раненому, ни положить убитого. Стреляться будут завтра в шесть утра, в Швейцарии. Там в то время никого нет, так что нам никто не сможет помешать. Выберем какой-нибудь овраг поближе к немецкому трактиру...

— Петр Иванович! Да опомнитесь вы! — закричал я. — Они собираются убивать друг друга, но вы-то, вы же доктор, эскулап, черт возьми! Вы должны остановить Орехова, образумить его! Что вам с того, что завтра кто-нибудь из них будет убит? Зачем это?

— Разделяю ваше негодование. Знаете, я отворял людям кровь несчетное количество раз, я видел столько трупов, что с легкостью могу представить себе любого живущего в гробу, но, поверьте, меня всякий раз тошнит при виде крови, и я всякий раз мучаюсь при виде покойника от мысли, что сам смертен. Мне тоже вся эта история не нравится. Но когда дело заходит о чести, здравый смысл отступает.

— Нельзя путать честь и какие-то условности.

— Условности, вы говорите? Так это и есть в жизни самое главное! Чтобы прожить жизнь счастливо, надобно просто соблюдать все условности, и ничего больше. Когда я жену свою хоронил, мою Анечку, знаете, я не плакал, а шутил, рассказывал анекдоты, флиртовал с ее сестрицей, и все решило, что я Аню отравил. А что стоило поплакать-то? Вот Орехова завтра убьют, а он умрет счастливым, с чувством исполненного долга. И слава Богу!

Помню, когда я шел домой, меня охватило какое-то усталое безразличие. Ноги от напрасной беготни гудели, хотелось прилечь.

Я вернулся домой часу в восьмом, Михайла, подавая умыться, сказал, что заходил Ситников и передал, что завтра заедет за мной с утра, в начале шестого.

Только я забылся, как Михайла вошел сказать, что меня спрашивает Маша, горничная Екатерины Алексеевны. Я встал, вышел в гостиную. Маша подала мне записку. Я развернул листок, сохранивший еще запах ее комнаты. Записка была совсем короткой: «Напишите мне хоть одно слово — это правда?»

На обороте листка я приписал «да» и присыпал его песком.

Когда девушка ушла, я тотчас опять лег, положив подушку на голову.

В ту ночь мне почему-то снова приснился сон, который я часто видел в детстве. Матушка моя совестит меня, что я разбил ее рюмочку, из которой она запивала порошки, а я плачу и боюсь, что ее вовсе не касался. Рюмочка эта была чем-то ей дорога, и она строго не велела мне до нее дотрагиваться. Матушка в обиде на меня, что я лгу ей, а я в отчаянии, что она мне не верит.

Михайла разбудил меня на рассвете, как я велел. За окном ничего не было видно из-за густого тумана. В Казани, благодаря ее расположению среди болот, весной всегда стоят сильные туманы. С неба шел серый тусклый свет.

К пяти часам я был уже готов и стоял одетый на крыльце, прислушиваясь, не едет ли экипаж. Было зябко, и, хотя я оделся тепло, меня бил озноб. Из-за тумана были слышны разговоры, кашель, шум просыпающейся Нагорной. За двадцать шагов все было покрыто белой мутной завесой.

Около половины шестого к воротам подъехала коляска. Не вылезая из нее, Ситников окликнул меня. Я подошел.

— Садитесь поскорей, — сказал он. — Негоже заставлять ждать себя в такой день.

— Вы, я вижу, настроены на шуточный лад, — ответил я. — Сегодня, кроме вас, кажется, никто не намерен шутить.

Мы тронулись. Степан Иванович, закутавшись в шинель, откинулся в глубину возка и молчал, погруженный в свои мысли, ничего не замечая вокруг. Мне приходилось поторапливать извозчика, который ехал почти шагом и все норовил заснуть на козлах. Лошадь была тощая, двухместная коляска ободранная, кожа между крыльями порвана, а из-под подушки торчало сено.

Мы ехали по туману вслепую, иногда только на несколько мгновений проступали встречные повозки, люди, заборы, деревья.

Проехали заставу. Заспанный, продрогший солдат, засунув руки в рукава, проводил нас долгим, злым взглядом. Потом и он скрылся за пеленой.

— Степан Иванович, скажите, вы любите ее? — спросил я.

Он протер лицо, будто умылся, прежде чем ответить.

— Да, я люблю ее. Но все это не имеет уже никакого значения.

Сквозь туман проступила, наконец, красная черепичная крыша. Мы остановились у крыльца гостхауза. Несмотря на ранний час, из открытого окна бильярдной раздавалось щелканье шаров.

Мы вошли. В зале лакей расстилал чистые скатерти. В углу у окна сидел Шрайбер и ел из глубокой тарелки жирные густые сливки. Он кивнул нам.

— А мы ждем вас, ждем! На бедного Орехова смотреть страшно! От нетерпения убить вас он тут бегал как сумасшедший, а сейчас гоняет в одиночку шары. Может, приказать сварить кофе, а то с утра что-то прохладно?

— Благодарю вас, не стоит, — сказала Степан Иванович. — Лучше приступим к делу, да побыстрее.

Еще с минуту нам пришлось наблюдать, как Шрайбер доедал свои сливки, качая головой и причмокивая. Лакей угрюмо посматривал на нас, с хрустом раздирая накрахмаленные скатерти. Стук шаров прекратился. Из бильярдной вышел Орехов. Было видно, что ночью он не спал. Воспаленные глаза горели, под ними выступили мешки. Он чуть кивнул.

Мы вышли все вместе.

Туман, казалось, только усиливался. Все было мокро: и трава, и деревья.

Пошли опушкой леса, а экипажи следовали за нами. Если мы углублялись в чащу шагов на двадцать, в белом пару растворялись и коляски, и лошади.

— Не стоит идти дальше, — сказал Шрайбер. — Кругом все равно никого нет. Как вам нравится, господа, стрелять в вот здесь?

Он указал на неглубокую поросшую орешником ложбину.

— Мне все равно, — буркнул Орехов.

Степан Иванович только пожал плечами.

— Вот и славно. Устраивайтесь, господа, а я пока с Александром Львовичем все приготавливаю.

Мы отправились размечать барьеры. Шрайбер воткнул в землю свою трость и зашагал по сырому, прогнившему валежнику. Там, где он остановился, я бросил на мокрый куст свой плащ.

Принялись заряжать пистолеты. Шрайбер протянул было ящик мне, но я отказался.

— Как изволите, — сказал Шрайбер и сам стал насыпать порох, закатывать его пыжом, забивать шомполом пулю. Он так увлекся, что даже стал насвистывать.

— Боже мой, вы хоть сейчас не паясничайте, — не выдержал я. Шрайбер ничего не ответил мне, но свистеть прекратил.

Наконец раздалось два щелчка, это доктор взвел курки. Он поднялся, в каждой руке по пистолету.

— Господа, прошу вас!

Орехов и Степан Иванович подошли и разобрали пистолеты.

Я выступил вперед.

— Степан Иванович! Дмитрий Аркадьевич! Сейчас самое время помиричься! Ну, полно вам! Вы оба вполне показали ваше достоинство, и честь, и храбрость. Подайте руки друг другу, через минуту уже будет поздно!

— Послушайте, Орехов, — Степан Иванович обернулся к нему. — Незаслуженное оскорбление, которое вы нанесли мне, достойно того, чтобы

смыть его кровью. Но я прощаю его вам. Я не хочу ничего объяснять, но, поверьте, в жизни моей сейчас произойти должен поворот, судьба моя должна, наконец, решиться. Сейчас мне нужна жизнь моя как никогда. Ничего не скажу вам более, вы все равно не поймете меня. Против вас, Орехов, я ничего не имею, хотя вы мне, признаюсь, мало симпатичны. Я не имею желания убивать вас. Вот вам рука моя и поедemте отсюда поскорее. Здесь сыро, а я еще не совсем здоров.

Степан Иванович протянул Орехову руку.

— Полно бессмысленных разговоров, — сухо отрезал тот. — Пожалуйте к барьеру!

И Орехов быстрым шагом пошел к своему месту.

Какое-то время Степан Иванович стоял в нерешительности. Потом медленно направился к моему плащу.

Противники стояли в шагах пятнадцати один от другого.

Шрайбер подошел к Орехову. До меня донесся его приглушенный голос:

— Цельтесь в живот, если вы хотите разmozжить голову.

Шрайбер отошел и, взмахнув рукой, крикнул:

— Сходитесь!

Орехов, не поднимая пистолета, быстро подошел к барьеру.

— Прекратите, хватит! — закричал я.

Орехов нервно дернулся.

— Замолчите вы наконец!

Он поднял руку и прицелился.

Степан Иванович оставался стоять, как стоял, расставив ноги, ссутулившись.

Орехов опустил пистолет.

— Предупреждаю вас, что это не шутка и я намерен убить вас.

Он снова поднял пистолет и прицелился. Я стоял напротив того места и видел, как он целился сначала в голову, потом, видно, вспомнив наставление Шрайбера, опустил дуло чуть пониже.

Кажется, до последнего мгновения Степан Иванович не верил, что раздается выстрел.

Пистолет в руке Орехова дернулся, все окуталось облаком дыма, ахо выстрела прокатилось по лесу.

Степан Иванович зашатался, отступил на шаг и упал на бок.

Я бросился к нему.

— Что с вами? Вы ранены?

Он был бледен, но улыбнулся мне. Когда я подбежал, он уже сидел. В последнюю секунду перед выстрелом Степан Иванович прикрылся пистолетом, и пуля, ударившись в замок, отскочила рикошетом.

Подбежал Шрайбер.

— Поздравляю вас, это второй подобный случай в моей практике.

Орехов настоял, чтобы продолжать с одним пистолетом. Пистолет Орехова снова зарядили, и все вернулись на свои места. Степан Иванович подошел к барьеру и долго стоял, не целясь.

Орехов тер пальцы, тербил пуговицы, наконец закричал:

— Что же вы медлите, стреляйте! И знайте, что, если вы захотите выстрелить в воздух или иным другим способом сохранить мне жизнь, я не пощажу вас!

Тут произошло то, что никто не мог предвидеть. Степан Иванович вдруг выронил пистолет, закачал головой, схватился руками за виски, повернулся и пошел к опушке леса, туда, где мы оставили экипажи.

— Куда вы? — крикнул ему вслед Орехов.

Степан Иванович не оборачивался. Он бормотал что-то и брел, покачиваясь, между деревьев.

— Вы жалкий трус! Вы недостойный человек! Вы подлец! — кричал ему вдогонку Орехов.

Густой туман быстро спрятал сутулую фигуру Ситникова, был только слышен хруст веток под его ногами.

Мимо меня прошел Шрайбер.

— Ну вот, Александр Львович, — скривил он губы, — а вы беспокоились!

За ним, сжимая кулаки, прошагал Орехов.

Я стоял, не зная, что делать, потом поднял свой плащ и тоже полпелся к опушке.

Когда я вышел к нашей коляске, второго экипажа уже не было. Мы покатали обратно к Казани. Туман уже рассеивался, выступило солнце, и молочный пар, заливший Арское поле, светился чем-то розовым и золотым.

За всю дорогу мы не сказали друг другу ни слова.

Солнце было уже высоко, когда коляска выехала на Большую Казанскую. Дверь нам отворил заспанный, не одетый литвин.

— Наконец-то, — недовольно пробормотал он. — Вас тут уже ждут.

— Кто? — удивленно спросил Ситников.

— Сами увидите.

Мы поднялись по лестнице. Дверь в гостиную была открыта. Посреди комнаты стояла Екатерина Алексеевна. На ней было темное дорожное платье. На полу стоял саквояж.

— Господи, жив, — прошептала она и бросилась к Степану Ивановичу. Она обвила его шею руками и стала покрывать лицо поцелуями.

— Вы не знаете, не можете себе представить, что я пережила за это время!

Она вдруг отпрянула.

— Что с Ореховым? Почему вы молчите?

— Успокойтесь, Екатерина Алексеевна, — сказал я. — Орехов невредим. Дело кончилось бескровно.

— Я всю ночь молилась за вас! — Она снова прильнула к нему. Степан Иванович обнял ее.

— Я все решила, — сказала Екатерина Алексеевна. — Так дальше жить невозможно...

— Екатерина Алексеевна, — начал Ситников, но она зажала ему рот ладонью.

— Молчите, не перебивайте меня! Я люблю вас! Я ушла из дома, навсегда, навсегда. Отец проклял меня, и я благодарна ему за это. Обратной дороги мне нет. Я люблю вас, и кроме этой любви мне ничего не нужно!

Я осторожно прикрыл за собой дверь, тихо спустился по лестнице и вышел на улицу.

Дома меня встретил Нольде.

— Вы слышали? Умер Кострицкий.

— Как умер? Я ничего об этом не знаю. Когда?

— Вчера.

— Что с ним случилось?

Нольде замялся.

— Собственно говоря, он повесился, только никому об этом не говорили. Все знают лишь, что его хватил апоплексический удар.

— Да что это он! Кто бы мог подумать! Всех смешил, а сам... Ничего не понимаю.

Нольде вздохнул и пожал плечами.

— Думаю, по пьянству. Разве в трезвом виде такое замыслишь? Завтра панихида и похороны. Жара!

Вечером я снова пошел к Ситникову. Я думал, что, может быть, чем-то смогу помочь им.

Все двери были открыты. Не было слышно ни звука. Я поднялся по лестнице, прошел в прихожую, оттуда в гостиную, в комнату к литвину — везде было пусто. Я прошел дальше и вдруг увидел Ситникова. Степан Иванович сидел в кресле, подложив под голову руку, и держал в зубах чубук давно погасшей трубки. Он смотрел в одну точку, куда-то за окно и даже не поднял на меня глаза, когда я подошел.

— А где же Екатерина Алексеевна? — спросил я.

— Где ж ей быть? Дома.

— Как дома? Что произошло?

— Ничего особенного. Я отвез ее домой. Я сказал ей, что не хочу губить ее жизнь.

Я даже не нашелся сначала, что сказать.

— Теперь я вижу, Степан Иванович, — выговорил я, — что вы действительно сумасшедший. Да-да, самый натуральный. Прощайте! — И я выбежал вон из комнаты.

Сам не понимая толком зачем, я отправился на Грузинскую. У дверей меня встретил швейцар Крылосовых, добрый малый, которому я часто давал на водку. Он не только не улыбнулся мне по обыкновению, но насутился и, стоя в дверях, смотрел куда-то за мое плечо.

— Екатерина Алексеевна дома? — спросил я.

— Барышня у себя, но вас пускать не велено.

— Что ты мелешь? Поди передай ей, что пришел Ларионов.

— Неужто я не узнал вас, Александр Львович! Да только она сама вас пускать-то и не велела!

Я дал ему на водку, потрепал по плечу и побрел оттуда прочь.

На следующий день были похороны Кострицкого.

Накануне всю ночь дул сильный ветер и пригнал наутро холодную морось и низкие быстрые облака.

Я немного опоздал к назначенному часу. Были все сослуживцы с женами, я не заметил только Крылосова, и пришли еще много незнакомых мне людей. У ворот мок погребальный катафалк, окруженный мальчишками. К крыльцу была приставлена крышка от гроба. Я снял шляпу и, молча раскланиваясь со знакомыми, прошел в залу. Там я увидел покойника, лежавшего в гробу на столе. Около него горели свечи и священник бубнил что-то невразумительное, мне даже показалось, что он был пьян.

Я с трудом признал в покойнике Кострицкого. Лицо его осунулось, заострилось, широкий нос его вытянулся, одна ноздря залипла, по коже побежали желтые пятна. Щеки были все в порезах от бритвы. Мелкая черная щетина снова уже успела отрасти на мертвце.

Говорили все шепотом, иногда кто-нибудь глубоко вздыхал.

Я искал глазами Анну Васильевну, но ее нигде не было. Нольде сказал, что она ушла одевать детей.

Скоро все потянулись на улицу, пора было отправляться. Отпевать должны были у Петра и Павла, а хоронить на Арском кладбище, дорога была дальняя, через весь город.

На дворе то принимался сыпать мелкий дождик, то переставал. Зонты то раскрывались, то складывались. Было слышно, как вполголоса бранились на погоду и на отсутствие мостовых.

Наконец вышла Анна Васильевна. На ней было траурное платье с плерезами на рукавах и подоле. За ней шли дети, все в черном, притихшие, испуганные.

Вынесли гроб, и процессия отправилась на Воскресенскую. К счастью, пока шли, дожда не было.

Пока отпевали, я стоял снаружи, на паперти. Какие-то дамы рядом спорили, какой ширины нужно носить теперь плерезы. Потом все потянулись в сторону Арского поля. На дрогах, подбрасываемых толчками ухабистой дороги, колыхался гроб. За гробом шли дети в накидках от дождя, который снова заморосил, за ними Анна Васильевна.

В свежавыкопанную могилу уже набралась вода. В луже на дне, мутной от глины, разбегались круги от капель.

На кладбище подъехал Паренсов. Он вытер платком мокрый от дождя лоб покойника и поцеловал его. Прощание вышло скомканным, все вымокли, продрогли и торопились поскорее вернуться в город. Дети раскапризничались, хныкали, громко просились домой, и Анна Васильевна шикала на них. Когда заколачивали гроб, она в первый раз за все это время разрыдалась.

Два мужика, перекрестившись, стали опускать гроб в могилу. Один из них вдруг поскользнулся на грязи, веревка выскочила у него из рук, и гроб брякнулся на дно. Анна Васильевна замахала руками, схватилась за горло и, шатаясь, пошла между оградами к выходу, за ней побежали дети.

В зале, где на зеркале висела шаль, были накрыты столы, суетилась прислуга, пахло блинами, было тепло и после дождливого кладбища уютно. Анна Васильевна хлопотливо металась между залой и кухней, усаживала пришедших помянуть, кричала на детей, вертевшихся под ногами.

Водка оживила всех, говорили уже в полный голос, а громче всех кричал Барадулин. Он был пьян с самого начала и уже облил вином свой черный фрак.

— Вы только подумайте, — кричал он на всю комнату, — заболеть холерой, мучаться в корчах и выжить, выздороветь! Ему бы жить после такого до ста лет! А вот лежит теперь наш Георгий Иванович в могилке, а мы тут пьем за него, вот ведь как!

Я ничего не ел, даже не снимал салфетки со своего прибора.

Было жарко, шумно. Уже стали чокаться, забывшись.

Барадулин громко рассказывал про то, как он застал Кострицкого в петле.

— У меня и в мыслях ничего такого не было! Я-то деньжонок пришел занять. Мне и нужно-то было рублей сто. Кричу — никого. Иду прямо к нему. Знаю, что он, шельма, дрыхнет после обеда. Дергаю дверь за ручку, не открывается. Что такое? Смотрю, а там, сверху, пряжка от ремня торчит. Дернул посильнее, что-то на пол рухнуло. Открываю дверь, а это он лежит, вот здесь вот, вот здесь! — Барадулин побежал к двери показать, где лежал Кострицкий. — Лежит синий весь, и язык чуть ли не до уха!

В запале кто-то выпил рюмку, оставленную для покойного на чистой тарелке.

Я встал из-за стола и направился к дверям.

В сенях в полумраке я увидел Анну Васильевну. Она стояла у вешалки и тихо, беззвучно плакала, уткнувшись в шинель покойного мужа. Я должен был взять свой плащ и кашлянул. Она вздрогнула, обернулась.

— Это вы? — устало сказала она. — Уже уходите?

Я молча кивнул.

— Ну вот, куда я теперь с детьми? Как жить? На что? Не знаю.

Анна Васильевна снова заплакала и положила голову мне на грудь. Я гладил ее по плечу.

Когда я вышел на крыльцо, дождь все еще накрывал, и в лужах мокли разбросанные по двору ветки можжевельника.

Степан Иванович на службе больше не появлялся. Я знал, что наряжена была комиссия из трех разных служб во главе со старшим военным медиком Корниловым, известным в Казани тем, что у него на руках скончался Багратион. Комиссия после освидетельствования нашла необходимость в лечении Степана Ивановича на морских и минеральных водах, ибо обструкция его и сухой кашель могли привести в совершенное расстройство его здоровья. Нашли целесообразным курс лечения на ревелских морских водах. Свидетельство это с просьбой на высочайшее имя с рапортом Ситникова и рапортами двух генералов, Паренсова и казанского коменданта, были отправлены в Петербург.

Степан Иванович прислал мне записку, в которой сообщил, что Илья Ильич уверял его: самое позднее в конце июня он получит отпуск по лечению и сможет выехать из Казани. Степан Иванович звал меня ехать с ним.

Было уже начало июня.

Екатерина Алексеевна обвенчалась с Ореховым без приглашений и торжеств, тихо, в какой-то маленькой церкви на краю Казани, и чуть ли не в тот же день они уехали в Москву.

Узнав, что Солнцева собираются в деревню, я зашел к ним проститься.

В тот день на Казань налетел ветер, силы не ураганной, но взметавший всю казанскую пыль и тучей гонявший ее по улицам. Пока я дошел до прокурорского особняка, меня в пору было выбивать, настолько пропылилась моя одежда.

Помню, что в тот день, войдя в гостиную, я вдруг вспомнил, в каком воодушевлении я приехал почти два года назад в Казань и вошел тогда в первый раз в эту комнату, где в простенках овальные зеркала отражали потрескавшиеся изразцовые печи, сосновый пол, выкрашенный под паркет, потертую мебель красного дерева с гнутыми ножками, стены с обоями, на которых были изображены какие-то красные птицы и золотые лиры.

Я просидел у Солнцевых долго, до самого вечера, играя с детьми. Я хотел уйти уже, но меня оставили пить чай.

Вместе с Гавриилом Ильичом к столу вышел немолодой, невысокого роста невзрачный человек, начинавший сесть, с глубокими морщинами вокруг губ, аккуратно одетый, с выцветшими спокойными глазами, с движениями неторопливыми и уверенными. Он был немного простужен и оттого говорил в нос, то и дело промокая ноздри платком. Татьяна Николаевна вместо чая налила ему горячего молока. Фамилия его была Маслов. Из разговоров я понял, что он неделю как из Петербурга.

Тогда только что пришло в Казань известие о кровопролитном сражении при Остроленке, и за столом говорили о том, что это первое серьезное поражение поляков, что все, наконец, становится на свои места и что дальше осени эта кампания не затянется.

Я старался отмалчиваться, но Маслов, после того как нас представили, стал вдруг проявлять ко мне какой-то повышенный интерес и после всякой своей фразы с любопытством смотрел на меня и все время спрашивал:

— А вы как считаете, Александр Львович?

Это сразу насторожило меня.

После чая Солнцев пригласил нас к себе в кабинет выкурить по трубке. Мы расселись в глубоких креслах. Человек Солнцева принес богатые пенковые с витым чубуком трубки. Клубы табачного дыма заполнили комнату.

Очень скоро Солнцев, извинившись срочными делами, вышел, оставив нас вдвоем, я тоже встал, чтобы откланяться, но тут Маслов сказал:

— Подождите немного, Александр Львович! Произошла такая удивительная встреча, а вы куда-то убегаете.

— Что ж в ней удивительного? — спросил я с каким-то неприятным предчувствием.

— Сядьте, прошу вас! Кажется, сама судьба столкнула нас с вами.

Я снова сел. Маслов смотрел на меня долго своими бесцветными неживыми глазами и ничего не говорил. От этого взгляда мне стало не по себе.

— Что вам от меня нужно?

— Я имею кое-что сказать вам и думаю, что это будет для вас небезынтересно.

— Ну же, — меня раздражало, что он мучил меня недомолвками.

— Известно ли вам, Александр Львович, где я служу? — спросил Маслов.

— Мне это безразлично.

— Что ж, я откомендуюсь: полковник третьего отделения собственной Его императорского величества канцелярии, начальник пятого жандармского округа.

Он остановился, глядя на произведенное впечатление.

— Вы удивлены?

— Отчего же мне быть удивленным? — ответил я как можно неприужденнее. — Мало ли кто где служит.

— Славно! Тогда вам, должно быть, тем более безразлично, зачем я приехал в Казань?

— Вы правы.

Маслов помолчал, выбивая пальцами дробь по ручке кресла, потом встал и принялся ходить по комнате, заложив руки за спину.

— Мне нравится как вы ведете себя, Александр Львович, — сказал он.

— Не понимаю, о чем вы говорите.

— Сейчас поймете. Но сперва я хотел бы просто поговорить с вами. Вы мне интересны. Я хочу понять вас.

Он пожевал губы, покачался с носков на пятки, с пяток на носки и снова принялся ходить за моей спиной.

— Вы знаете, когда я был совсем еще юношей, надеюсь, вы простите мне небольшое отступление? Так вот, когда сверстники мои начинали уже бегать за комнатными девушками, я, представьте себе, лишь читал книги и



писал российскую конституцию. Да-да, конституцию. Мне казалось, что жизнь наша такая гнусная оттого, что нет хороших законов. И вот я сидел и сочинял законы один лучше другого. Все в этих моих проектах было построено на добре и справедливости. И вот дед мой как-то увидел эти листки и сжег их. Он очень испугался. Не за себя, конечно, за меня. Был, разумеется, скандал, слезы. Я презирал его. А он сказал мне слова, которые я тогда по молодости лет не понял. Он сказал очень просто, что России нужны не законы, а люди.

— Не понимаю, при чем здесь я.

— Не спешите, Александр Львович, выслушайте меня. Я хочу рассказать вам, что привело меня в Казань. Дело в том, что в разных городах России открылись возмутительные письма с призывом к мятежу, к царевубийству, к ниспровержению власти. Кто-то рассылал их по управам, канцеляриям, частным лицам, понимаете? А время сейчас какое тревожное, Александр Львович! Сейчас ведь немного нужно, чтобы все вспыхнуло, не так ли?

Он остановился, посмотрев на то, какое впечатление произвели слова его на меня. Потом зашагал дальше.

— Как вы думаете, что делает русский человек, получив подобное послание? Конечно же, все эти письма собирались у меня на столе. Забавно, не правда ли?

Я в каком-то оцепенении кивнул головой.

— Письма эти писаны разным почерком, но слог, стиль, выражения — все выдает одну руку. Достаточно сравнить несколько посланий, чтобы убедиться: писал их один человек. К тому же все эти письма рассылались из Казани. Вот, взгляните на них, если желаете!

Маслов взял со стола портфель, с которым он пришел, и достал из него несколько аккуратно сложенных листов почтовой бумаги.

— Вам это незнакомо? — Он протянул мне один из них.

Я пробежал глазами по строчкам. Внутри у меня похолодело. Я сразу понял, кто мог написать такое.

— Мне кажется, вы побледнели? — спросил Маслов.

Я взрогнул.

— Впервые вижу подобное.

— Забавно, — протянул Маслов, взял у меня письмо, сложил все листки вместе и сунул обратно в свой портфель. Потом вдруг сказал:

— Так ведь вы же, Александр Львович, все это и писали!

Помню, я не сразу пришел тогда в себя. Когда ко мне наконец вернулся дар речи, я сказал ему:

— Вы хоть сами понимаете, что говорите? Меня, первого встречного, вы обвиняете Бог знает в чем!

— Да какой же вы, Александр Львович, первый встречный! Я здесь уже неделю и про вас, например, знаю уже очень много, больше, чем вы можете подумать. У господина Булыгина, казанского жандармского офицера, есть про вас очень интересные сведения, и про ваш образ мыслей, и про разные ваши высказывания. Вы, верно, даже не догадывались об этом, признайтесь?

— Я с господином Булыгиным не знаком вовсе.

— Так дело ведь не в знакомстве. Существуют ведь еще и осведомители. Не так ли? Вы что-то где-то неосторожно сказали, а господин Булыгин уже все про это знает. Вот ведь как. А тому, что именно вы эти бумажки писали, у меня есть неопровержимые доказательства.

— Бред какой-то! — закричал я. Все это было выше моего понимания. — Бред! Я не хочу больше разговаривать с вами! Вы ломаете здесь какую-то дурную комедию. Я этих писем не писал и в глаза не видел! Вот и все!

Маслов снова принялся ходить у меня за спиной. Так, в молчании, прошло несколько минут.

— Вот что мы сделаем, Александр Львович, — сказал он наконец. — Вы сейчас пойдете домой и все хорошенько обдумаете. Я хочу помочь вам, спасти вас, вы понимаете меня? А завтра придете к Булыгину, я буду с утра там. Допустим, в десять. Все это, к сожалению, очень серьезно.

Я встал.

— Только не подумайте, — сказал я, — что считаю ваш поступок благородным. Мне не в чем виниться и не в чем раскаиваться, и ни завтра, ни послезавтра можете меня не ждать.

Не помню, как я спустился вниз, как оказался на улице, как шел домой. Мне все казалось, что я брежу наяву.

Я доплелся до Нагорной в каком-то полусознательном состоянии. Когда переступил порог, меня привела в себя суета, поднявшаяся в доме. Бормоча что-то себе под нос, пробежала в комнату Ульки Амалия Петровна с кувшином воды. Ей кричал с лестницы Нольде. Тут же стоял, держась рукой за косяк двери, слепой старик. Я зачем-то пошел за Амалией Петровной. В Улькиной комнате было темно. Комната эта всегда раздражала меня: в углу дешевые образа, вокруг вербочки, в киоте сбереженное со святой яичко и кусок кулича, под киотом бутылка с богоявленной водой. От всего веяло убожеством.

Улька лежала на топчане. По потному лицу ее, покрытому бородавками, рассыпались волосы. Она смотрела на меня какими-то испуганными виноватыми глазами. На полу в медном тазике я увидел кровавый комочек мяса. Улька выкинула мертвого ребенка. Я побыстрее вышел и поднялся к себе.

Чем больше я думал о разговоре с Масловым, тем тревожнее делалось у меня на душе. То, что поначалу казалось мне каким-то нонсенсом, недо-разумением, вдруг оборачивалось пропастью, в которой я должен был погибнуть.

Страшная неотступная мысль мучила меня: что же могло быть в тех бумагах и кто эти старательные осведомители? В мозгу вереницей пролетали все мои казанские знакомые. Сперва сама мысль о том, что этим под-лецом, писавшим про меня, был тот же Пятов, или Нольде, или Шрайбер, или покойный Кострицкий, казалась мне дикой, невозможной. Но потом круг замыкался, и эта безысходность заставляла меня подозревать уже каж-дого.

И потом — доказательства! Что он имел в виду? Какие у него могут быть доказательства? То я приходил к мысли, что я вижу какой-то кош-марный сон, то мне казалось, что это все же недоразумение, ошибка!

Я метался по комнате из угла в угол или замирал и глядел подолгу в окно. Помню, как Амалия Петровна осторожно пронесла по двору медный тазик, прикрытый тряпичей, в отхожее место.

Незаметно наступил вечер, стемнело, все в доме стихло, все разбрелись по своим углам, легли, погасили свет. Я даже не зажигал его. Не разде-ваясь я лег на постель. Я старался прийти в себя, думать о чем-нибудь другом, смеяться над абсурдом происходившего. Ничего не получалось. Мне сделалось вдруг страшно.

Впервые в жизни меня охватил в ту ночь страх, до холода, до пота, до дрожи.

Я вдруг вспомнил письмо соликамского чиновника, неведомыми путя-ми попавшее однажды ко мне на стол. Этот человек писал, что посажен он без вины, что надзиратели натравливают на него других каторжников. Он требовал, просил, умолял спасти его. А я ответил на это письмо с того света казенной отпиской. И вот я видел уже себя за лязгнувшим засовом, окруженным убийцами и насильниками, проигрывающими мои зубы в кар-ты. Я думал о стариках Нольде, уверявших всех, что сын их в действующей армии. Мысли о моей матушке, о том, что она этого не переживет, сводили меня с ума. Я то ворочался на кровати, то бегал по комнате, схва-тившись за голову. Наверно, я кричал что-то, потому что вдруг послышался скрип на лестнице, приотворилась дверь и в комнату заглянул Нольде.

— Что с вами? — испуганно прошептал он.

— Нет-нет, ничего, ради Бога, оставьте меня!

От каждого звука на улице, от шума проезжающего экипажа меня начинало трясти. Мне казалось, что это едут за мной.

Мысли, одна страшнее другой, роились у меня в голове. Я думал о том, что Маслову, в сущности, все равно, кого арестовывать. Ему поручили раскрыть дело о злосчастных письмах и найти их отправителя. Он это и сделает. А доказать, что письма эти писал я, он найдет способ. И Степан Иванович уедет на ревельские воды, а я в Сибирь.

Мне пришла вдруг в голову мысль, от которой меня прошиб пот: ведь это Ситников сам, чтобы отвести от себя подозрения, свалил все на меня! И потом та страшная поездка в сырой апрельский лес не выходила у меня из головы. В ту минуту я мог думать о людях уже все что угодно. Мне казалось, что каждый способен на любую подлость, только бы спасти себя.

И потом, был ли я так уж невиновен, вдруг эта мысль поразила меня. Ведь я же разговаривал со Степаном Ивановичем, он открылся мне, звал меня с собой.

Среди ночи меня вытошнило. Я разбудил Михайлу, велел ему все убрать, а сам растворил настезь окно, лег на подоконник и долго не мог отдышаться. У меня были спазмы в горле, мне не хватало воздуха, я задыхался.

Я не мог забыться в ту ночь ни на минуту, до самого рассвета.

В комнате было уже светло, только что взошедшее солнце бросало косые лучи на обои, когда мне пришла в голову мысль, от которой неожиданно стало ясно и покойно.

То, что минуту назад казалось неразрешимым, невозможным, вдруг сделалось простым и само собой разумеющимся. Помню, что я даже рассмеялся — так легко и свободно стало у меня на душе. Я удивился, отчего эта мысль не пришла ко мне с самого начала.

Было еще очень рано, около половины пятого, и я заснул мгновенно и без снов, лишь голова моя коснулась подушки.

Я проспал, может быть, всего часа три, но больше, но встал бодрым и свежим. С удовольствием умылся ледяной водой, долго плескался. Надел чистую белоснежную сорочку. После завтрака выкурил трубку у открытого окна, глядя на нагромождения облаков над Казанкой. Ветра не было, и сутулый мундир Нольде висел во дворе не шевелясь.

Я вышел из дома заранее, чтобы идти не спеша и в назначенный срок быть у Булыгина.

Это было странное ощущение.

В огромном темном зеркале я вдруг увидел немолодого уже человека с брюшком, с опущенными, выставленными вперед плечами, начинающего лысеть на затылке, с кое-где пробивающейся сединой, сидевшего на краешке стула. Он схватил поднесенный ему стакан воды и долго пил его. Руки тряслись, и вода проливалась на брюки.

— Да вы не волнуйтесь так, — сказал Маслов. — Вот возьмите лист бумаги, садитесь за стол и все-все напишите.

Маслов дал мне несколько листов бумаги, пододвинул чернильницу, подобрал отточное перо.

И я стал писать.

Я писал все, что знал и про Степана Ивановича, и про наши с ним разговоры, как мы спорили с ним, как я убеждал его отказаться от пагубных его затей, и про Ивашева, и про ревельские воды. Я старался ничего не опустить, ни малейшей подробности. Я писал сумбурно, без всякого порядка. Я писал всю правду.

Да-да, я писал всю правду, но я пытался и спасти его.

Я пытался объяснить: все, что делал этот человек, есть не столько преступление даже, сколько заблуждение. Именно заблуждение, ибо помыслы его были благородны. И потом, нужно было понять его состояние. Это было ослепление, надрыв. Все сплелось здесь в один клубок: и досада за неудачную службу, и приступы жестокой лихорадки, привезенной с

Дуная. Конечно, писал я, всему причиной была болезнь. К тому же он сам рассказывал мне, что мать его кончила дни свои в доме для умалишенных. Без сомнения, нервная болезнь, помутнения разума передались и ему по наследству. Разве не горячный бред его безумная идея сражаться бок о бок с поляками против соотечественников? Нет ни малейшего сомнения, писал я, что он сумасшедший. Не преступник, а сумасшедший.

Я исписал всю бумагу, которую дал мне Маслов, попросил еще и все не мог остановиться.

Маслов, сказав, что не будет мешать мне, вышел, и из соседней комнаты время от времени доносился его кашель.

Исписанные перья пачкали чернилами бумагу, я бросал одно, хватался за другое. Строчки разбегались вкривь и вкось. Я спешил, писал, не промокая клякс, не понимая, сколько прошло времени, час, а может быть, целый день. Солнце залило стол, я обливался потом, но мне некогда было задернуть шторы.

Помню, что я очень устал. Дело было не в руке, которая ныла. Когда я собрал все исписанные мною листки и протянул их Маслову, меня охватила какая-то апатия. Вдруг заболела голова, сильно застучало в висках — сказала бессонная ночь. Без сил я уселся на диван и прикрыл глаза.

Маслов читал написанное мною долго, не спеша, переспрашивая меня в тех местах, где был неряшлив почерк, делая карандашом на полях какие-то заметки.

Он читал в очках и часто снимал их, разглядывая стекла на свет, дышал на них, протирал фуляровой тряпочкой.

— Вы не верите мне? — спросил я, когда он дочитал до конца.

Маслов усмехнулся.

— Отчего же, верю. Более того, скажу, что бумаги эти для вас значат больше, чем для меня.

— Простите, я не совсем понимаю...

— Что ж здесь не понять? На почте мне удалось перехватить письмо, отправленное им. Теперь я вижу, что вы не были с ним заодно.

Маслов встал, подошел ко мне и вдруг протянул руку.

— Благодарю вас за искренность.

Я пожал ее.

— И что же теперь? — спросил я, ничего не понимая.

— Теперь не смею задерживать вас более. А я должен заняться неотложными вещами. И даю вам слово, что сделаю все возможное, чтобы вас не беспокоили более по этому неприятному делу. Что же вы, идите!

Я встал и пошел к дверям как в бреду. Только выйдя в коридор, вспомнил, что нужно же было что-то сказать, попрощаться, поблагодарить. Я вернулся.

Маслов снял с себя сюртук и надевал мундир.

— Господи, что еще? — недовольно спросил он.

— Скажите, я могу надеяться, что Степан Иванович...

— Ну же?

— ...что он ничего не узнает? — Я кивнул на мои бумаги, что лежали на столе.

Маслов усмехнулся.

— Что ж, если это так важно для вас.

— Благодарю, — сказал я и прикрыл за собой дверь.

У ворот стоял извозчик.

— Садитесь, ваше благородие!

Я залез к нему.

— Что, барин, молчишь? Куда везти-то?

Меня вдруг охватило странное желание искупаться.

— Вези к Волге, — сказал я.

Он плюнул, присвистнул, хлестнул вожжами, и мы не спеша покатали. Помню, как ехали мимо длинного университетского забора, потом перемахнули по мосту через Булак, доехали почти уже до Адмиралтейской.

Вдруг что-то случилось со мной.

— Поворачивай! — крикнул я. — Ну, скорее! Скорее! Мчи на Большую Казанскую!

Извозчик развернул лошадей, и мы помчались обратно в Казань. Хотя он хлестал лошадей, мне все казалось, что мы еле тащимся, и я все время кричал и подгонял его кулаком, подавая ему то в спину, то в ухо.

Знал ли я сам, зачем так рвался туда?

— Стой! — крикнул я, как только мы завернули на Большую Казанскую.

У дома, где жил Степан Иванович, стояло несколько экипажей, толпились какие-то люди, прохожие, соседи. Я швырнул извозчику ассигнацию и соскочил на землю.

Сперва я бросился туда, к ним, но там началось какое-то движение, люди отпрянули от ворот, и на улицу вышли сперва несколько солдат, за ними показался Степан Иванович. Руки он держал за спиной. Лицо его было бледно, но он старался не подавать вида, что растерян, и спокойно спросил что-то шедшего за ним Маслова, наверно, в какую коляску садиться, потому что тот кивнул ему, куда идти. Последним показался Солнцев. Я видел, как он щурил глаза на солнце, как посмотрел на свои часы. Когда сел в карету, он взглянул в мою сторону, потом, высунувшись, еще несколько раз бросал взгляд в тот конец улицы, где стоял я. Мне показалось, что он заметил меня.

Все расселись, и экипажи тронулись. Они поехали прямо на меня. Я быстро свернул за угол и стоял, спрятавшись за дерево, пока перестук копыт и скрип колес не замерли в отдалении.

До вечера я бродил по улицам, не разбирая дороги, не зная, куда иду и зачем.

Когда я пришел домой, на меня набросился Нольде.

— Александр Львович, наконец-то! Радость-то какая! Вот, возьмите, читайте, читайте!

Он совал мне какую-то бумагу. Я стал невольно читать ее. В ней сообщалось, что их сын направляется рядовым в действующую армию с правом выслуги.

— С правом выслуги! Вы видите, с правом выслуги! — кричал старик. От волнения он совсем задышался. — Господи, вот так счастье!

На следующее утро я встал на рассвете, быстро оделся и осторожно, чтобы никого не разбудить, вышел из дома. На извозчике добрался до волжской пристани. Там я быстро нашел купца, чья барка отправлялась в то же утро вниз по Волге до Астрахани, и мы договорились, что он возьмет меня пассажиром.

Я сидел на каких-то мешках на корме и целый день смотрел на берега: левый, облитый солнцем, с лугами, поднимавшимися до края неба, и правый, взметнувшийся крутыми утесами вверх. Мимо проплывали колокольни на всяком изгибе, кресты церквей над зеленью деревьев, желтые отмели, переправы, пристани.

К вечеру на реке поднялась рябь. Ветер нагнал тучи. С темнотой начался дождь. Меня звали вниз, но я отказался и просидел всю ночь, укрывшись рогожей, глядя на дождь и на воду, черную и густую.

К Симбирску подошли уже вечером следующего дня. Издали я увидел Венец на высоком правом берегу и еле дождался, пока положат сходни.

Все были в деревне, в доме огни не горели, было темно и пусто. Я хотел ехать немедленно, но меня отговорил дворник. Наши лошади были в Стоговке, и никто не согласился бы ехать на ночь глядя в такую даль. Я остался ночевать один в пустом доме. Жена дворника принесла мне миску щей, но я даже не притронулся к ней. Мне ничего не хотелось: ни пить, ни есть, ни спать. Всю ночь я бродил по комнатам, вспоминая вещи и запахи.

Дворник нанял коляску, запряженную парой, и утром рано я выехал из Симбирска, а после обеда уже подъезжали к нашему парку, и из-за деревьев проглядывал пруд, заросший еще сильнее.

На дворе никого не было.

Я поднялся на крыльцо, вошел на террасу. На столе был накрыт чай, стоял горячий самовар, но тоже было пусто. Я пододвинул стул и сел к

столу. Тут дверь отворилась, и на террасу вышла Нина, в руках у нее были отколотые куски сахара и щипцы.

— Здравствуй, — сказал я.

Увидев меня, она даже не вздрогнула. Лицо ее не выразило ни удивления, ни испуга, ни радости. Она спросила, как будто вовсе не было этих двух лет:

— Будешь чай пить? — и поставила на стол еще одну чашку.

— А где они? — спросил я.

— Уехали в Кудиновку на сороковины, — ответила Нина спокойным голосом, наливая мне чай.

— Умерла старуха Самсонова?

Нина кивнула. Мы молча пили чай, и мне вдруг на какое-то мгновение показалось, что я никуда не уезжал. Все те же часы скрипели в углу. Так же стояли плетеные кресла. Так же бегала тень от веток по столу.

— Подожди, — Нина вдруг встала. — Я принесу сейчас твое, абрикосовое.

Она долго не возвращалась.

Я прошел на кухню. Там ее не было.

Я поднялся в нашу комнату. Дверь была закрыта изнутри. Я постучал, Нина не открывала. Я двинул дверь плечом, крючок соскочил.

Нина лежала на кровати, спрятав лицо в подушки, и захлебывалась в рыданиях.

Я хотел сказать что-то, но у меня перехватило в горле. Я только целовал ее вздрагивающую руку, подол платья, стоптанные туфли.

### ТРЕТЬЯ ТЕТРАДЬ

Снова надел я мою белую домотканую пару.

Тот год выдался богатым на урожай. Дел было невпроворот. Помню, что все ломилось от припасов и не знали, куда деть такое количество яблок, слив, ягод. Не хватало рук, чтобы убрать всю народившуюся рожь.

Матушка моя постарела, сильно пополнила, сделалась какой-то рыхлой, двигалась с трудом. Почти не выезжала никуда, только в церковь, и всю обедню сидела, а потом целый день отдыхала. Она уже не пробовала ложиться в постель, а спала в креслах сидя, а иногда даже стоя дремала в уголку, опираясь на спинку кресла.

Тетка, напротив, была все такой же живой, деятельной, только стала еще сварливее и обидчивей. Иногда она впадала в детство, начинала капризничать и даже плакать по какому-нибудь пустяку.

Когда Нина забеременела, все в доме нашем переменялось. Все жили тогда ожиданием. Было и радостно и тревожно. Гадали, кого носит она в себе, сына или дочь, спорили из-за будущего имени, готовили младенцу приданое, думали, какую заказывать колясочку, кровать. Нина как-то вдруг, сразу переменялась, сделалась спокойной, сосредоточенной. Она удивительно похорошела, беременность преобразила ее.

Я сильно переживал и боялся за нее. Первые месяцы дались ей очень тяжело. Каждый день ее рвало. Мы не знали, чем ее кормить, любая пища вызывала тошноту. Было страшно, что истощение скажется на ребеночке, который вот-вот должен был проявить первые признаки жизни.

Не знаю почему, но я не сомневался в том, что будет мальчик.

Чем ближе подходил срок родов, тем чаще Нина плакала по ночам. Она боялась. Я успокаивал ее как мог, говорил, что все будет хорошо, что все просто обязано быть хорошо и она потом сама будет смеяться над своими страхами.

Роды пришлись на Пасху.

Нина разбудила меня среди ночи. На лице ее не было испуга. Она была только очень бледной, серьезной, сосредоточенной, держала руки на животе.

Я вскочил, бросился всех будить. Кругом бегали с тряпками, полотенцами, грели воду.

Я оделся кое-как и поскакал за доктором в Барыш. Как назло в ту же ночь он принимал роды еще где-то. Я бросился туда. Пришлось ждать. Доктор, немолодой уже человек, в потертом сюртуке, небритый, с засален-

ным воротником, засыпанным перхотью, проспал всю дорогу у меня на плече. Пока я ездил, схватки усилились и начались уже роды.

Я хотел пройти к Нине, но тетка не пустила меня. Я сидел у дверей, потом ушел, потому что не мог слышать ее криков.

Думаю, не вина доктора, что все так произошло, и не знаю, можно ли было спасти ее.

Все эти месяцы я даже думать боялся, что с ней может что-то произойти, и я совершенно не был готов к этой смерти.

Конец ее был ужасен. Нина так измучилась, что у нее не было сил кричать, она лишь стонала непрерывно. Я держал ее за руку. Она вцепилась в мои пальцы. Мне казалось, что она уже ничего не понимала. Ей принесли ребенка, но она даже не взглянула на него.

Помню, как в первый раз мне протянули этот кулек, поместившийся у меня на двух ладонях. Я приоткрыл край пеленки, где была головка. Один глазик вдруг приоткрылся и посмотрел на меня.

Перед самым концом она что-то заговорила, но язык уже плохо слушался. Наконец я догадался, что она говорила про крестик, она хотела, чтобы его надели потом ребенку. Я снял его с нее и надел на себя, он был еще горячим от ее тела.

После смерти Нины я долго не мог прийти в себя.

Иногда я забывался и звал ее. Все вещи кругом говорили о ней, а ее не было. Иногда я узнавал в себе, в матушке, в тетке ее слова, какие-то отдельные жесты. В шкафу нетронутой висела ее одежда. Мужики говорили: «А Нина Ильинична велела сделать так!..»

Смерть эта потрясла всех нас. Утешение мы искали у детской кроватки. Мальчик помогал нам забыть.

В доме поселился непривычный острый запах младенца. Матушка и Елизавета Петровна не отходили от крошки. Все разговоры были теперь о пеленках, запорах, резах в животике, об отрыжке, о молоке. Я разрывался между работами на полях и домом. Я сам влезал во все, что касалось моего Сашеньки. Было страшно, что ребенка могут уронить, ошпарить, простудить. Я сам мыл его в ванночке, пеленал, возил гулять по саду. Я немедленно выгнал кормилицу, которую мы взяли в дом из деревни, когда увидел, что она дает ему грудь, не ополоснув ее. Я боялся отпустить его от себя, мог без конца тискать его, трогать его ручки, пальчики на ножках, нежные, крошечные, меньше, чем горошинки в стручке. Он был удивительно похож на меня, даже все родинки на теле были на тех же местах, что у меня. Было забавно, что это миниатюрное, вечно орущее существо — я сам, Сашенька Ларионов, родившийся на Пасху. Он даже был такой же золотушный, как я в его возрасте. Вся головка его вдруг покрылась струпами и очистилась только после прорезывания зубов.

Каждый день, каждый месяц приносил что-нибудь новое, Сашенька рос, менялся, делался совсем другим, и быстро забывалось, каким именно он был в месяц, в три, в полгода.

С каждой неделей переживаний становилось все больше. Опасности подстерегали его на каждом шагу. Он мог упасть с крыльца, оступиться и напороться на какой-нибудь сучок или щепку, проглотить что-нибудь, прищемить пальцы в дверях, и еще Бог знает что. Чего только мне не пришлось пережить с ним! Один раз он сильно обжегся о раскаленную печную дверцу. Я лил ему на ручку масло, он исходил в крике, кожа прямо на глазах вздувалась волдырями. В другой раз матушка моя недоглядела, и Сашенька схватил у нее со столика какие-то порошки. Отравление было очень тяжелое. Его рвало, с ним сделались судороги, начался жар, он был в беспомощности. Доктор сказал мне шепотом, что, если мальчик не умрет, случится чудо. На матушку мою невозможно было смотреть.

Сашенька стал средоточием жизни моей. Он был моей радостью, единственным моим богатством, единственным, что давало мне силы.

Летом, когда было полно дел, я не видел его целыми днями. С утренней зари я отправлялся на работы и возвращался уставший, весь в пыли, к обеду. Я брился раз в неделю, ходил с черно-желтым лицом, в нанковом запачканном сюртуке, в стеганом картузе. К моему приходу Сашеньку уже укладывали спать в саду, под парусиновым пологом. Я осторожно, чтобы не разбудить, подходил и целовал его в загорелый лобик. После обеда я снова уходил и возвращался поздно, когда его уже убаюкивали на ночь. Я жил и

не понимал, вернее мне некогда было понять, что я счастлив, ибо что еще есть счастье, если не это: притащиться усталым домой, помолиться на ночь за ребенка, перекрестить его и заснуть крепко-крепко.

Чем старше он становился, тем с большей тревогой я замечал, что между нами росло еле заметное пока отчуждение. В этом маленьком человечке мне виделся я сам, но Сашенька все время отдалялся от меня, я вдруг обнаруживал в нем незнакомые, неприятные мне черты.

Он научился вдруг врать. Причем обманывал удивительно, глазами.

— Сашенька, — скажу я ему. — Ведь это же неправда, то, что ты мне говоришь. Ну, посмотри мне в глаза!

И он смотрит на меня с такой обидой, сквозь слезы, что я сам же прошу у него прощения. А потом, когда выявится обман и я хочу отругать или наказать его как-то, он глядит на меня волчком и, если я тащу его в чулан, в угол, вырывается, кусается и бьется в злых рыданиях.

Откуда-то взялась в нем жестокость. Я приучал его относиться ко всем окружающим, и к животным, и к людям с лаской. Но он часами бегал по саду с рампеткой и, поймав кузнечика или бабочку, с наслаждением жег их на солнце под увеличительным стеклом. В другой раз я застал его за тем, что с деревенскими мальчишками он надувал через соломинку лягушку. Вообще, к книжкам не умел его приохотить, а с детьми дворовых он мог носиться без конца, все его тянуло на задний двор, в нечистую людскую. Я пытался учить его рисовать, играть на флейточке, но он убегал от меня и заводил вместе с Катьками, Машками и Николашками «А мы просо сеяли, сеяли! А мы просо вытопчем, вытопчем». Однажды он увидел, как конюх топил щенят. Мой Сашенька плакал целый день, и я не знал, как утешить его. А потом, когда разродилась кошка, он сам утопил котенка. Он придумывал все время какие-то жестокие игры. Я ругал его, а он не понимал, почему я сержусь на него.

Матушке становилось все хуже. Ее выводили на крыльцо, и она сидела там в кресле, положив ноги на скамеечку.

Ей все чаще снились какие-то тяжелые сны, и она всякий раз справлялась с сонником, что значат ночные видения. Глаза отказывали, и, помню, однажды она попросила меня:

— Саша, сыночек, будь добр, посмотри, что там значат змеи. Страх Божий! Всю ночь меня змейки мучали.

Я отыскал слово и начал читать:

— Змей видеть во сне здоровому — предвещает победу над врагом.

Я остановился.

— Но у меня нет врагов, — сказала она и велела читать дальше. Дальше были слова:

— Больному же предвещает смерть.

Матушка горько улыбнулась.

— Вот на этот раз сонник не врет. В этом году я умру.

— Ну что ты говоришь! — стал успокаивать я ее, но она только сокрушенно качала головой.

На следующий же день в окно нам залетела птица и долго билась о стекла. Тут матушка совсем поверила в свою близкую смерть и стала гаснуть на глазах.

Она души не чаяла в Сашеньке, а он, как подросток, стал сторониться ее, часто обижал до слез. Игрушками, сладостями она пыталась как-то приручить его к себе, добиться ответной ласки, нежности, но он только хватал гостинец и убегал.

Последние месяцы она не выходила уже из своей комнаты и просила, чтобы Сашенька поиграл у нее, но прийти к бабушке невозможно было его заставить. Я тащил Сашеньку за руку, но он ревел:

— Не хочу, не хочу туда, от нее пахнет!

Матушка умерла осенью. Октябрь стоял сухой и теплый. Вершины берез были покрыты вороньими гнездами. Вечерами вороны хрипло, простуженно каркали, низко перелетая с дерева на дерево, и последние дни матушка все время смотрела на них в окно.



В предсмертье она вдруг заволновалась, тревожно кричала. Лишившись языка еще за полчаса до смерти, хотела написать что-то на аспидной доске.

Когда она отошла, Елизавета Петровна перекрестила сестру, поцеловала в губы, закрыла ей глаза, сняла свой платок и подвязала матушке подбородок.

Отпевали ее в нашей церкви. На голову надели кайму с печатными образами и полили волосы маслом из чашки. На кладбище несли ее по нашей аллее, устланной только что спавшим липовым листом. Перед тем как заколотили гроб, я все хотел, чтобы Сашенька поцеловал бабушку, но он испугался, закатил истерику, и я отстал от него.

Сашенька рос, нужно было заботиться о его образовании. Мы наняли ему учителя из семинаристов, неуклюжего, но ученого молодого человека. Он взялся за первого своего ученика с азартом, но остыл очень скоро. Писать Сашенька ленился. От арифметических примеров его тянуло в сон. Зато, наслушавшись о Спарте, он стал окатывать себя ледяной водой, гулять босиком по росе, по дождю, отрекся, правда ненадолго, от чая, лакомств. Над учителем своим Сашенька смеялся и устраивал ему злые проказы. Однажды даже испортил его единственный сюртук чернилами. Я наказывал сына, но это только ожесточало его.

Тетка все пыталась приучить его молиться. Над кроватью висел образок, перед которым она упрашивала его сказать молитву. Он крестился кое-как, зевал, озираясь во все стороны, и, пробурчав что-то, убежал.

Принялись учить его музыке, посадили за пьесы Штейнбельта и Фильда. Занимался он, что называется, из-под палки, а кончилось все тем, что однажды, забравшись на стул, он слишком наклонился над пюпитром и обжег о свечу ухо и клок волос.

Подошло время, и мы отдали его в нашу симбирскую гимназию.

Я привел его за руку в то самое ненавистное мне здание на Венце. В нем все перестроили, но чугунная лестница, истертая и моими ногами, осталась. Учителя все были новые, но за эти годы в жизни гимназии, кажется, ничего не изменилось.

Я боялся, что Сашеньку моего будут травить, как травили когда-то меня, но обнаружилось, что он сам очень скоро стал заводилой в проказах. Дело чуть даже не дошло однажды до исключения его за драку.

Зимой темнело рано, и я встречал его у дверей гимназии. Потом я заметил, что он стеснялся, стыдился меня перед своими товарищами, нарочно подсылал кого-нибудь из них сказать мне, что он уже ушел.

За годы гимназии Саша удалился от меня еще больше. Он ничего мне не рассказывал. Я ничего не знал о нем: кто его друзья, чем он интересуется, о чем думает. От классного наставника как-то раз я узнал, что он подбивает других мальчиков курить, пробовать вино.

Каждую зиму мне казалось, что летом, в деревне, мы снова будем с ним вместе, что к нам вернется любовь, понимание, что нам будет снова хорошо друг с другом, как тогда, в детстве, когда надев на него теплый левантинový капотец, я возил Сашеньку на колясочке по саду, рассказывая про деревья, про белку, про все на свете, или когда на разостланном в зале ковре катали с лубка яйца на Святой неделе, или когда мы съезжали с ним с ледяной горы на толстой медвежьей шкуре.

Но приходило лето, а в деревню ехать Саша не хотел, ему было там скучно, и почти все время он гостил где-то у своих товарищей, а мы ждали его.

Я чувствовал, что мой сын не любит меня, и, главное, не понимал почему.

Не успели мы оглянуться, а Сашенька уже окончил гимназию, и кто бы мог подумать, что жить ему оставалось меньше года.

Он хотел быть военным, его манил Кавказ, форма офицера была пределом его мечтаний. Я же ни за что не соглашался, чтобы он служил в армии. Я настаивал, чтобы он учился в Москве, в университете.

У нас с ним произошло несколько неприятных разговоров. Саша кричал, хлопал дверьми, обвинял меня Бог знает в чем. Я стоял на своем. С его характером, я знал, он обязательно подставит голову под чью-нибудь пулю.

Вдруг Саша пришел ко мне и сказал, что он все понял, что я желаю ему добра, что он еще глуп и неопытен, что он просит прощения за все огорчения, которые мне доставил, и что он сделает так, как я хочу, — поедет в университет. Я чуть не плакал, он обнимал меня, и мы провели с ним, верно, лучший вечер во всей моей жизни, мечтая за графином смородиновой, как он поедет в Москву, станет студентом и будет потом служить, если удастся, по дипломатической части.

Саша уехал. Я проводил его до Симбирска и потом еще проехал с ним несколько станций. Мыслями он был уже далеко впереди сонной брички и на мои разговоры отвечал односложно или отмалчивался. Я готовился сказать ему перед прощанием что-нибудь очень важное, про свою жизнь и про его, но вдруг понял, что Саша просто не поймет меня, и лишь поцеловал его в нежную юношескую щеку — он только еще начал тогда бриться.

От него пришло всего два коротких письма, одно с дороги, другое он отправил из Москвы сразу по приезде, хотя обещал, что будет писать домой каждую неделю.

Мы сходили с ума от переживаний, написали в Москву знакомым, в университет. Когда я уже сам собрался ехать разыскивать его, пришло письмо, но не из Москвы, а с Кавказа, от какого-то полковника Захарова.

Тот день был самым черным, выпавшим на мою долю.

Саша обманул нас. Ни в каком университете он учиться не собирался, а задумал из Москвы бежать на Кавказ, сражаться с Шамилем. Говоря всем, что он сирота, что отец его, боевой офицер, погиб от чеченской пули, Саша каким-то образом добрался до передовой нашей линии на Кавказе. Этот Захаров велел отправить его обратно, но на партию напали горцы, и в стычке Саша был убит, пуля пробил его навывлет.

Кажется, еще только вчера ему прививали оспу, я держал его на руках и успокаивал: «Это блошки, блошки кусают!», а уже, верно, и косточки его истлели в каменистой мусульманской земле.

После гибели Саши я и тетка моя жили как бы по инерции: завтракали, занимались по хозяйству, делали какие-то дела, обедали, снова что-то делали, ужинали, рано ложились спать, но во всем этом не было уже ни какого смысла.

Елизавета Петровна очень тяжело пережила этот удар. В ее деятельной натуре произошел какой-то надрыв. В своем белом капоте, в батистовом чепчике с завязками, из которых сооружался бант спереди, закутавшись в домашнюю турецкую шаль с мелкими пальмами, она все чаще усаживалась на канапе, поддвигала старинный столик разноцветного дерева с медной решеткой кругом и часами раскладывала *grande patience*\*.

От старости тетка моя делалась все более невыносимой, ворчала, плакала, что она никому не нужна, что она зажилась, что все ждут ее смерти. По ночам она ковыляла по дому, стуча своей клюкой. На нее было страшно смотреть: отвисшая нижняя губа, проваленные щеки, беззубый рот.

В довершение всего у нее открылась болезнь желудка. Она ничего не могла есть и медленно высыхала. Невозможно было смотреть на ее страдания. В продолжение нескольких недель она ни днем, ни ночью не давала никому покоя. При ней постоянно кто-то сидел. Она все время охала, стонала, просила то положить ее повыше, то перевернуть на какой-нибудь бок. Она стонала, даже когда причащалась и соборовалась.

Почувствовав приближение своей кончины, она созвала всех в доме к своей постели и стала просить у всех прощения. Когда я обтер ее лицо и смочил голову одеколоном, волосы ее, все седые, тотчас сами собой завились и стали такими, какими были они в ее молодости. На изнуренном, ис-

\* Большой пасьянс (фр.).

худалом лице показался легкий румянец. По телу пробежала легкая дрожь, руки, пощипав одеяло, вытянулись. Я поднес ко рту ее зеркальце — стекло не потускнело.

Доктора все уговаривали меня поехать лечиться на воды — тогда уже началась моя болезнь, — но все было некогда, а теперь и Саша, и тетка отпустили меня.

Бросив опустылевшее снова хозяйство, я отправился в Москву, а оттуда на юг, в Пятигорск. Мысль, что по этой самой дороге ехал Саша и, может быть, видел вот эту липу, останавливался вот на этой станции, неотступно преследовала меня.

Поездка эта была для лечения моего бесполезна, но там, на водах, случилась со мной знаменательная встреча.

Выехал я зимой, в валкой кибитке, а приехал в лето. Никогда еще я не был в столь южных местах и, понятно, был очарован горами, поднимавшимися вокруг из голубой дымки. Не берусь даже описывать эту красоту. Курорт имел вполне европейский вид, и говорили, что он стал таким всего за какие-нибудь последние десять лет. Денег теперь мне было не жаль, и я останавливался в дорожной, только что открытой гостинице, где официанты подавали десерт и чай в белых перчатках, а в коридорах то и дело встречались горничные в шелковых и накрахмаленных кисейных платьях, с подобранными под сетку волосами.

Я пил воду, принимал ванны, не искал знакомств и не читал местный листок, в котором печатали имена приезжающих.

Публика была самая разнообразная, от великосветских старух до семейств степных помещиков в истертых старомодных сюртуках, и я сторопился всех.

Водяная жизнь сперва меня несколько развеяла, но и очень скоро наскучила. Через неделю уже сделалось мучительным вставать спозаранку и идти, по местному выражению, на водопой, пить холодную, как лед, вонючую серную жидкость, да и садиться в неотмытую ванну после какой-нибудь жирной старухи было малоприятно.

Я строго следовал предписаниям докторов, пил каждый день положенное количество стаканов и гулял по бульвару, засаженному липами. До конца моего срока оставалась еще неделя, когда утром в крытой галерее, что расходилась по обе стороны от источника, среди гуляющей публики я увидел сухого подтянутого старика, который держал за руку внучку, очаровательную белокурую девочку, завитую барашком, всю в бантиках и рюшечках.

Я сразу узнал его, хотя прошло уже много лет и он как-то высох, поседел, покрылся морщинами, одним словом, состарился. Повернуться было неудобно, уклониться от встречи поздно, и я пошел прямо. Он тоже несколько раз взглянул на меня, во взгляде его что-то насторожилось, будто он вспоминал, где мог меня раньше видеть. Когда мы поравнялись, он остановился.

— Здравствуйте, господин Маслов! — сказала я.

Он снял шляпу, поморщился, потер лоб.

— Право, мне весьма неловко, но что-то не могу припомнить.

— Моя фамилия Ларионов, — подсказал я. — Ларионов Александр Львович. Мы встречались с вами в Казани.

— Господи, ну конечно! — Маслов протянул мне руку. — Я вас помню. Вот так встреча! Сколько лет прошло! И надо же, где встретились. Вы по-прежнему в Казани?

— Нет, я симбирский помещик.

Мы оба замолчали. Наступило какое-то минутное замешательство. Девочка тянула его за руку.

— Сейчас, сейчас пойдем, Танечка, — ласково сказал он ей. — Вот видишь, дедушка встретил старого приятеля, будь добра, не злись. Лучше позволь мне тебя представить этому милейшему человеку.

Она, смутившись и покраснев, сделала книксен.

Мы отправились гулять вместе, и разговор наш был самой пустой, что называется, курортный, кто от чего лечится, да что говорят доктора, да как

кормят за табльдотом. После очередного стакана ледяного кипятка мы повторили наш маршрут до конца липовой аллеи и обратно.

Мальчики, раздававшие воду, едва успевали наполнять кружки и давать подхोдившим листочки шалфея для очищения зубов. Полковой оркестр наигрывал старинные марши и экосезы. У внучки Маслова было несколько цветных стеклышек, и она смотрела в них по очереди на все кругом.

Пора была уже прощаться, когда я спросил, что случилось потом со Степаном Ивановичем. И вот, что я узнал от Маслова.

Степана Ивановича сразу отвезли в Петербург, доставили прямо в Петропавловскую крепость, в Алексеевский рavelин. Назначена была комиссия, началось следствие. Дело было более чем серьезное, речь шла о смертном приговоре. Ситников написал самому Николаю Павловичу из крепости целое послание, причем не с прошением о помиловании, а с подробным изложением плана переустройства России на основе избирательного права, представительной системы, которую он назвал хартией вечового правления. Написано все это было в неповольительном горячем тоне. Он писал Николаю, например, что хоть и в глаза не видел Рылеева, но знает наверняка из его сочинений, что тот был честнейшим и благороднейшим человеком. И это он писал царю про преступника, казненного за покушение на цареубийство! В послании своему он отказался от дворянского звания, от всех наград и отличий и написал, что власти этой он над собой не признает, и потому судить его они не могут, а он сам себе судья. И в каземате он все сражался, не выполнял никаких тюремных предписаний, а Сукину, коменданту крепости, заявил, что кресты ему надели за то, что в двадцать шестом году он тиранил там людей, а потом и повесил их. Смотрителям он сказал, что из рук их пищу принимать не будет, и ничего не ел, хотел уморить себя голодом. Пришлось надеть на него смирительную рубашку и кормить с ложечки. Отец Степана Ивановича и сестры ходатайствовали о медицинском освидетельствовании его, говоря, что это есть душевная болезнь и что родная мать его периодически была подвержена сумасшествию. Крепостной штаб-лекарь осмотрел его и признал в совершенно здоровом уме и рассудке, не найдя ни малейших признаков сумасшествия. Так Степан Иванович просидел в каземате почти год, прежде чем состоялся суд. Военный суд приговорил его к четвертованию, как тех, которых судили там же за пять лет до него и отнесенных к преступникам вне всяких разрядов. Ждали подтверждения приговора и замены средневековой казни на расстрел или повешенье, но Николай Павлович, прочитав подготовленную для него выписку из дела, удивился, как можно казнить явного сумасшедшего, который, зная, что ему грозит, не кается, не просит о пощаде, а сам призывает себе смерть. Николай послал в крепость к Степану Ивановичу своего личного врача, баронета Вилли. Несколько дней Вилли и другие врачи ходили к Ситникову и в конце концов вынесли определение, что он вовсе не сумасшедший, что имеет лишь горячую голову, пылкий характер и легко ранимую душу, а следовательно, есть предмет, достойный жалости. Николай Павлович тогда якобы сказал: «Бог мне судья, но штабс-капитан этот все равно сумасшедший, и вешать его не за что». Степана Ивановича отправили в Шлиссельбургскую крепость, и там, в одиночке, через пять лет он тихо утас.

Я тогда сказал Маслову:

— Вот видите, я же говорил вам — это просто болезнь, помутнение разума, лихорадка.

Маслов усмехнулся.

— Какое теперь все это имеет значение? Да и что жалеть его, верно, он и умер-то счастливым.

Девочке пора было идти домой обедать, и мы простились.

Я уехал из Пятигорска на следующий день, не дожидаясь, когда истечет намеченный докторами срок.

Обратно я ехал через Москву, Нижний, где у меня были хлебные дела, и Казань.

К Казани я подъезжал по недавно построенной через пойму Казанки дамбе, и весеннее половодье, залившее все кругом на многие версты, казалось настоящим морем.

Казань опять целиком сгорела и теперь заново отстраивалась, широко, с размахом, в камне, по-европейски. Город трудно было узнать. Только побродив целый день по улицам, я снова ощутил себя в Казани, этом все таком же пестром, шумном, разноязычном тарабарском городе, в небе над которым мешаются кресты и полумесяцы.

Нагорная вся выгорела, кое-где уже стояли новые дома, но на месте дома Нольде было пожарище, буйно заросшее лебедой и бурьяном.

В крепость я не пошел.

Зато, когда забрел в Мокрую слободу, с удивлением обнаружил чудом несгоревший ветхий домик, где обитал Пятов. У чумазой девчонки, стиравшей у корыта, я спросил, живет ли здесь еще Аркадий Петрович.

— Входите, входите, он там, у себя!

Я поднялся по шатким ступенькам. Я думал увидеть все ту же веселую пернатую каморку, но было тихо. Я постучался. Из-за двери послышалось:

— Войдите, кто там?

В комнате был полумрак. Пол еще больше выгнулся дугой. В углу стояла неопрятная кадка, исполнявшая должность ванны. У полуразвалившейся кровати вместо одной ножки было подставлено полено. Вместо подсвечника стояла бутылка, из горлышка торчал огарок свечи. У подслеповатого окошка висело заржавленное зеркало. Птичьих клеток не было и в помине.

Пятов сидел спиной к двери за кособоким столом и что-то писал. Я видел только его затылок, совсем полысевший, и заштопанные локти.

— Кто там? — спросил он снова и обернулся. Старость сделала глаза его бледными, как спитой чай.

— Я не вижу, кто это?

— Аркадий Петрович, это я, Ларионов, помните?

— А, это вы, — сказал Пятов, совершенно не удивившись. — Проходите. Вы уж извините, у меня тут работа. Спешу закончить в срок. Я тут, знаете, беру переписывать. Платят гроши, да жить-то как-то надо.

Он снова склонился над бумагой и заскрипел пером. Уже смеркалось и писать было темно.

— Да зачем же вы глаза ломаете? — сказал я. — Зажгите свечку.

— Ничего, ничего, — протянул он, — посумерничаем.

Мне показалось, что он от старости совсем уже спятил и неизвестно за кого принимал меня.

— А где же ваши соловьи, Аркадий Петрович? — спросил я.

— Мальчишки их отравили, — отвечал он, не отрываясь от бумаги. — Прихожу домой, а соловушки мои все дохленькие. Подсыпали им что-то. Я и клетки все продал.

— А что же новых не завели?

— Легко сказать. К ним ведь привыкаешь, как к родным детям. Прирастешь к ним душой, а мальчишки опять отравят! Да и жить-то мне сколько осталось? Не сегодня — завтра отправляться, а с ними что будет?

Я стал расспрашивать его про наших сослуживцев.

Нольде умер давным-давно.

Барадулин тоже, но умер не по-людски. Попал в прорубь Кабана ночью, возвращаясь откуда-то пьяный. Тело его летом выплыло у забора Вараксинского завода.

В соседней церкви зазвонили, и Пятов оторвался от писания, перекрестился испачканными в чернилах пальцами, откинулся на спинку стула, покрутил головой, любуясь на свои каракули, грызя стебло разлохмаченного пера, потом снова принялся за работу.

Я сунул ему под подушку несколько ассигнаций и попрощался.

— И вам всего хорошего, — ответил он, даже не обернувшись.

Зашел я и к Солнцеву.

Встретила меня босая горничная в деревенском платке на голове и растерянно пробормотала, что барин в саду. Там я увидел нечесаного старика в засаленном полинявшем халате на мерлушках, с пришилиленной к нему звездой и подпоясанном простой веревкой. Он важно гулял по дорожке и остановился, глядя на меня из-под густых, нависших над глазами бровей, Солнцев отрастил бороду и усы, которые под носом были желтого цвета, вероятно, от курения табака. Он носил на лбу зеленый козырек, который ему прописал доктор, чтобы спасти больные глаза от солнца.

Я боялся, что он не узнает меня, но память была у старика еще свежа, он даже вспомнил, как меня зовут и как я тогда ушел, хлопнув дверью.

— Пройдемся, — сказал Гавриил Ильич и взял меня под руку. — Познакомлю вас с моими преданными друзьями, с которыми я коротаю время.

Перед каждым большим деревом стояло по ведерной бутылки, чем-то наполненной, и на каждой был ярлык. На одной из них значилось крупными буквами: «Наш российский ерофеич», на другой: «Семитравный приятель», на третьей: «Раскаявшийся разбойник» и тому подобное.

У каждой он останавливался и выпивал из маленького серебряного стаканчика, с наперсток величиной, который он носил с собой в кармане. Он строго приказывал выпить и мне. Как я ни отказывался, пришлось мне тоже подружиться с его приятелями.

Я долго не решался задать этот вопрос, потом все-таки спросил:

— Скажите, Гавриил Ильич, вы видели меня тогда? Ну, тогда, вы понимаете?

Старик ничего не понял и снова принялся рассказывать, как его изгнали из университета.

— И я пошел туда, потому что мне было интересно посмотреть на их лица, ты понимаешь? Я хотел увидеть их глаза! А потом всех простил, всех! Кажется, старик даже не заметил, что я ушел.

К будущему узкому жилищу моему я привыкаю постепенно. Все мое жизненное пространство сузилось теперь до кровати и кресла. Но слава человеку! Нет такого положения, в котором он не находил бы себе радостей. Пусть я прикован к креслу, зато волен выбирать себе окно.

В одном окне двор, весь запечатанный собачьими облатками, как письмо. Здесь царит жизнь, то и дело кто-нибудь пройдет, с ведром ли, с упряжью. Здесь же весь в наледи колодец. Все скользят, падают, но никто не догадается сколоть лед.

Из другого окна видны занесенная снегом дорога на Кудиновку и черная полоска леса. Там, в лесу, назло болезни в мае, когда все распустится, я прикажу устроить себе завтрак и обопьюсь чаем из самовара, буду пить стакан за стаканом, сколько душе угодно, да слушать, как заливаются кудиновские соловьи.

Что ж, я не боюсь смерти. Чему должно случиться, то все равно произойдет.

И умирать я тоже буду счастливым. Я ведь жил, и жизнь всю свою прожил, и что еще нужно?

И дал бы мне Господь нынче еще одну жизнь, прожил бы ее точно так, ничего бы в ней не изменил, ни слова, ни взгляда, ни вздоха. И ни в чем не раскаиваюсь. И ни о чем не жалею. Как все есть, так оно и должно быть.

Сейчас, к вечеру, снова стало полегче. Я давно уже приспособился писать лежа в подушках на большом подносе.

Велел открыть окно. Сердце отпустило, и задышалось свободно. Из сада воздух идет свежий, теплый, парной. Уже не оттепель, а весна. Смотрю на деревья, мокрые до черноты. Туман. Капель.

Так лежал, слушал и дышал, дышал.

Что-то написать хотел, что-то важное, да забыл и вспомнить никак не могу. Ничего, завтра допишу.

---

Григорий Померанц

## ЗАПИСКИ ГАДКОГО УТЕНКА

### ЧЕРЕЗ СТРАХ. КРЫЛО ВТОРОЕ

Перво-наперво меня захихнули в бокс (нечто вроде будки для телефона-автомата). 30 октября 1949 года — воскресенье, некому пуговицы срезать, волосы брить, смотреть в зад. Рядом кордегардия, вертухай учат Краткий курс. «Вещь в себе,— объяснял один вертухай другому,— это когда она еще не опознана. А когда опознана — уже не вещь в себе...»

Росту я небольшого, свернулся калачиком и заснул. Утром разбудил гул. Я не знал, отчего этот гул, и встревожился: может быть, включили какую-то машину, чтобы заглушить крики? Второй раз обдало страхом, когда фотографировали. Фотограф смотрел на меня с такой классовой ненавистью, что я сел на стул, как будто это электрический стул. Но ничего страшного не произошло. Видимо, еврей-фотограф (единственный еврей, оставшийся к 49 году в аппарате, с которым я столкнулся) хотел подчеркнуть дистанцию между собой и евреями-з/к з/к<sup>1</sup>. (Половина з/к з/к на Малой Лубянке были евреи. Мне говорили, что на Большой этот процент доходил до 70, а в следственной части по особо важным делам — до 90).

В 16-й камере страх сразу смыло. Я спросил, бьют ли. Мне ответили: нет, по нашей статье, 58—10, не бьют, и вообще здесь, на Малой, не бьют, только карцер. Карцера я не боялся. При эвакуации из медсанбата в полевой госпиталь натерпелся больше, колотило спиной и затылком на каждом ухабе (я не мог пошевелиться, продолжалось шоковое состояние). Потом стоим и стоим на месте; раненая нога, с которой сняли валенок, коченеет на морозе. Со всех машин вопли. И я вопил. Через час или два везли в другой госпиталь, опять пытка колодцем о днище грузовика. Опять мест нет. Опять везут. Опять нет мест. И только под утро приняла нас, Христа ради, в свою избу крестьянка Иванова. Избитая спина невыносимо болела. Я стал судорожно дергаться и минут через 20 вышел из шока — повернулся на левый бок... А карцер — подумашь! Там бывало полкамеры, многие постарше меня и здоровьем послабее...

Посреди камеры группа з/к з/к играла в «16 вопросов» (дихотомическим делением надо было дойти до загаданного великого человека: Шекспира, Монтецумы, Сеченова...) Меня тут же пригласили, я хорошо знал игру и четко выяснял сперва время, потом пространство, потом специальность. 16-ти вопросов хватало, и пару дней был чемпионом. Позже чемпионом стал очередной новичок, геофизик Шифман. Он нарушал правила и перепрыгивал через звенья, — всегда впадал. Видимо, его интуиция граничила с чтением мыслей без слов. Шифман отгадывал за семь-восемь вопросов.

В камере не было дневного света. Воздух проходил через слуховое оконце, оставленное высоко в правом углу замурованного окна и открывавшееся с помощью веревки. Коек 19, людей (на 6 ноября) 43. И все-таки мне было хорошо — гораздо лучше, чем на окаянной воле. Там все время казалось, что я свободен, — и это была ложь. А здесь внешняя сила взяла мою внешнюю свободу — и освободила внутреннюю. Стало совершенно неважно, в каких обстоятельствах я жи-

<sup>1</sup> О к о н ч а н и е. Начало см.: «Знамя», 1993, № 7.

<sup>1</sup> Канцелярское множественное число: в/н в/н (вольнонаемные), з/к з/к (заключенные).

ву (это от меня не зависело. Я за это не отвечал). Важно было только, какой я сам.

С первого часа меня захватило искреннее доброжелательство, с которым группа игроков в «16 вопросов» встретила меня, пригласила участвовать в игре, назавтра — прочесть лекцию, послезавтра — послушать концерт старинных романсов вполголоса. (Исполнитель Иван Федорович, бывший выдвиженец, директор совхоза, потом з/к и после освобождения — печник, пел с большим вкусом, не перебарщивая в сентиментах, и так же обаятельно рассказывал о своем романе на этапе и о лагерной жизни, где «все можно и все нельзя»...). Я вдруг почувствовал себя дома, среди своих.

На воле только с Л. Е. Пинским можно было отвести душу. Затравленный, но еще не арестованный, он рычал, как волк, рассказывая мне эпизоды кампании по борьбе с космополитизмом. Самым близким товарищем Леонида Ефимовича был тогда попугай Янкель, обученный нескольким подходящим выражениям. Семья, где я изредка бывал, вызывали только тоску. Евреи потихоньку жаловались, что их выгоняют с работы. А я слушал и думал: что же вы молчали в 29-м, в 37-м? И если тогда было хорошо, то почему теперь плохо? Только у Пинского отрицание было до конца честным, глубоким, целостным. Но одним отрицанием, одной яростью, одними гротесками мысли нельзя было жить. А в камере была радость. Как в бою.

Радость лучилась из инженера Витенберга. Его взяли прямо после Сочи, шоколадного от загара, полного сил, и он со всей силой характера сумел переломить уныние, устроить на Лубянке пир во время чумы.

В 1922 году Витенберга избрали в незаконное студенческое самоуправление (его и Шифмана). Теперь по инструкции, изданной в 1947 году, все прежде репрессированные попали в рубрику социально опасных. За какое-никакое, но политическое дело он отделался несколькими месяцами, а четверть века спустя, за одно воспоминание о прошлом, ему шили пять лет ссылки... Когда я сказал Витенбергу, что восхищаюсь его жизнерадостностью, он на минуту помрачнел и сказал, что по сути все, что происходит, отвратительно, как провонявший нужник. Но он не хочет чувствовать себя в нужнике. Витенберг и Шифман часто вспоминали Лубянку 1922 года (и свою молодость), веселый дух студентов, влипших в политическую историю, но никак не сломленных, чуть что бунтовавших, требовавших Дзержинского...

Я жадно впитывал рассказы. Это была живая, не подогнанная ни под какую идею история. Инженер Черкасов в первый раз сел в 1932 году за переписанный из любопытства памфлет против Сталина. Получил за это два года и отбыл их в сносных условиях. По его словам, кормили лучше, чем на воле. Никаких остатков бывшего братства революционеров уже не было, но садизма тоже не было, к говорящим орудиям относились по-хозяйски. Зато в 36-м — получив по старому делу еще три года и попав в категорию КРТД (контрреволюционная троцкистская деятельность) — он угодил в барак смертников на Воркуте и уцелел только чудом (вовремя прекратились расстрелы).

Камера была чем-то вроде массовой сцены в романе Достоевского, только без возможности разойтись по домам. Верхи смешались с низами, все возрасты, все нравственные уровни. Был и надрыв: один журналист время от времени начинал истерически кричать, что вот вы шутите, играете, — а через месяц какой-нибудь начальник сядет своей жирной жопой вам на голову; но Витенберг как-то мгновенно затыкал ему рот. Как именно, не знаю. Власть у него не было никакой и рук он в ход не пускал. Но было обаяние сильного духа, подчинявшего себе. И снова сыпались шутки. К сожалению, я запомнил только одну из шуток Витенберга. Нас вывели на прогулку; вертухай напряженно считал по пальцам (надо было выпустить полкамеры); Витенберг, шедший за мной, солидно сказал: «социализм — это учет»: так кстати, так смешно, что я чуть не сел на ступеньки.

Случались сцены, которые реалистический театр не принял бы (слишком театрално). Вот сидит мрачный тип и смотрит в книгу (книги нам давали).



Потом отбрасывает ее со словами: «контрреволюционная книга». Это Аксенов, по кличке Абакумов-Аксенов, спившийся и сошедший с ума сексот. В белой горячке ему мерещилось, что воробышки прыгают и чирикают: шпик, шпик, шпик. Аксенов взял паспорт и галстук и послал в конверте Абакумову (отсюда и кличка). Отправили в больницу, но выйдя, он снова запил и приклеил в двери: «Здесь живет агент советской разведки по кличке Волга...» Теперь ему светила Казанская психбольница. Но еще недавно он работал в театре Советской Армии (осветителем, что ли) и писал на всех характеристики. И на театр в целом: «Здесь, под красным флагом, свили себе контрреволюционное фашистское гнездо...»

А вот другая картина. Камера уже посвободнее стала, начало 50-го. Открывается дверь, и входит человек в лохмотьях с лицом нерукотворного Спаса. Кто, откуда — молчит. Сел на нары, помолчал, и вдруг запел:

Таганка, все ночи полные огня,  
Таганка, зачем сгубила ты меня!

Как он пел! Вертухай, обязанный пресечь нарушение тюремных правил, стоял у глазка и слушал.

Потом оказалось, что опять — повторник. Когда пришли его арестовывать, от ужаса, что снова начнется, в одном белье выскочил из окна, был схвачен милицией, принят за бандита, избит, чтобы признался бандитом, и только через несколько дней по всесоюзному розыску опознан...

Россия XX века раскрывалась передо мной синхронно (на 1949 год) и диахронно (с 1905-го), с выходом в немецкие обозы, где служили «добровольные помощники», и в маки (куда хиви<sup>1</sup> перебежали). Старый инженер рассказывал, как на рубеже 20-х и 30-х сорвал дело о вредительстве, обнаружив дефект станины, из-за которого получились аварии генератора (тогда еще можно было — и всех арестованных выпустили на волю. На радостях перепились до полусмерти). Один из главных контролеров министерства контроля (скрыл от партии свое анархическое прошлое) — как неподкупный Мехлис с отвращением отказывается даже от чашки чая, которой пытались угостить его, и как он, Фалькович, в 46-м году проводил ревизию ГУЛАГ<sup>а</sup> и обнаружил миллионы мертвых душ, на которых получались пайки. Я посоветовал никогда больше не рассказывать о своей борьбе за честность: зарежут на этапе (мне уже говорили, какой в 46—47 году был великий голод: воров свое возьмут, начальники тоже, и только туфта дает эску выжить). Тут же в камере образчик лагерной шоблы, шофер Веденин, алкоголик (обматеривший спяну все политбюро и попавший по благородной статье) — сыплет тюремными притчами и прибаутками (кое-что помню, но для печати ничего не годится)...

Я прибыл в 16-ю камеру безо всяких предварительных теорий, с совершенно девственным умом, очнувшимся после трехлетнего оупения, и впитывал все, как губка. История свивалась в одну ленту, начиная с борьбы за свержение нелегальной и кончая антисоветской «Молодой гвардией», организованной Володей Гершуни с несколькими другими мальчиками, прочитавшими «Молодую гвардию» Фадеева и брошюру Ленина «Что делать» (издавать газету. Или хоть листовку «Советское правительство скомпрометировало себя в глазах всех простых людей...»). К этой мощной организации принадлежал и Шульман. Учитывая возраст (15 лет), его не лишили ларька. И два раза в месяц, съев колбасу и масло залпом, он ночью просился на opravку.

В одной камере сошлись Никита Еремеевич, знавший старого Гершуни, руководителя боевой организации эсеровской партии, и Володя Гершуни, внучатый племянник исторического лица, а впрочем и сам лицо историческое, один из персонажей «Архипелага». Как в песне:

Сажу я в камере, все в той же камере,  
Где, может быть, еще сидел мой дед.

<sup>1</sup> Hilfswillige. У нас их называли власовцами. Это исторически неверно. Маки (франц.) — в данном случае: партизаны.

И жду этапа я, этапа дальнего,  
Как ждал отец мой здесь в 16 лет.

Володю несколько раз переводили из одной камеры в другую, и очень может быть, что с Никитой Еремеевичем он разминулся, но в 16-й камере побыл, и в моем сознании обозначил сегодняшний день так же, как Никита Еремеевич — день позавчерашний.

Никита Еремеевич был выловлен и водворен к нам в 1950-м. Богатырского роста, с каким-то самодельным костылем (накануне ареста повредил ногу), добродушный и могучий. Я думаю, в нем было на центнер костей и мышц (жиру нисколько). Нашего пайка, которого и мне, при моих 50 кг, не хватало, ему — на один легкий завтрак. Никита Еремеевич мужественно переносил голод, был ровен, весел, охотно вспоминал стихи, которые запомнил по тюрьмам-лагерям, и с добродушной улыбкой читал Баркова. Очень много говорит о человеке, как он читает такого рода вещи: без ханжества, но ни на миг не захлебываясь в грубых шутках. Накануне ареста Никита Еремеевич отдал директору совхоза в долг все свои сбережения, 2000 рублей (из-за каких-то неполадок не было денег уплатить рабочим), и сомневался, — отдаст директор старухе или зажмет. Мы несколько раз обсуждали эту тему, и ни разу я не увидел на лице Никиты Еремеевича злости или раздражения.

В 1905 году этот кроткий богатырь приехал из Москвы в родную деревню и выступил на сходке с призывом к свержению самодержавия; получил за это от Николая Кровавого один год тюрьмы. В Бутырках на Никиту произвели неизгладимое впечатление Гершуни (вскоре повешенный) и Мария Спиридонова (дожившая до расстрела в 41-м, при ликвидации Орловской тюрьмы). Не теориями какими-нибудь, а как писала Марина Цветаева Тесковой: всей собой. В партийных программах и теориях Никита Еремеевич мало разбирался, но людей чувствовал и следовал всегда своему внутреннему сердечному впечатлению; так что в тюрьму попал примыкающим к большевикам, а вышел примыкающим к эсерам. Просто потому, что поверил хорошим людям. И я поверил ему и верю до сих пор, что Гершуни и Мария Спиридонова были хорошие люди. Хотя в их партию я не вступил бы; но это совершенно другое дело. Я чувствую, например, что Родион Романович Раскольников — хороший человек; из этого, однако, не следует, что лично я мог бы убивать старушек. И Никита Еремеевич не мог и ни в какую революционную партию не вступал. Только сочувствовал.

В 1917-м он снова примкнул к большевикам и с какими-то оговорками (не вступая в партию) просочувствовал им до 1929-го. Видимо (пытаюсь понять) большевики 20-х годов нравились ему больше царских чиновников, а альтернативы не было. Подход Никиты Еремеевича к жизни был персоналистическим, теории над этим столяром не имели власти, хотя не так уж он был малограмотен, другие — ничуть не грамотнее — очень даже запутывались в словах. Видимо, террор, продрозверстку и прочее он принимал как неизбежность войны, революции. Но коллективизации решительно не принял, резко против нее выступал, объяснял товарищам, что делается в деревне, и попал в лагерь. Расконвоированный — бежал и много лет прожил по документам, купленным на базаре. Потом разнесся слух, что в 41-м дубянские архивы сожгли (там что-то действительно жгли), и после войны решил объявиться на свою настоящую фамилию (родных захотел повидать). По настоящей фамилии его и выловили.

Камера была полна обломков той могучей человеческой волны, которая смела старый режим и создала новый. То, что получилось, была торчавшая посредине Москвы Лубянка. Но люди, которые разрушили царизм, мне нравились. Просто по лицам своим, по жестам они были лучше советских обывателей, попавших в каталажку случайно, по доносам соседей, позарившихся на жилплощадь, и т. п. Другие глаза. Другие характеры. Старики тихо сидели по углам (одному эсеру было за 70), и все-таки я их чувствовал. Аура другая.

Однажды провокатор Турицын (один из хиви, зарабатывавший себе сбавку срока) сумел повернуть разговор так, что всех задел за живое и все высказались. Как осветилось изнутри резкое, словно высеченное из камня, лицо анар-

хиста, с какой страстью он говорил, что всякое государство зло! Как горели глаза дашнака! И как просто Никита Еремеевич, не любивший долгих речей, сказал:

— А я, пожалуй, монархист. Потому что лучше всего на моем веку жилось при царе.

Никита Еремеевич не был человеком, съеденным идеей; но людей, съеденных идеей (Гершуни, Марию Спиридонову), он любил. Не слишком разбираясь, какая идея их съела. В конце концов, это не очень важно, с человеческой и. может быть, с Божьей точки зрения. Вглядываясь в своих соседей по камере, я не видел существенной разницы между эсерами, анархистами и националистами (один дашнак и один сионист, Декслер, знавший моего отца, по его словам — видного бундовца). Их съели разные идеи, но все они были идейными людьми. Я впервые видел то, о чем писал Маяковский: «За нее на крест, и пулею чешите...» Декслера допрашивали с пристрастием, — поставленного под лампою, направленной в глаза, — требовали назвать фамилии сочувствующих сионизму. Он напрягал свою старческую память и называл покойников. На неделю его оставили в покое, потом снова допрашивали. И опять он называл покойников. Я уверен, что живого он не назвал бы ни за что. И так же держался бы анархист — если бы в 1949 г. на Лубянке была мода — искать анархистов.

Среди коммунистов тоже были надежные люди. Но идейными они не были; скорее ортодоксальными. Я не настаиваю на точности терминов и сразу же поясню их примером. Одним-единственным эпизодом, но очень многое мне раскрывшим.

Вокруг Витенберга были, насколько я помню, большею частью беспартийные (или забывшие о своей партийности). Но почему-то входил в этот кружок и Неймарк, совершенно сохранивший самосознание коммуниста 40-х годов. Наверное, по характеру его тянуло к бодрым, жизнерадостным людям; остальное отступало на задний план. Неймарк сел за то, что не писал в анкетах об одном мелком грехе: в 1927 году, комсомольцем, воздержался при голосовании троцкистской резолюции. Скрыл от партии свое колебание. Кажется, единственное в жизни. Методы следствия, с которыми он столкнулся, показались ему «несоветскими». И как человек цельный, счел своим долгом — гражданским и партийным — бороться с «несоветскими методами следствия». Я думаю, его активность — не только личная черта, а в своем роде типическая для ортодоксального марксиста. Недостаточно понять мир (и объяснить его) — надо мир переделать, действовать. В начале было дело. И Неймарк действовал. Он организовал нечто вроде юридической консультации, помогая новичкам и разоблачая наседок. В камере на 40 человек было несколько наседок. Заметив, что наседка подбирала к себе цыпленка, Неймарк отводил жертву в сторону и открывал ей глаза.

Контрразведывательная деятельность Неймарка не могла остаться незамеченной. Его стали допрашивать ночь за ночью, а днем следить и за попытку вздремнуть сидя немедленно схватывали и отправляли на пару часов в холодную. Неймарк переносил это мужественно, не скулил. Но от широкой деятельности вынужден был отказаться. Только мне он (почему-то был ко мне привязан) продолжал объяснять, что происходит. Вот к нам перевели весь состав небольшой камеры. А через день вводят какого-то человека в гимнастерке, и оказывается, что он работал в одном учреждении с Имярек (из той камеры). Знать друг друга не могли, работали в разное время — но почва для знакомства есть. Имярек тут же начинает рассказывать все свое дело. Гипотеза Неймарка: перед окончанием дела решили прощупать в частном разговоре. Я включаюсь в игру и знакомлюсь с гастролером. Вроде он человек с воли, а в разговоре мелькают тюремные слова. И говорит он о себе другое, — не то, что Неймарку. Значит, все врет... Через пару дней Имярек вызывают «с вещами». Конец следствия...

Встречались более трудные случаи. Решительно все наседки и гастролеры были какие-то недобрые (эта черта у них общая). Но один из жителей нашей камеры, кажется Хейфецем его звали, — добрый старик (неискренность я чувствую за 10 метров, здесь ее не было). Объективные данные против него: вызы-

вают раз в неделю днем на час-два. Приходит очень расстроенный. Гипотеза Неймарка: Хейфеца шантажируют угрозой арестовать жену, тяжело больную женщину, и из страха за нее он готов на все. Готов — теоретически, а стучать не умеет, не может, и каждый раз ему снова грозят. Как это проверить?

Однажды вышло у меня столкновение с Ведениным. Я открывал форточку, он ее пытался закрыть. Типичный конфликт между интеллигентцией и народом. Веденин готов был пустить в ход кулаки, но за меня сразу вступились несколько человек. Народ оказался в меньшинстве и отступил. Выходя на прогулку, я оказался рядом с Хейфецем; он мне посочувствовал. Я взглянул ему прямо в глаза и сказал: «А может быть, лучше открытый враг, чем скрытый?» Глаза Хейфеца дрогнули от боли. Через час он подошел ко мне и сказал примерно следующее: такому молодому человеку, как мне, нечего бояться, если о нем расскажут, потому что ничего плохого о нем нельзя рассказать... И еще раз как-то предложил мне миску супа, сказал, что у него аппетита нет.

Благодаря Неймарку я «погрузился» (как говорят при обучении иностранному языку) в двойное следствие, — на допросах и в камере, — и даже нарочно заводил разговоры с Турицыным — пусть донесет. Ведь все равно у них лежат мои заявления — чего придуриваться! Кое-какие мысли спрятал поглубже, а в остальном вел себя совершенно открыто, в рамках выбранной роли розового либерала. Какое это было наслаждение — играть, верно, но играть свою собственную роль, с которой совершенно слился, играть один из поворотов самого себя! Какое освобождение — сравнительно с волей, где все время типун на языке! Впервые за три года выстроил пространство внутренней свободы. После Витенберга, я, кажется, больше всего обязан этим Неймарку. Но не могу забыть одного разговора с ним. После лекции об Иване Грозном он отвел меня в сторону и тихо спросил: правильно ли он понял, что моя точка зрения не совсем ортодоксальна? Я подтвердил. Неймарк вздохнул — и простил мне мою неортодоксальность.

Мне кажется, что слово Неймарк выбрал очень точно. Речь шла не об истинности или ложности, а об ортодоксальности и неортодоксальности. Истина была партийна. Она заключалась в верности партии. Партия могла менять свои точки зрения на Ивана Грозного (или на Троцкого), но каждый раз она была права. Немудрено, что именно эта партия сумела удержать государственную власть. Идейные партии, увидев, что идеи потерпели крах, попадали в кризис и вылетали в трубу. А большевики меняли идеи — и удерживали власть. Разумеется, многие старые большевики при этом отсеивались или попадали в оппозицию или оказывались не у дел (это были идейные люди, наподобие других революционеров). Но основной костяк большевизма составили люди дела, верившие Ленину (или Сталину) и жаждавшие действовать, организовывать, управлять. Это могли быть люди доброй воли (Неймарк, Иван Федорович); но они не были духовны, не были даже идейны. Они были ортодоксальны. Потеряв связь с линией партии, — наподобие Ивана Федоровича — они теряли и свою идейность и превращались в людей без идейного прилагательного. Эсеры, анархисты, дашнак, сионист свои идеи сохраняли, их идейность была личной; коммунисты, как правило, превращались в бы в ш и х коммунистов. Таким было, по-моему, основное направление процесса. Какое-то меньшинство шло против течения и сохраняло верность идеям 20-х годов. Из этого меньшинства вышли Костерин, Григоренко, Лерт. Но для массы коммунистов верность партии выше верности идее. А я сравниваю именно рядовых коммунистов с рядовыми эсерами, анархистами и проч.: в 16-ю камеру вовсе не собирали элиту.

Знакомство с живой историей так меня захватило, что для уныния и страхов просто не оставалось места. Впрочем, один раз перетрухнул: вдруг стали допрашивать о Георге Лукаче. Лукача я знал шапочно, вряд ли сказал с ним больше 10 слов, но испугало то, что допрашивали о нем как о преступнике, с которым на завтра будет очная ставка. Я подумал, что готовится новый венгерский процесс, и собирался подышать в следственной части по особо важным делам. Однако на другую ночь уже допрашивали о другом. А в лагере я лю-

бывался на плакат-воззвание Всемирного совета мира — с подписью: Дьердь Лукач.

В общем, следствие было скучным. Неймарк мне заранее все описал и научил, как вести себя: не умничать, не обличать следователей в неграмотности, но и не уступать в основном: ничего не знаю. Выкладывайте свое досье. Если выложите — признаю. И тогда признать две-три фразы, чтобы без карцера, не портя себе здоровья, прийти к 206-й (статья УПК о передаче дела в суд). Оправданий не бывает; срок все равно дадут; но лучше получить пять лет, чем десять, — и никого не запутать. А для этого надо пройти через машину по возможности туповато, безлично, без лишних слов.

Как это верно, показывает история моего сокамерника Сыркина. Сыркин был убежден, что его посадил Аронов (работал дескать в ОКБ, снюхался с гебистами) и на допросах нещадно поливал Аронова. Оказалось все не так. Арестовали Гринберга, за какой-то грешок, совершенный в 27-м году. Он на первом же допросе, в состоянии полной опрокинутости, признался, что разговаривал с Ароновым и Сыркиным о незаконных увольнениях евреев. И все трое получили по десятке за раздувание религиозных и национальных предрассудков в обстановке массовых волнений (58—10, ч. 2). В церкви (пересыльной камере Бутырской тюрьмы) друзья встретились, и Сыркин советовался со мной: не набить ли Гринбергу морду? Я не посоветовал: состояние шока, вызванное страхом, — скорее болезнь, чем подлость. Через полчаса Аронов и Сыркин простили Гринберга и вместе сели закусьвать.

Пару глупостей я на следствии сделал. Мне показалось, что тема приезда из Польши, в 1925 году, была обмусолена в деле отца, и беззаботно рассказал, как мы с мамой и теткой переходили границу. Следователь очень оживился и записал, что я перешел границу юношей семи лет. Я возразил, что по-русски так нельзя сказать; пришлось переправить юношу на ребенка. Но отец на свидании пожурил меня: оказывается, он сам за полтора года следствия все, касающееся мамы, тщательнее обходил.

Следователей полагается два: первый жесточе, второй помягче. Жесткий, лейтенант Наумов, два раза пытался перейти на мат. Я каждый раз с самым невинным видом, раздумчиво повторял грубое слово ровно три раза: «Что Вы тут находите б...ского? Ничего б...ского здесь не вижу. Нет, решительно ничего ничего б...ского...» Второй раз — то же самое. Наумов понял игру и продолжал следствие на том казенно-бюрократическом языке, который называл юридическим. Мягкий следователь, старший лейтенант Стратонович, должен был (по идее) действовать тонкими психологическими приемами; но с тонкостью у него не ладилось: он просто вызывал меня по ночам и ложился на диван, подремывая, а мне время от времени бормотал спросонок: «Думайте...» Две-три ночи подряд я мог выдержать, больше же у него не получалось, другие дела были. Один раз вошел какой-то начальник в штатском.

— Встать!

Я встал.

— Допрашивается арестованный (или подследственный) Померанц, показаний не дает.

Начальник стал мне грубить:

— Вы нахал и трус!

— Отчего трус?

— А что нахал, вы согласны?

— Нет, но прежде всего не трус!

— Почему же?

— Я был на войне, имею два ранения...

— В спину!

— Нет, в груди! — воскликнул я, как Лермонтов:

С свинцом в груди и жаждой мести...

Хотя он прекрасно знал, что Пушкин был ранен в пах. А меня в грудь только раз царапнуло, я и в сачасть не обратился. Но так поэтичнее.

В заключение начальник велел Стратоновичу выписать постановление — в карцер. За провокационное поведение на следствии. Я был приведен обратно прямо на оправку и нарочно громко, нарочно при Шумкове, стоявшем около умывальника, нарочно весело, со смехом рассказал о спектакле. Расчет оказался верен (не имеет смысла давить на того, кто плохо поддается; бесхозьяйственно впустую использовать карцеродни). Мне еще разок вяло пригрозили — и оставили в покое. А если бы я испугался, извели бы одними угрозами. Как Соловьева.

Я не раз говорил Григорию Мосеичу Соловьеву, что заключенных много, карцеров мало, и никто не станет тратить драгоценное средство давления на его пустяковое дело (элементарный повтор. В 37-м, простояв сутки в шкафу и посмотрев на кровоподтеки соседей, подписал, что десятью годами раньше, живя в общезитии, слушал разговоры троцкистов и соглашался). Тогда Соловьев пытался объяснить, что признание вырвано было под пыткой, следовательно грозил ему карцером (обряд заключался в подтверждении старой писанины). И каждый раз Соловьев не умом, а всей кожей вспоминал ледяной колымский карцер, где провел не помню сколько суток за провокационную троцкистскую вылазку (то есть заявление с просьбой направить его добровольцем на Хасан или Халхин-Гол). Уцелел только потому, что один из конвоиров нашел эту вылазку не такой уже вредной и пожалел Гришу, подкармливал. Было в моем тезке что-то мягкое, доброе, вызывавшее жалость.

Гриша прекрасно понимал все мои доводы. Но каждый раз, когда его вызывали (на С... без вещей), он судорожно надевал теплое белье (в карцере раздевали до белья). Страх был не в сознании и не мог быть побежден никакими доводами. Он сидел в подсознании. На Колыме Соловьев как-то барахтался, пытался выжить, но одна мысль о возможности еще раз очутиться в ледяном аду действовала на него, как на Гоголя — мысль об адском пламени. От этого наша дружба. Гриша был старше лет на 10, но нуждался во мне, как ребенок, проходя по темному лесу, — в руке взрослого. А меня привлекала его мягкость и нравственная чистота. (Он вырос в семье староверов, не знавшей ни водки, ни курева, ни мата).

С Колымы Соловьева выдернули по ошибке. Накануне ареста он выдвинулся — до главного инженера авиационного завода; однако не самолетостроительного, а моторостроительного. Туполев и Архангельский его не выдали, переучили в самолетостроители, но призрак возвращения в лагерь не уходил. В список на реабилитацию Соловьев не попал — срок у него был малый, пять лет, и к моменту реабилитации Туполева уже кончился. После попытки самоубийства его вызвал генерал, объяснил, что после войны выпускают — и действительно выпустили, с паспортом на основании статьи 39-й (не дававшей права жительства в Москве) и московской пропиской (своя рука владыка) Потом эта инструкция об антипартийных элементах. Рассекретили. Ходил к Туполеву. Генерал-полковник Туполев со слезами на глазах сказал ему: поверь, Гриша, я ничего не могу для тебя сделать. Новый арест. И теперь какой-то паршивый лейтенант (но главного в государстве ведомства) играл с ним, как кошка с мышкой, даже вовсе не собираясь съесть, — но как не скалить зубы, видя дрожащую мышшь? — И в конце концов довел до обострения язвы желудка, нажатой на колымских помойках. После этого следовательно, вовсе не собиравшийся губить ценный кадр, выписал Соловьеву больничный паек. А в итоге — то, что я ожидал: 7-35. Соловьев схитрил, дал мне знать: сказал вертухаю, что остались в камере семь кусочков его сахару. Я сообразил.

Между тем мое дело шло своим чередом. 206-ю подписал уже из Пугачевской башни в Бутырьках (после душевой камеры — ледник)... И попал в светлую, сравнительно комфортабельную общую камеру. Шахматы, шашки, каждые две недели ларек. Там, впрочем, не было наготове обстановки, которая увлекла меня в 16-й. То ли состав другой, то ли напряжение упало (следствие кончилось, оставалось дожидаться решения ОСО). И я сам создал обстановку: начал читать лекции, заводил других, чтобы они читали...

Через некоторое время предложил реформу: выделять в пользу неимущих не только хлеб, а десять процентов всех продуктов. Мое предложение было при-

нято единогласно. Однако на другой день Соломон Ефимович Малкин (бывший эсер, рассказывавший потихоньку, за шахматами, историю ЧК) передал, что два человека жаловались ему на злоупотребление авторитетом. Они не решились выступить против, чтобы не оказаться изгоями, и вот теперь вынуждены делиться тем, что отрывается от детей, с каким-то подонком, бывшим полицаем, камерной наседкой. Действительно, один из четырех или пяти неимущих был гнусным холуем. Я долго не мог заснуть и думал. Не хотели бы давать — не надо. Никогда никого не травил и не презирал за особое мнение. А по сути... Я ворочался и думал. Принципа у меня сперва никакого не было. Просто понравился один из неимущих, с которым играл в шашки. Немолод, лысоват, нос довольно острый. В общем, некрасив. Но было какое-то обаяние в улыбке, с которой он, начиная размен, повторял свою любимую поговорку: «главное дело начать, а потом будешь плакать да кончать».

Во время войны мой партнер оставался в оккупации, пытался строить под немецкой властью несоветскую русскую школу. Когда я спросил, почему, он твердо взглянул на меня своими серо-стальными глазами и ответил: «я был свидетелем коллективизации». Других разъяснений не нужно было; мы продолжали партию.

Чи рыба, чи рак —  
Кандыба дурак.  
Чи рак, чи рыба, —  
Дурак Кандыба.  
Так или сяк —  
Кандыба дурак.

Эту прибаутку сложили про лубянское следствие; во можно отнести ее ко всему XX веку. Если вы против Гитлера, приходится кричать: За Сталина. А если вы против Сталина, — выходит сотрудничество с Гитлером...

Задумав реформу, я видел перед глазами партнера — и просто закрыл глаза на того гнусного полицая. Теперь я представлял себе, как подслеповатый вел себя при ликвидации еврейского местечка. Или семьи партизана. Особенно мерзкими были бегающие глазки без ресниц... Потом снова вспоминал твердый серо-стальной взгляд заведующего районным отделом несоветского народного образования...

Нельзя было провести реформу так, чтобы помочь одному и обойти другого. И видимо всегда так: при отмене пыток, при отмене телесных наказаний. Права человека — это и права сволочи тоже. Кусок колбасы в тюрьме — право последнего негодяя. Доктор Гааз не спрашивал, за что каторжники получили срок. Если можно не считать человеком мерзавца, то завтра в мерзавцы попадет Сократ или Христос. И, конечно, я тоже для кого-то мерзавец. Хотя бы потому, что я еврей. Поэтому лучше накормить четырех подонков, чем не накормить одного хорошего человека.

Так в первый раз мне пришлось оказаться на стороне палачей и стукачей. Потом мне это припечатали — в зарубежной прессе, за старых чекистов. Но началось с куска колбасы гитлеровскому полицая.

Соломон Ефимович Малкин этот принцип совершенно принял и потом (за глаза) очень меня хвалил (его сестра оказалась знакомой моей будущей жены). По духу своему он был правозащитник и рад был возрождению старых традиций русской тюрьмы. Но сам он не пытался их возродить. Опасался, что любая активность с его стороны будет понята как возрождение контрреволюционной эсеровской деятельности, а он выдавал себя за обывателя, давно забывшего о прошлом (и получил ссылку в Караганду, где мог работать по специальности). Соломон Ефимович не был трусом. Он имел мужество сохранить свои убеждения (советский человек меняет их вместе с газетами). Но чтобы жить на советской воле, собственное мнение надо хорошенько спрятать, завести внутреннего стукача и внутреннего тюремщика, постоянно надзиравших за движениями сердца. Я никогда не мог этому выучиться.

Волна бодрости, начавшаяся еще при аресте, несла меня и в столыпинском вагоне, и в карантине. На этой волне я и с Шелкоплясом столкнулся. Но

дуракам счастье. Слух об интеллигенте, которого чуть не убили табуреткой, разнесся по лагпункту. Бывший учитель немецкого языка, а потом священник, мой товарищ по этапу, рассказал об этом сионисту (учетчику на лесозаводе, куда карантин выгнали грузить доски); сионист поговорил с правым уклонистом Сорокиным — кажется, тем самым, который когда-то дружил с Авторхановым (слушатель ИКП, секретарь Архангельского обкома, сидел 14-й год невылазно); Сорокин зашел в карантин и поговорил со мной минут 20 о Гегеле, а потом сказал: «Ну хорошо, я скажу Шустерову (начальнику подсобных мастерских), что вы можете работать нормировщиком». Шустеров считал, что Сорокин — это голова; и я первый раз в жизни попал в элиту, на местном языке — в придурки. Правда, удержаться на теплом месте оказалось непросто. Но трудности пришли потом, а сперва — после легкой работы я целыми вечерами мог сидеть на скверике у бездействующего фонтана и глядеть на махровые маки.

На севере в конце июня — белые ночи. Это понятно. Но откуда фонтан и маки? От лейтенанта Кошелева. Ему неохота было тратить средства по статье «улучшение быта з/к з/к» без выдумки, на какие-нибудь пирожки — и время от времени приказано было соорудить фонтан или расписать столовую в стиле рококо (и расписали, при мне; до октября расписывали; потом два года завитушки слушали отборный лагерный мат; а через два года их закрасили). Фонтан на моей памяти действовал два дня: водопроводной воды не хватало. Но за маки я искренне благодарен судьбе. После прогулочных двориков Бутырок — какая это была отрада! Благодарен старичку-садовнику, которого Кошелев приспособил к этому делу, и самому Кошелеву; он любил красоту. Это был традиционный русский купец-самодур, энергичный, суровый, по-своему справедливый: повальщики у него все проходили через ОП — отдыкательный пункт, вспылчивый, с причудами, с нелепыми выдумками — из таких мужиков, которые шли в гору при Петре Алексеевиче. В советской России стал мастером леса, пошел служить в лагерь (лес пилили з/к з/к) — и взят был в кадры, получил звание (сперва небольшое; заместителем у него был подполковник, совершенный болван). Меня недолюбливал (и имел для этого некоторые основания), но когда я оказался целиком в его власти (в 53-м) — держался по-человечески, спросил, в какую бригаду я предпочитаю идти (мне было все равно) и сказал: ничего, не пропадешь. Я мог ждать худшего. Кошелеву, как Френкелю (которого Солженицын описывает каким-то демоном), было все равно, что пилить, что строить, с вольными, с заключенными — лишь бы пилить, лишь бы дело шло. Экономическое развитие России совершенно немислимо без Кошелевых — с погонами или без погон.

Итак, я проводил вечера в сквере у цветущих маков и окунался в золотой свет северного лета. Видеть свет солнца! Я вспоминал Гомера. Это и значит жить в самом глубоком и полном смысле этого слова. После восьми месяцев в камерах я просто смотрел в небо. И я его видел. Впервые за много лет видел этот Божий праздник. Сердце расширялось и постигало что-то самое важное, что я понял и научился называть словами только много лет спустя.

В фантастическом свете вечера со мной рядом сидел фантастический человек, возвращенный в Каргопольлаг из очередной психушки. Он рассказывал мне, как укрощал взглядом буйно помешанных, крутил романы с сестрами и обыгрывал в шахматы врачей. Я предложил Александрову (так его звали) партию в шахматы. Он возвращал мне плохие ходы, объяснял ошибки и потом лениво поставил мат. Думаю, что и вся его история была правда, только необычная. Александров воевал, дерзил особистам, и они ему схлопотали 10 лет. Но иной человек действительно присужден к свободе. Александров был готов на расстрел (по законам военного времени), только не на подчинение несправедливому приговору. Работать он отказался. Его посадили в центральный изолятор, вызвали к Купцову (надеюсь, что запомнил фамилию), тогдашнему начальнику оперчеккистского отдела. И произошло что-то вроде диалога Сутасомы (одного из воплощений Будды) с людоедом Калмашападой:

- Да как ты смеешь! Да я тебя съем!
- Ешь...



История Александрова подтверждает психологическую правдивость джатаки (из прекрасной книги Арья Шуры). Купцов, без сомнения, видел воров-отказников, готовых на смерть, но иначе, с блатным надрывом, а не так, философски спокойным. Чем-то его Александров пронял. Не решаюсь сказать, что владыка страха полюбил Александрова, но расстреливать не захотел. И придумал выход: определил в сумасшедшие.

Александров был стоик по натуре. Пару раз я пытался угостить его (в буфете отпускали дополнительное блюдо, котлету с гарниром). Мнимый сумасшедший спокойно и просто отказывался: не хотел привыкать к разносолам, втянулся в баланду. Для меня это было слишком рационально — и все-таки нравилось. Если бы миром управляли философы, Александрова признали бы нормой, а нас всех, прочих, — йеху. Иногда я думаю: что если бы вдруг, по капризу генетики или по благодати, народилось побольше людей такого склада? Наверное, общественный и государственный строй России сильно бы изменился. Человека, присужденного к свободе, нельзя испортить ни царизмом, ни большевизмом.

Александрова вызвали; он работать опять отказался, сославшись на свое личное дело; там много чего было написано. И его оставили в покое — до этапа в лагерный психстационар. В эту паузу его судьбы мы и поговорили.

Потом золотой свет вдруг кончился, полили холодные дожди, и начались беды. Так, примерно, в Китае средних веков исполнение приговоров откладывалось до осени, чтобы не нарушать гармонии природы.

Начальник подсобных Шустеров подлозил на выпивке и списал бригадира (номенклатура начальника ОЛП'а). Кошелев, оскорбленный тем, что с ним ничего не согласовали, вызвал меня и сказал, что снимает меня. Однако оказалось, что это от него не зависело: я был номенклатурой ОИС (отдела интендантского снабжения). Чтобы снять, надо было доказать мою некомпетентность. На другой день придурки из планоно-нормировочного отдела ОЛП'а, которым я сдавал рабочие листки, стали их браковать. Я спрашивал, в чем ошибка, и вносил исправления. Каждый вечер сидел в конторе до 11 часов (а в 6 подъем!) и пересчитывал зарплату по ставкам в/н в/н для расчета производства с поставщиком рабочей силы, ОЛП'ом № 2 и по ставкам з/к з/к для начисления зарплаты. Котловка, описанная Солженицыным, уже была отменена. Введено гарантийное трехразовое питание (при выполнении нормы хотя бы на 50%) и зарплата; либо, если зарплата выходила меньше 260 (за питание, одежду и жилье), — начислялись гарантийные 26 (постхрущевские 2 р. 60 коп.) на мелкие расходы. Для заключенных — лучше котловки, но писанины выходило много, а опыта у меня не было никакого.

Есть такая дзэнская притча: сын разбойника попросил отца выучить его ремеслу. Отец взял мальчика на дело, завел в богатый дом, запер в чулан, надел шуму и ушел. Маленький разбойник был в отчаянии. Потом он нашел слуховое окошко, вылез, обманул преследователей и убежал. Добравшись до дому, спросил отца, для чего тот завел его в ловушку. «А как ты выбрался?» — возразил отец. Сын рассказал. «Ну вот, теперь ты знаешь ремесло».

Моей школой была травля, длившаяся 8 месяцев. Можно было дать на лапу (взятку), и от меня бы отстали (Кошелев про меня, наверное, скоро забыл). Но я предпочитал пойти на общие. Около трех лет на должности, связанной с лапой, я ни разу ничего никому не дал и не угостил. Меня самого пытались угощать — из вежливости выпил, а потом поставил сапожнику те же пол-литра. Больше он ко мне не напрашивался в сабутыльники. Вступив в традиционные лагерные отношения, пришлось бы постоянно думать, что кому дать, пить и есть с людьми, которые мне безразличны и прямо противны. Это значило бы потерять внутреннюю свободу. Впрочем, тут не было расчета: я просто не мог иначе. Оставалось делать вид, что я принимаю придирку за чистую монету. Ошибся? Хорошо, переделаю. На другой день докладывал начальнику, и тот, чертыхаясь, приписывал обчисланному рабочему какую-нибудь туфту. Все это в основном касалось двоих или троих: печника, столяра, древокола. В делах портных и сапожников контора ОЛП'а не разбиралась. Пару раз срезали выработку слесарям. Трофимович на другой день выписал им процентов 200 за ремонт лагерных кастрюль.

Заплата там на заплате и пойдй разберись, какая свежая, какая прошлогодняя. Приходил какой-то гнусный тип-инспектор, проверять объемы работ, но в кастрюли не совал носа — понимал, что Трофимович обведет его вокруг пальца. Только с мрачным видом замерял свежие пятна штукатурки, словно это были пятна свежей крови. Видимо, напрашивался на пол-литра. Но не получил.

Зато меня и помучили! Удавалось вздохнуть только в выходные дни — три положенных з/к выходных дня в месяц. Но куда деваться в свой выходной? После райского северного лета наступила тьма крошечная. Побродил на морозце — и в барак. А барак — человек на 100, все бригады, обслуживающие ОИС. Грузчики всегда входили с шумом и пьяными криками. Водку можно было доставать, а шобла<sup>1</sup> любит покуражиться; выпьет на гривенник, шума на рубль. Помню чувство облегчения, когда эстонец Кайв (добродушный увалень, мастер шить офицерские шинели; во время войны служил в войсках СС) схватил хвостунишку, как котенка, вынес из барака и бросил в снег. К счастью, мой сосед по «купе», Василий Иванович Коршунов (тоже изменник Родины), оказался вылитый Иван Денисович. Он опекал меня не без хитрости (я рассчитывал его наряды), но в то же время искренне привязался, добрый был старик; и я к нему привязался. Когда его, Кайва и Сорокина угоняли на Воркуту, в лагерь потяжелее, мне хотелось плакать. Я отдал Василию Ивановичу на дорожку все свои наличные деньги и жалел только, что мало их было — рублей 50 с лишним (то есть примерно пять с полтиной). А с Сорокиным простился холодно. Он шокировал меня, намекнув на благодарность за устройство на работу. Интеллигент, о Науке логики рассуждал! Я сделал вид, что не понял, поломал голову и сам сообразил, как делать отчет, — не стал больше спрашивать... Впрочем, Сорокин и на Воркуте не пропал: встретил его в Москве на площади Дзержинского. Он шел со Старой площади и похвастал, что партстаж ему восстановили с 1920 года. Мы зашли в забегаловку и вышли по 100 грамм.

Масса черных бушлатов постепенно распалась для меня на отдельные лица; и завязывались первые узелки дружбы, которая скрасила мне лагерь. Но в эту первую глухую зимнюю тьму все подавляла тоска по Мирре. Хоть два дня свидания в полгода, хоть в год! А она не едет. Пишет, что дождется (и я не сомневался, что дождется) — но почему верит маминым страхам больше, чем мне? Почему не чувствует моей тоски? Значит, не шибко любит. И эту простую добрую женщину я за три года не привязал к себе. Остается ждать конца срока. А мне сидеть еще четыре года. Как в песне:

А мне сидеть еще четыре года.  
 Душа болит, как хочется домой...

Четыре года оглядываться на стукачей, бояться второго срока. А потом — жить где-нибудь в Александрове и тайком приезжать к жене, у которой комната и служба в Москве. И опять бояться милиционеров, дворника, соседей, как Ефим Миронович, мой тесть, приезжая к Софье Абрамовне.

Месяца два я молча ходил взад и вперед по дорожкам и носил в себе эту боль. Я не скрывал ее. Когда Виктор спросил — спокойно все рассказал. Но у меня никогда не было потребности в исповеди и в совете. Ответ должен был прийти не извне, а изнутри. И он пришел. Я решительно отказался от того света, которым стала воля, Москва, женщины. Я приготовился жить на этом свете, то есть в лагере или в вечной ссылке. И жизнь вернулась ко мне. Вместе с внутренней свободой пришла внешняя (насколько она возможна в лагере): бухгалтер-ревизор Малиновский, из контриков, отбывших срок, наотрез отказался составлять акт на мои мелкие ошибки (он видел насквозь лапочников, которые меня травили), и свора от меня отцепилась. Я остался, как Брахман, вне всей системы профанических связей и зависимостей. И погрузился в белые ночи нового северного лета.

Рабочее время стало для меня временем отдыха и разминки (пара часов игры со счетной линейкой и арифмометром — не труд). А настоящая жизнь на-

<sup>1</sup> Мелкое ворье.

чиналась вечером, с собеседниками на платоновском пире. Осторожность мы до некоторой степени соблюдали: беседовали, прогуливаясь, меняя тему, когда на встречу шел трассник (завкантеркой, имевший обыкновение гулять по той же большой дороге от столовой к вахте); Сталина называли по-английски — Джо Ужасным (слова Грозный у англичан нет). Но, конечно, видно было, что мы разговариваем не о погоде. Ну и ялевать. Страх второго срока пришлось отсечь, как гниющий аппендикс.

Два года я жил под конвоем, но духовно свободным, без цепей страха. А на воле полезли новые страхи. Сперва я боялся даже милиционеров. Привыкнув к конвою (шаг вправо, шаг влево — конвой применяет оружие...), я без него чувствовал себя как бы в побеге. Это прошло, но запретная полоса на палангском пляже еще в 1961 году вызвала неприятные ассоциации. Когда приходилось писать письма в лагерь, я очень нехотя давал свой обратный адрес, — не хотелось создавать магическую связь с тем светом, когда этим светом стала воля. И потом приходили страхи — от новых видов оружия, пускавших в ход против диссидентов. Это как на войне. Не в том дело, что дорожный инцидент или удар по голове в подъезде страшнее официальных средств воздействия, но они другие, они неожиданные. Все понятное перестает быть страшным. Все привычное становится как бы понятным. А тут ждешь удара справа — и тебя бьют (или грозят ударить) слева, ждешь спереди — а угроза вдруг сзади. И накатывает волна страха...

Страшнее всего то, что вовсе не имеет физического образа. Я не боялся нарушить многие табу, но каждый раз, выезжая на дачу, пугался ночного шороха деревьев и мышинной возни под полом. Особенно мышинной возни. Почему-то мне казалось, что это скребутся поджигатели или убийцы, которые вот сейчас прогрызутся и набросятся на нас спящих. Я понимал, что все это вздор, но этот вздор уходил корнями в какие-то детские и даже утробные и предутробные страхи, словно припоминались какие-то травмы прежних жизней — страх погрома в украинском местечке или страх зверей в первобытном лесу. Из шорохов росли серые призраки, обступавшие дом. С рассветом они исчезали. Я нарочно шел зимой с работы через заброшенное кладбище (было такое, неподалеку от метро Новые Черемушки. Сейчас его сровняли бульдозерами). Проходя мимо могил, пробовал силу молитвы. Помогало. Но в первые дачные дни опять вылезал какой-то архетип страха. Исчез он только недавно, уже после моего 60-летия. Кажется, это связано с чувством, что главное, для чего меня послали в мир, уже сделано, и я готов вернуться к хозяину. С тех пор страхи ушли.

Я не думаю, что всякий страх сводится к страху смерти. На войне я привык к пулям и снарядам, но боялся танков: танки могут окружить, взять в плен. А в плену будут унижать, мучить. Чтобы снять страх, я расстегивал кобуру и клал руку на рукоятку нагана: могу застрелиться, как командир и комиссар саперной роты под хутором Ново-Россошанским, 10 января 1943 года. Страх сразу исчезал.

После 50-ти лет я боялся заболеть раном. Потом, увидев мужественную смерть трех женщин, перестал бояться.

Сейчас меня пугает не смерть, а другое: что судьба вывернет фальшивую ноту и испортит то немногое хорошее, что во мне накопилось и через меня должно остаться. Или что в новой жизни (если индийцы правы, и карма потащит нас в новые перевоплощения) наделаю каких-то новых, непоправимых ошибок. Или не сумею пройти свой квадрильон, испугаюсь стражей порога, не вынесу какого-то неизбежного страдания — и, не пробившись к внутреннему свету, отступлю во тьму. Боюсь струсить. Боюсь боязни. Страх — тормоз. Иногда он удерживает от глупостей, а иногда — от броска, за которым Бог.

Многое мне разъяснил анализ страха, который я нашел у Раджнеша. Слушатель спросил его:

«Когда я был молодым, я обычно ощущал своего рода притяжение, находясь вблизи открытых окон, наверху какого-нибудь высотного здания. Многие из тех, с кем я сейчас работаю, тоже ощущают подобное чувство. Мне кажется,

что если я подойду еще ближе, то могу прыгнуть. Насколько я могу судить, это не тяга к самоубийству. Что же это?..»

Раджнеш ответил: «Вы боитесь не обычной смерти — вы боитесь того, что адепты дзэн называют «великая смерть». Вы боитесь исчезнуть. Вы боитесь раствориться. Вы боитесь потерять самообладание, контроль над собой...

Даже если общество вдруг решит сделать всех абсолютно свободными, люди не будут свободными. Люди не примут свободу. Они создадут свое собственное рабство... Свобода страшна, потому что свобода просто означает, что их не будет... Вы должны освободиться от самих себя. Вы и есть рабство. Когда рабство исчезает, вы сами исчезаете. Иногда этот страх может появиться у вас у окна высотного здания или возле пропасти в горах... Это физическая ситуация послужит сигналом для вашей психики. Она может дать вам идею исчезновения, и помните: страх и влечение присутствуют вместе».

Это удивительно похоже на стихи Тютчева, которые меня завораживали с юности:

Но меркнет день. Настала ночь.  
Пришла, и с мира рокового  
Ткань благодатную покрова  
Сорвав, отбрасывает прочь.  
И бездна нам обнажена  
С своими страхами и мглами,  
И нет преград меж ей и нами,  
Вот отчего нам ночь страшна...

страшна — и неотразимо влечет. До призыва:

Дай вкусить уничтоженья,  
С миром дремлющим смешай!

«Вас влечет к открытым окнам, — продолжал Раджнеш, — потому что вам хочется освободиться от тюрьмы, ставшей вашей жизнью. Но это единственная жизнь, которую вы знаете, и вот появляется страх. Кто знает, есть ли другая жизнь, или нет...»

В любовном акте с мужчиной или с женщиной вас охватывает тот же страх, и вы боитесь найти друг в друге окно в бесконечность и потонуть в ней...»

Я заканчиваю мысль Раджнеша покороче, своими словами и думаю: что-то здесь очень верно схвачено. Но в моем опыте был не только и даже не столько этот страх. Господствовало другое: робость от своего неумения выходить из экстаза. Глядя на атакующую цепь, я легко мог преодолеть холодок страха и действительно пойти на разрывы, полететь над страхом (а не только вообразить это). А в любви... в любви было иначе.

Однажды (это было давно) волна любви перехлестнула через порог, в сердце что-то вспыхнуло, вроде вольтовой дуги, и горело несколько часов подряд, погасив своим светом мерцавшие в полутьме предметы, как солнечный свет гасит звезды. Только рассвет перебород внутренний огонь, прекратил его и вдавил в мое восприятие стол, стулья... В эти часы я чувствовал — каждый миг чувствовал, что еще одна йота блаженства — и сердце не выдержит, разорвется. Свет горел ровно, не нарастая; я остался жить. Но сколько ни любил потом — как ни любил — знание того, что сердце может разорваться от немислимого блаженства, останавливало.

Чего я, собственно, испугался? «Великой смерти», мистической смерти (после которой ап. Павел, или Мейстер Экхарт или многие другие испытали преобразование — и продолжали жить)? Нет, не этого! Скорее, наоборот: остановил страх умереть своевольно, преждевременно, так и не дойдя до чего-то высшего, еще не созревшего во мне. До чего именно, я тогда не знал и не мог сказать, но не хотел идти навстречу обрыва своей земной недоигранной роли.

Я не экстатик. Мне хотелось заглянуть за край страха, за край времени и вещей. И я заглянул, я как бы высадился на Луне и прошелся по ней. Но потом вернулся на Землю. И на Земле что-то шептало: «Довольно, ты

теперь знаешь, что там...». Другим, может быть, не довольно, а тебе хватит. Твой путь — по опушке, зная, что в глубине дебри, но не теряясь в них, не теряя чувства тропинки под ногами.

Как-то Зина плавала на большой волне. Я встречал ее в прибое и вытаскивал. Там, где надо было коснуться ногами дна и упереться, не дать волне опрокинуть себя, она была очень слаба, могла бы разбиться. Тут я был сильнее. И в нашей глубинной жизни я сильнее в прибое. Это, кажется, и в прошлом главное дело философии: подхватывать экстатический взлет и вытаскивать на берег.

Марина Цветаева писала, что — будь она Эвридикой — ей стыдно было бы вернуться назад. И рванулась — вместе с Марусей — навстречу Молодцу, потому что он позвал ее — не жить. То есть (как в стихотворении «Луна — лунатика»): «в миг последнего беспамьяства — не очнись!» А я всегда — и почти утлая в свете — сохранял разум и пробовал руками простыню (только одно чувство — зрение — повернулось к бесконечному. Остальные — в мире вещей). Я оставался на грани, чувствуя и «здесь», и «там». И безо всякого стыда вернулся жить. Я чувствую в своей жизни замысел режиссера, который мне надо разгадать и выполнить. А не торопиться на небо или в нирвану.

Одного дзэнского монаха спросили, кем ему хочется быть в следующем рождении. Он ответил: ослом или лошадью и работать на крестьянина. И я хотел бы чего-то в этом роде: способности любить и приносить любимым счастье. А вечное блаженство? Но вот бодисатва каждый миг чувствует возможность нирваны — и остается на земле. По-моему, это и есть высшее: чувствовать вечность сквозь время, блаженство сквозь скорбь. Любить без опьянения и без похмелья, на пороге экстаза сохранять ясный ум и готовность поддержать любимого, когда он споткнулся и падает.

Для таких людей, как я, экстаз — это то, что приходит (или не приходит) по дороге. Это не цель: цель — пойти и вымыть свою миску (одна из дзэнских притч)<sup>1</sup>. Свободно входить в экстаз и выходить из него могут немногие, большей частью — после долгих лет, даже десятков лет тренировок, настолько долгих, что ни на что другое не хватает времени. Люди созданы для разных задач, и надо понять свою задачу, не испугаться ее, принять ее труды и опасности — но не переоценивать своего дара. Созерцание внутреннего света было мне дано, чтобы я понимал и узнавал людей более глубокого духовного опыта, чем мой собственный, чтобы я с первого дня узнал Зину и мог стать пространством, в котором она расправилась, и дополнил бы ее поэтические взлеты своим спокойным пониманием — с годами все более спокойным и ясным. И чтобы я в текстах разных религий, рожденных в огне экстаза, спокойно узнавал подлинный духовный свет и не смешивал с луной палец, указывающий на луну... И чтобы в какой-то миг, казавшийся безнадежным, я понял: можно спокойно жить в рушащемся времени, не пытаясь его исправить, и писать — как на тонущем корабле пишут письмо, кладут в бутылку и бросают в волны — читателю после потопа.

Бог каждому из нас назначил ступеньку, до которой мы должны подняться. Есть незримая иерархия этих ступеней. Есть люди, которым назначено входить прямо в объятия к Богу. И есть другие, которым назначено принимать в свои руки плод экстаза, помочь подвижнику выйти из состояния полета, сложить крылья и встать на ноги. Этот выход из экстаза может быть очень болезненным и даже смертельным. Мне просто повезло, что внутренний свет тогда мягко погас, и я смог — после бессонной ночи, но совершенно без головной боли — пойти в библиотеку и переводить книгу Гензеля «К теории центрально-административного хозяйства». Экстаз, охвативший Даниила Андреева в тюрьме, кончился инфарктом. Блаженная Анджела страдала тяжелой нервной болезнью. Софроний рассказывает о подвижниках, сошедших с ума. Дело не только в риске, идти в атаку тоже очень рискованно и меньше дает (я пробовал то и другое и

<sup>1</sup> Послушник спросил дзэнского старца, как достичь блаженства. Тот сказал: «Ты уже позавтракал?» — «Да». — «Так пойдти и вымой свою миску».

могу сравнивать). Дело в высшей воле, которая иногда требует этого риска — как от Серафима Саровского, когда он тысячу дней стоял на камне, — а иногда не требует. Есть не одно, а много совершенств. И каждый должен понять свое совершенство и идти к нему, а не к чужому. «Бог не хочет от меня, чтобы я был Моисеем, — говорил цадик Зуся. — Он хочет от меня, чтобы я был Зусей».

Наверное, поэтому духовный путь связан со страхом и трепетом. Бог то влечет к себе, то отпугивает. Метафора оргазма, пущенная в ход Раджнешом, не всегда подходит к случаю. Духовный пик может не совпасть с эмоциональным пиком (радости или ужаса или того и другого вместе), прийти после опыта, в тишине. Приближение к источнику бытия может каждый раз вызывать другие чувства. Но это всегда проблеск истины, скрытой за суетой повседневного. В другом месте Раджнеш выбирает более точные термины:

«В каждом детстве есть сатори (вспышка просветления), каждое детство полно сатори, но мы утратили его. Рай утрачен, и Адам выброшен из рая. Но воспоминание осталось, неведомое воспоминание, толкающее вас на поиск».

«Иногда вас может так поразить неожиданная опасность, что становится возможным проблеск... И для тех, у кого есть эстетическая восприимчивость, у кого поэтическое сердце... возможен этот проблеск».

«Источником сатори может быть все, что угодно. Это зависит от вас. Это никогда не зависит ни от чего другого (в предметном мире.— Г. П.). Вы просто идете по улице: смеется ребенок... И может случиться сатори».

«Духовный поиск возможен только тогда, когда с вами случилось что-то без вашего ведома. Может быть, в любви, может быть, в музыке, может быть, в природе, может быть, в дружбе...»

В моей жизни было несколько таких проблесков. Но не было учителя, который провел бы меня от проблесков к совершенному пробуждению. Некому было довериться — кроме Зины. Ей я сразу поверил. И хотя до сих пор не умею созерцать так глубоко, как она, — от нее я многому научился. Но она сама не все знала, — или не все могла, придавленная своей болезнью. И наконец она была она, а я был я, и мне надо было найти самого себя, а не только видеть ее. И все же я сразу поверил ей, и это мне очень помогло.

«Религия нуждается в вере, доверии, — продолжает Раджнеш свой ответ слушателю, хотевшему прыгнуть в окно. — Доверие — это дверь, окно в истину. Но мужество будет необходимо. Этот страх, эта тяга к окнам, которую вы ощущали, говорит, что вы с детства находились в поиске. Может быть, этот поиск уходит еще глубже в прошлое, в другие жизни. Так говорит мое чувство. Вы пробирались ощупью, искали. Вы находились в постоянном поиске. Отсюда этот страх и эта тяга. Есть поиск и есть страх, потому что кто знает — если вы подойдете слишком близко к окну, внезапно, в какой-то безумный миг вас это так захватит, что вы можете прыгнуть. И что тогда?»

Страх — это тормоз. Он удерживает нас от слишком раннего прыжка, от ненужного прыжка, от не вашего прыжка. Но рано или поздно придется прыгнуть. И тогда надо суметь прыгнуть. Без готовности к прыжку, без созерцания пропасти жизнь не полна.

Артист, вышедший на сцену без трепета, вяло играет свою роль. Но артист, испугавшийся зрительного зала, вовсе собьется. Бог создал нас для известной ему одному роли в большом спектакле. Надо угадать свой текст и суметь сыграть — с трепетом, но без занкания. В самой любви, изгоняющей страх, есть новый страх: за любимого, за любовь, за плод любви... Сама любовь неотделима от трепета, близкого к страху.

Страх — это мавр. Он должен уйти, но прежде сделать свое дело. Разве не страх бесконечности дал мне непосредственное чувство бездны, с которого началось все мое духовное развитие? Разве можно подойти к непостижимому без страха? И может быть, все земные страхи — только подобие этого великого страха. Искаженные, жалкие подобию.

Странная вещь — страх! Этот вопль: домой, к маме — возле совхоза Котлубань — куда он рвался? На Восток, в город Джамбул, где мама ютилась в эвакуации? Или в детство, и пусть она оберет с меня личинки страха, как ночью

как-то обирала клопов, чтобы ребенок спокойно спал? Или в утробу? Или в лоно Авраамово? Прочь с этой земли, где каждый шаг — страдание и страх смерти, на другую планету, в другую, вечную жизнь?

Почему женщины боятся мышей? Кто когда пострадал от мыши? Какой метафизический знак в мыши? Боятся мыши — и не боятся рожать?

Страх — не вывод, он не поддается опровержению. Можно доказать, что опасности нет, но нельзя доказать, что нет страха. Женщина, которая боится мышей, знает, что мыши совершенно безобидны, видит, что ее собственный двухлетний сын радуется мышонку — и всё-таки визжит. Лежа во прахе возле совхоза Котлубань, я знал, что Хейнкелы со своей высоты не видят и не бомбят отдельных солдат; мог бы и не ложиться, в 2 км от разрывов. Но мое знание не было силой. И Гриша Соловьев знал, что лубянский карцер — не чета смертельному колымскому...

Страх бесконечности, охвативший меня в юности, вовсе не связан с реальной физической опасностью. Разве только с опасностью сойти с ума. Это чувство пропасти под ногами, которой физически нет. Я испытал ужас, который можно сравнить с ужасом Флоренского, или ужасом Гоголя перед адом. Ад ведь тоже — тьма внешняя. Бесконечность тьмы, в которую проваливаешься, как атом в мировую пустоту.

Лукреций думал, что атеизм освободит людей от страха перед богами. А думает, что до Гамлета люди жили в уютном мире, где царило доверие Богу и не было мучений, как вправить расшатавшиеся суставы времени. Но после Лукреция осталась дурная бесконечность пустоты, а до Гамлета был ад. Для тех, кто способен испытать метафизический страх, перемена мировоззрения ничего не решает. Решает опыт. Пережить выход из метафизического страха непременно надо самому. Чужим опытом не спасешься. Гоголь слышал про опыт великих подвижников, проходивших сквозь страх к свету, но ему от этого не стало легче. Он боялся ада до безумия. От души Гоголя на меня до сих пор веет ужасом; я не поменял бы сомнений Гамлета на этот ужас. С Гамлетом мне не то что уютнее (это слово к нему не подходит), но больше по себе. Я с ним дома, как в 16-й камере на Лубянке.

Непостижим ад, непостижима дурная бесконечность, непостижимо страдание невинных. Это ранит з 16 лет, в 14 лет (Мартина Бубера), в 12 лет (Н. Ф. Федорова). Потом от этого прячутся. А те, кто не прячутся, становятся мыслителями, как Паскаль, или сходят с ума, как Кириллов.

В час смерти близких можем лишь одно  
 Припомнить мы, — что сами тоже смертны.  
 Лишь только смерть утешит — дом исчерпан,  
 Пробойна в глухой стене — окно.  
 Нам остается подойти к окну  
 И заглянуть в такую глубину...  
 И если не захочется закрыть  
 Окна и если можно жить,  
 Взглянув туда, — то можно глубь потери  
 Бездонностью души своей измерить.  
 И может быть, как свет во тьме сквозя, —  
 Нащупать то, что потерять нельзя.  
 Дай Бог, чтоб в опустенья страшный час  
 Открылась бездна внутренняя в нас!  
 Нам остается только лишь одно:  
 Распахнутое в глубину окно.

(З. М. Миркина)

Страх, доведенный до своей метафизической глубины, страх Божий — начало премудрости, начало духовной лестницы, первая ступенька ее. Но это не завершение, не итог, не добродетель, на которой можно остановиться и стоять всю жизнь. Пробуя и пробуя взять несколько ступеней с разбега, приходится опять и опять становиться на первую ступеньку. Держать ум свой во аде и не отчаиваться. Чередование страхов с бесстрашием нужно, как клинку — смена огня и холодной воды.

Страх — чувство. Низшее, чем любовь, но чувство, живой опыт. Мадам де Реналь говорит Сорелю: «я испытываю к тебе то, что должна чувствовать к Богу: благоговение, страх, любовь». И к Богу, к абсолютному свету, к абсолютному смыслу мира мы чувствуем то, что мадам де Реналь к Сорелю: благоговение, страх, любовь...

Любовь переносит через ужас, с которым Арджуна взглянул на мир глазом Кришны. Совершенная любовь не просто изгоняет страх; она его изгоняет — и сохраняет: как совесть, как опасение обидеть, причинить зло. И в самом полете над бездной остается трепет страха, ставший упоением и восторгом.

То, что мы различаем в мире осколков, становится единым при повороте к целому. Религия тревоги и религия спокойного созерцания ведут к одному и тому же. Для рассудочного восприятия буддизм и христианство — несовместимые принципы. Для апофатической мистики они едины, как лики Троицы. На глубине бытия страх и бесстрашие, смерть и бессмертие, исчезновение и вечная жизнь — одно. Прикосновение к этой глубине дает ключ к свободе от мелких земных страхов. Под Котлубанью мне помогла не идея, а живое чувство метафизического бесстрашия, выплывшее из глубины души. Когда бомбежка кончилась, я встал, пошел в медсанбат и сделал все, что следовало. Хотя внутри меня еще долго что-то ныло, как ноет старая рана (уже не мешая ходить).

Это был первый шаг на долгом, долгом пути, который и сегодня еще не кончился.

1984.

## ЦЕНА ПОБЕДЫ

Воевать мне пришлось, в течение двух лет, вне штата. Явился в строевой отдел (то есть отдел кадров) 258 стрелковой дивизии старшим команды из трех человек, доложился начальнику.

— Образование? — пронизательно спросил меня капитан интендантской службы Беремисский.

Я сказал.

— Сейчас же направлю вас в военную школу.

— Уже направляли из госпиталя. Не берут, я прихрамываю...

Беремисский задумался; перед его умственным взором развернулось штатное расписание. Потом в глазах мелькнуло «эврика»: «я вас прикомандирую к редакции с зачислением в трофейную команду».

Когда начались бои, трофейную команду расформировали. К северо-западу от Сталинграда не было трофеев. Только поле с недохороненными трупами. Я остался в редакции прикомандированным неизвестно откуда.

Самое страшное в эти месяцы было чувство бессмысленности работы. Никаких подвигов, о которых хотелось трубить. Ночью я ковылял из балки Широкой (штаб дивизии) в балку Тонкую и на рубеже августовского наступления входил в густой трупный смрад. Несколько раз натыкался в темноте на недохороненную руку или ногу...

Приказ был — достичь окраин Сталинграда, срезав клин, вбитый немецким танковым корпусом. Сил пехоты хватило на три километра. Потом надо было делать вид, что наступление продолжается, что мы давим на фланг Паулюса. Реденькая цепь, составленная из упраздненных обозников, подымалась и снова ложилась, ничего не добившись. К вечеру возвращались в Тонкую политработники, посланные в батальоны. Усталые, охрипшие, они по долгу службы пытались что-то рассказать, но я чувствовал за их словами то же, что по дороге: тоску и отчаянье.

Судороги мнимого наступления кончились примерно к концу сентября. Покойников захоронили как следует, смрад прекратился. Плотность огня упала, расширилась зона, по которой я мог ходить днем. Над степью, огромными перекатами уходившей на Запад, развернулось огромное синее небо, и на нем засия-



ло холодное октябрьское солнце. Оно светило и в августе, и в сентябре, но тогда как-то не мог я видеть его сквозь дым разрывов и смрад. Только сейчас я увидел и степь, и небо, и солнце. А временами чувствовал, что мои корреспонденции доставляли артиллеристам радость. Примерно как артистам — хорошая рецензия. И артисты с удовольствием встречали меня и с удовольствием рассказывали, как они играли свою роль. Раненая нога стала меньше болеть и не останавливала меня, словно автостоп, через три километра. Я нашел свое место на войне.

Во встречном бою 9—11 января 43 года погиб старший политрук, он же капитан Сапожников, штатный литсотрудник редакции. Редактор и секретарь редакции на передовую не ездили. Я возвращался оттуда раз в две недели, помыться в баньке, — выслушивал воркотню редактора, майора Черемисина, и снова исчезал недели на две. Меня знали в лицо во всех батальонах и батареях, но я нигде не числился, нигде не состоял на денежном и вещевом довольствии. Зато у меня было два продовольственных аттестата. Один прикреплялся на командном пункте дивизии или в полку, а другой оставался в редакции, и им пользовались наборщик с печатником. Время от времени плута-наборщика мучила его русская совесть, и он оказывал мне благодеяния: достал очки, взамен разбитых, и наган. В качестве парторга редакции он даже сумел надавить на Черемисина, и я получил медаль «За боевые заслуги».

После гибели Сапожникова редактор обещал ввести меня в штат, но соврал. Штатным сотрудником оформили бывшего секретаря политотдела, должность которого была упразднена. Я высказал т. майору все, что я о нем думал, и решил уходить. Но не осенью (раненая нога остро чувствовала холод), а весной. К весне редактору указали, что где-то человеку следует числиться, и я был оформлен сержантом, командиром отделения 291 гвардейского полка (дивизия наша, как и многие другие, получила гвардейское звание). Сержантом вполне можно идти на должность комсорга стрелкового батальона. Больше четырех месяцев комсорги не держались в строю, и вакансии всегда были. Я зашел в политотдел и подал рапорт: прошу назначить меня на должность... Через полчаса назначение было получено.

Никогда я не был таким своим. Я лился с массаами, как хотелось когда-то в 14—15 лет и перестало хотеться в 16. Я был свой в доску. Мы все были свои на передовой.

— Стой, кто идет?

— Свои.

И вдруг оказалось, что все это не так. Что все держалось только на личном знакомстве.

Впрочем, это все оказалось потом, а пока...

Над тобою шумят, как знамена,  
Двадцать шесть героических лет...

На площади польского городка стоит генерал-майор Кузнецов и принимает парад. Левина перевели в штаб армии. В конце войны его фамилия снова стала мелькать в приказах. Видимо, дали другую дивизию, негвардейскую, так же, как Крейзеру — негвардейскую армию.

Возле помоста оркестр. Трубач, с которым мы когда-то вместе были зачислены в трофейную команду, дует в свою трубу. Капельмейстер, уговоривший меня сочинить гимн 96-й гвардейской, помахивает палочкой.

Несокрушимая и легендарная,  
В боях познавшая радость побед...

Прошло четверть века, прежде чем я написал в эссе «Неуловимый образ»: «добро не воюет и не побеждает. Оно не наступает на грудь поверженного врага, а ложится на сражающиеся знамена, как свет, — то на одно, то на другое, то на оба. Оно может осветить победу, но не надолго, и охотнее держится на стороне побежденных. А все, что воюет и побеждает, причастно злу. И с чем большей яростью дерется, тем больше погрязает во зле. И чем больше ненавидит зло, тем больше предается ему».

Я верю в победу добра под салюты из 220 орудий. И, старательно распрямляя сутулую спину, изо всех сил печатаю шаг в ячейке управления 3-го батальона 291 гв с. п. Все идет отлично. Я и в батальоне остался вольной птицей. Ленивый старший лейтенант Скворцов, замполит, предоставил мне полную свободу рук (только один раз он не подписал подготовленной мной бумаги, когда лейтенант Сидоров представил к медали «За отвагу» сразу семь человек евреев, — беженцев из западных областей, — «советских граждан со вчерашнего дня». Второе представление на двух уцелевших он, впрочем, подписал).

Мог бы руководить мной парторг, но он оказался сержантом из артиллерийских мастерских, примерно говоря, — слесарем из Металлоремонта, и чувствовал себя очень неловко в навязанной ему роли. Когда начались бои, раздобыл большую лопату и первым делом копал ровик. Как только развернется командный пункт, копает. Скворцову копал ординарец, а я обходилсь вовсе без ровика. Одна из причин, по которой я решил уйти именно на офицерскую должность, была свобода от лопатки. Я легко хожу, у меня крепкие ноги, а руки слабые, и в солдатской жизни под Москвой труднее всего было копать. Возвращаться к этому я не хотел, предпочитал риск. Полежу на земле; потом уйду в мирноту, а то и в стрелковую цепь загляну. Вернусь — какой-то ровик уже свободен.

В куче пустых статей попалась мне одна дельная фраза: хорошая политработа должна растворяться в частях, как сахар в чае, — без следа. И я все свободное время просто разговаривал с солдатами — по большей части мальчишками, ни разу не выдавшими боя, рассказывал, как вести себя под огнем и вообще хорошо чувствовать себя на войне. Один раз даже показал в первом бою, как сохранить рассыпной строй, не сбиваться в кучки (а очень хочется; кажется, что так не страшно; но именно по кучкам бьют пулеметы и минометы). Впрочем, больше всего в моих разговорах было не военно-тактических знаний, а чувства. Если хотите, можно сравнить мою роль с ролью анестезиолога при операции. Я сам не резал, но старался уменьшить боль от движения скальпеля. Почти всем нам предстоит выйти из строя, но храбрый умирает один раз, трус тысячу раз. От нас самих зависит, как играть со смертью: весело, с верой в справедливость своего дела и в свою счастливую звезду.

Поход был легкий. Лето 1944-го. Высадка союзников в Нормандии. Бомба Штауффенберга в ставке фюрера. Рядовой немец почувствовал, что Гитлер капут, и не хотел умирать в белорусских болотах. Фронт прорван был сразу силами двух полков, наш остался в резерве и вошел в прорыв походной колонной, вслед за танками. Шли два дня — 90 километров! — пока дан был приказ развернуться в цепь, наступать на какую-то высоту. И все же, после месяца или двух таких легких боев, из трех рот осталась одна численностью 35 человек. И опять пополнение, и опять потери.

Когда выбыл из строя парторг, меня (уже со звездочкой на погонах) назначили на его место, а комсорга прислали из специальной школы, где их, наконец, стали готовить, — младшего лейтенанта Бровко. Мы сразу с ним подружались, спали под одной шинелью, ели из одного котелка и на привале пели песню, мою любимую (про Ермака) и его кубанскую. Коля был идеологически выдержан и одобрял репрессии, «почистившие» станицы после немцев, но почему-то любил гимн кубанских автономистов:

Ты, Кубань, ты наша родина,  
Вековечный богатырь!  
Многоводная, раздольная,  
Разлилась ты вдаль и вширь...

Иногда на марше мой друг делился со мной опытом «безумных лет». Я слушал его с наивным интересом. Он не хвастался, а исповедовался и скорее каялся — если можно употребить здесь это слово. О многом говорил с искренним отращением, напоминаям пушкинское: «но строк печальных не смываю».

А работа парторга мне не понравилась: писанины вдесять раз больше, мало времени для разговоров с людьми, и люди липнут какие-то не такне. Особенно огорчило рвение к партийности со стороны двух уголовников. После пер-

вого боя судимость с них сняли, эту услугу я им охотно оказал: написал нужные бумаги и отослал в дивизионный трибунал, где оформлялось дело. Но вступить в партию? Для чего? Получить портфель и стать завмагом?

Один из уголовников настолько был жаден, что вызвался помогать при расстрелах (копал яму и хоронил убитого). Расстреливали при мне раза три. Полк выстраивался буквой П, посредине яма. Около нее ставили на колени осужденного, и ординарец уполномоченного Смерша убивал его выстрелом в затылок. Несчастные членовредители, серые от страха, умирали от одной пули. Но конокрад из группы разведчиков, воровавших лошадей в одной польской деревне и менявших на водку в другой, оказался живуч, как Распутин. В него всадили всю обойму, а он корчился и корчился. Двое или трое солдат упали в обморок. Уполномоченный вытащил пистолет и добил конокрада, а мой будущий столп партии содрал с покойника сапоги и был очень доволен.

Я посоветовался со Скворцовым, что делать, но инструкция не оставляла никакой щели для решения совести: судимость снята, человек хочет в партию — надо его принять. И я принял его и еще одного такого же. Зато командира минометной роты очень трудно было вовлечь в ряды. Что-то у него было на душе против партии (хотя так и не сказал что. Был осторожен). Насилу уговорил подать заявление.

Между тем восстала Варшава. Мы без команды стали сворачивать палатки (армия была выведена из боя и отдыхала перед большим маршем). Но в середине дня приказано было снова разбить палатки: в Варшаву мы не пойдём. А на другой день газеты сообщили, что по стратегическим соображениям помочь Варшаве нельзя. Почему нельзя? Шесть дивизий, то есть 54 батальона, больше 400 орудий и около 300 минометов, не говоря об артиллерии армейского и фронтового подчинения. Весь день нам совестно было глядеть друг другу в глаза. Слишком явная ложь. Как я проглотил ее? Я сам, я лично не мог бы это сделать. Но мы, но наш батальон, наша армия проглотили, и я вместе с ними. На миру не только смерть красна — и ложь становится правдой.

В 43-м восстало варшавское гетто и попросило помощи у Армии Крайовой. Командование армией ответило, что по стратегическим соображениям помочь нельзя (хотя кое-что можно было сделать), и даже не спрятали безоружных, вышедших из гетто по канализационным трубам. Больше того. В некоторых воеводствах Армия Крайова заключила перемирие с немцами на время окончательного решения еврейского вопроса. Теперь история повторилась... Сталин прекратил военные действия, пока Гитлер давал Польше еще один предметный урок. Надо было показать восставшим, что они дерьмо, нуль без палочки, и что-то значат только после русской единицы. А мораль, а воля народов, за освобождение которых мы боролись?

Возможно, с какой-то небесной (или адской) точки зрения все было справедливо и оправдано. Например, с высоты библейского Бога, мстившего внукам и правнукам. Или русского Бога (в данном случае русский и еврейский Бог совершенно сошлись в практических выводах):

Как дочь родную на закланье  
Агамемнон богам принес,  
Прося попутных бурь дыханья  
У негодующих небес,  
Так мы под горестной Варшавой  
Удар свершили роковой,  
Да купим сей ценой кровавой  
России целость и покой.

(Ф. Тютчев)

Раз у Николая Павловича был мандат неба, то можно предположить его и у Иосифа Виссарионовича. Но перед лицом национальных богов я чувствую себя атеистом и почтительно возвращаю билет на торжество высшего смысла. Если вытащить на свет и развернуть то, что неуверенно шевелилось в моей голове, выйдет примерно следующее: поляки — не ангелы и АК — не небесное воинство. Но они наши союзники. Восстание Варшавы — знак народной воли, признавшей

лондонское правительство своим. Значит, и нам надо его признать. Возникнут трудности при определении границ? Ну, пусть дипломаты потопеют. Зато мы получим готовый плацдарм на левом берегу Вислы и сохраним несколько сот тысяч солдат. Что-то подобное шевелилось во всех головах, но только шевелилось и не стало отчетливой мыслью. Потому что шевелиться мысль может в миллионах, а додумывается она только единицами. Я не был такой единицей. Я был частью массы. Мы один день были смущены, а потом снова повеселели. Союзники освободили Францию и захватили несколько городов в западной Германии. Пора и нам...

Русские прусских всегда бивали,  
Наши войска в Берлине бывали...

Конец сентября застал нас на марше. Для скрытности шли ночами, километров по 25. На рассвете разбивали лагерь в лесу. Спали до обеда, вечером ноги сами просились дальше. Наконец, дошли — в Литву, на границу с Восточной Пруссией. Надо было утереть нос американцам и захватить несколько немецких городов. Никаких стратегических перспектив наступление не имело. Лобовое движение на Запад по следам Ранненкампа: Тильзит, Гумбинен... Под Шталлупененом я был ранен — самым глупым образом. КП, разместившись на немецкой ферме, жарил гусей. Зам. по строевой, капитан Семенов, сидел на НП и наблюдал за противником. Семенову тоже захотелось гусятин. Он попросил, чтобы его сменили. Я предложил свои услуги. Старший лейтенант Гутин, новый комбат (старого ранили) кивнул головой (рот его был занят гусиной ножкой). Все бы обошлось, но в последнюю минуту Семенов, уже вылезши из ровика (куда мне надо было прыгнуть), вдруг засомневался, управлюсь ли я, и стал объяснять, указывая руками, — здесь первая рота, здесь вторая, третья. Зря он сомневался. Я дежурил ночью на КП, давая выспаться старому комбату, и умел разговаривать по двум телефонам, и в случае контратаки вызвал бы огонь артиллерии. Но раз старший по званию стоит под дулом Фердинанда и плюет на опасность, то мне и Бог велел. Я засунул руки в карманы (холодно было, 23 октября) и поглядывал то на нашу цепь, лежавшую на земле, то на немецкую пушку. Вспышка, разрыв... остальное известно читателю.

Ранение пустячное: осколки повредили мне палец и ладонь (загородившие живот). Но уже в медсанбате повело тухлятиной. Случайно заглянул туда дивизионный прокурор. Увидев меня, он спросил: что это, Померанц, про вас плохо говорят — и показал на мою левую руку. Я выпучил глаза и ответил, что ранение не пулевое, а осколочное, а при каких обстоятельствах я его получил, можно спрашивать в батальоне. На этом разговор окончился, но остался неприятный осадок. Небось, если бы я не был евреем, тыловая сволочь не сплетничала бы...

Дальше — больше. Из госпиталя я съездил в штаб армии, предъявил справку о награждении орденом Красной звезды и получил знак. Одной здоровой рукой трудно было прикрепить звездочку к гимнастерке. Я положил ее под подушку, пошел обедать, и больше своего ордена не видел. Его украли. В офицерской палате. У раненого. Я был в отчаянии, как ребенок, у которого отняли любимую игрушку. Лег ничком, носом в подушку, из-под которой исчезло мое сокровище. Произошло что-то непонятное. И отчего нельзя отвернуться, пройти мимо. Несколько дней назад я увидел на помойке обнаженный труп девушки лет 15 или 16-ти. И хотя сразу смыло с меня весь слой ненависти к любому немцу, и хотя помню эту мертвую до сих пор, я тогда отвернулся, не стал додумывать и выяснять, кто это сделал, о ни (от которых лучилось мировое зло) или мы? И если мы, то кто? Те самые уголовники, которых я принял в партию? Или единомышленники покойного парторга 405-го — нынешнего моего 291-го гвардейского полка? Уверенные, что здесь, в логове зверя, все позволено? А теперь — какой уголовник и для чего украл мое волшебное оперение? Без которого я ошпананный утенок, годный в судок? И какая в железке корысть? (Я не знал, что орден стоит 10 000. Подделать удостоверение несложно. В Баку у каждого чистильщика сапог был орден Красной звезды.)

Ко мне подошел капитан, фамилию которого забыл, обрусевший башкир, и

стал объяснять, что к чему. Вы лично, — говорил он мне, — может быть, и не заслужили такой обиды, но евреи вообще...

Капитан был командир отдельной части (противотанкового дивизиона), и после прошлого ранения его поместили в госпиталь для старших офицеров и генералов. Там он слышал, что после войны будет антиеврейская революция. Потому что на передовой евреев нет, а в тылу 5-й Украинский фронт взял Ташкент.

Я попытался объяснить, что евреев — беженцев из западных областей — до 1943 года не призывали в армию. Почему — до сих пор не знаю. Может быть, неясен был вопрос о границах (а значит, о гражданстве), но самый факт я знал. Летом 1944-го наш батальон получил восемь или девять таких западных евреев, прямо из Ташкента. Всех направили рядовыми в стрелковые роты, в том числе троих с высшим образованием. В бою один пожилой лавочник заметался и был бесславно ранен, семеро были представлены к наградам. Через короткое время в строю остался один, бывший агроном. Его пришлось назначить командиром хозяйственного взвода (других кандидатур в боевой обстановке не нашлось).

Всего, что я тогда говорил, не помню. Осталось в памяти одно: стенка, от которой отскакивали мои слова. Чего стоили рассуждения младшего лейтенанта, если генералы — генералы! — говорили противоположное? Переполненный сознанием русской офицерской чести, капитан-башкир считал своим долгом оправдывать неизвестного вора и предполагать у него какие-то арбенинские страсти. А скорее всего позарился мерзавец на 10 000 — базарную цену ордена.

Разговор только поворачивал нож в ране. Я снова лег на койку и думал, думал... Все мои представления о справедливости были жестоко опрокинуты. Впору было вспомнить еврейскую поговорку: шрай цум Гот (вопи к Богу). Но этого как раз я тогда не вспомнил. Вспомнил позже, думая, как сложилась идея единого всемогущего Бога.

Прошло много лет, я перестал искать справедливость и давно готов остаться со страданиями неотмщенными. Но тогда заноза торчала прямо в сердце. И я думал, думал...

Когда я учился в 10-м классе, старшим пионервожатым у нас в школе был Севьян, довольно противный, липкий молодой человек. И мы все, мальчишки и девочки, стали презирать армян. Потом, в институте, я встречал двух или трех симпатичных армян и понял, каким был ослом и как возникает чужежество. Без знания истории, культуры, по нескольким встречам... Дурь, достойная недоросля. Но народ и есть недоросль — во всем, что касается логики. Рассуждать, анализировать, зачем? Есть готовый набор пословиц, поговорок, годных на все случаи. И страх чужого — дурного — глаза. А кто чужие, всегда чужие? Народы-бродяги. «Рупь — не деньги, жид — не брат». Если факты не укладываются в стереотип чужого, то это исключения. Хороший человек, хотя и еврей. На передовой я попал в исключения. А здесь попал в правило...

Эта история повторялась много раз. Я мог завоевать расположение своей дивизии, когда работал внештатным литсотрудником, или станицы, в которой был учителем. Но все это было движением вверх по эскалатору, бегущему вниз. В далеком углу станицы, где дети ходили в другую школу, какой-нибудь крошечный пацаненок, с которого и взятки гладки, непременно выскакивал и кричал в спину, кто я такой. Потом я преодолел и этот барьер. Случай вышел. На новогоднем вечере обступили меня десятиклассники, и вынь да положь — расскажи им о Сталине. Я взглянул в десяток пар глаз, уставившихся на меня, и сказал примерно то, что Хрущев повторил с трибуны XX съезда: об истреблении кадров, об ошибках 41-го года. Про интеллигенцию не говорил: знал, что для казаков интеллигент — бранное слово (барин, белоручка). Ребята слушали, затаив дыхание, и три месяца держали язык за зубами. Но после чтения доклада взорвались и повсюду разнесли мою славу. Весной 1956 года со мной раскланивалась вся станица (ей было чем помянуть Сталина). И ни один пацаненок ничего мне в спину не кричал. Я был, так сказать, принят в почетные казаки за обличение злодея, заморившего голодом половину Шкуринской в 1932 году. Но следующему еврею пришлось бы подыматься по той же лестнице, движущейся вниз.

В конце концов внимание мое устремилось извне вовнутрь, на самого себя,

к самопознанию. Лет через 20 после войны я прочел реферат книги Фанона «Черная кожа, белые маски». Фанон — житель Антильских островов. Антильцы черные, но они говорят и думают по-французски. И когда мальчик шалит, ему говорят: «не ведите себя, как негр». Так примерн и я думал по-русски и от этого смотрел на мир русскими глазами. Например, на Черемисина: какой противный тип! Но никогда не приходило мне в голову: какой противный русский. Тень от Черемисина не ложилась на Абрамичева, тень от Манжулея — на Сидорова. Черемисин был сам по себе, Абрамичев сам по себе. Что бы я ни знал о Смердякове, это не ложилось на Алешу (хотя они братья). А тень от Лямшина на меня ложилась. Тень от Азефа ложилась. Я смотрел, как идет брюхом вперед капитан Маркович, и думал: бывают же такие противные евреи. Хоть в своем деле Маркович был дока и организовал в донских станицах производство пшена и подсолнечного масла и кормил этим дивизию, когда соседние части голодали.

Армейское русское «мы» вылезло и в моем первом восприятии геноцида. О нем говорили как о чужом горе. И я его принял как чужое горе. Я думал о погибших как о «местечковых» евреях, то есть не таких, как я. И мне их было жаль, конечно, но как-то вчуже. «Местечковые» было у нас в доме пренебрежительным словом. «Из местечка», «с Подола», значило пошлый, вульгарный. И когда я услышал о гибели еврейского местечка, я утешал себя, что большая часть городских, интеллигентных евреев, наверное, успела эвакуироваться. А местечко... Что ж, лес рубят, щепки летят. Столько миллионов гибнет на этой войне, да и раньше гибли: в революции, в коллективизации. История не разбирает ни пола, ни возраста, ни национальности.

Если копнуть глубже, то — от местечка на меня падала тень. Мне было неприятно, что меня, интеллигента, со стороны можно смешать с теми, местечковыми евреями. Потом я смеялся, узнав, что после одного ленинградского доклада в кулуарах мелькнула реплика: «местечковый философ, а как слушают». Но это потом, когда я перестал глядеть на себя чужими глазами, а в юности все боялся, что меня с кем-то смешают, спутают. И вдруг, в Майданеке, около слипшейся в кучу детской обуви (мы заехали в Майданек, возвращаясь победителями из Германии), я почувствовал погибших как своих собственных детей и впервые до конца пережил слова Ивана Карамазова о деточках, которые ни в чем не виноваты. До этого я вспоминал «деточек» несколько литературно, как риторический ход. А теперь стоял и чувствовал ужас: как это я сразу не нашел в себе отклика.

В ассимиляции есть свои уродства, свои вывихи. Но я не думаю, что ассимиляция по сути своей — вывих. Во всяком случае, это не только болезнь. Или, другими словами, в этом болезненном процессе есть нечто плодотворное. Как плодотворна была для культуры Австро-Венгрия. Сперва меня удивило у Ричарда Олдингтона, что ему жаль лоскутной монархии. А потом подумал, подумал — и понял. Да, лоскутная, и все неустойчиво, и постоянные трения между землями. Ахиллес, у которого пятка всюду. Но иногда все-таки Ахиллес. Иногда все-таки целое, неожиданное по своему богатству, как австрийская музыка, возникшая на перекрестке немецкого и итальянского, венгерского и славянского. Без этого беспокойного перекрестка не было бы Моцарта. А без гибрида эллинского с иудейским не было бы христианства. Трудное, неловкое сожителство иногда плодотворно. Я сам нечто вроде Австро-Венгрии. Я в Москве чувствую себя евреем, в Грузии, где русских не любят, — русским, и, наверное, за границей чувствовал бы себя как раз тем, который здесь, в этом месте — чужой. Это не очень удобно, но я не хочу распада своего еврейско-русского внутреннего царства. От самого себя никуда не денешься. Я знаю по опыту, что народ меня своим не считает, но не могу вынуть из себя русскую культуру и отделить от этой культуры еврейский привкус. Куда бы я ни поехал, все останется во мне, так же, как и я — частицей истории русской культуры и истории еврейства.

Так я думаю сейчас, но сорок лет тому назад рассуждал иначе — в терминах культуры, социалистической по содержанию и национальной только по форме. Правда, вопрос, до какой степени у нас построен социализм, оставался для меня открытым; но я не сомневался, что когда-нибудь он будет построен. От каждого по способностям, каждому по труду — разве это не справедливо? И разве спра-

ведливость не должна победить? Наши военные победы казались мне доказательством, что основной маршрут был верен, и вместе с угнетением исчезнет гнев масс, который не раз в истории принимал ложную форму и обрушивался на чужака, на козла отпущения, оставляя в покое действительных злодеев. У нас никому не нужно отвлекать от себя гнев угнетенных, думал я. Значит, все дело в росте марксистской интернациональной сознательности. Сознание вчерашних мужиков, сегодняшних офицеров и генералов, еще отстают, еще сохраняет пережитки вчерашнего дня. Ну и пусть. Править должны те, кто возвышается над национальными предрассудками, уверял я себя, ворочаясь на койке. Старые коммунисты это умели. Вот и у нас в дивизии замполит артиллерийского полка, старый коммунист Карякин успешно боролся с антисемитизмом. Когда мы стояли на Никопольском плацдарме, какой-то старший лейтенант сказал, что все, мол, идут на запад, только наша еврейская дивизия завязла. Глупо — потому что завязла вся 5-я ударная армия, и завязла потому, что резервы шли на правый берег Днепра, а Никопольскую группировку немцев оставили сидеть на левом и дожидаться окружения. (Под угрозой его она в конце концов бежала напрямик до Румынии.) Карякин собрал офицеров и сумел убедить их. Но это капля в море. Нужно еще много работы, и пока она не проделана, власть должна оставаться в руках марксистской партии.

Я не знал, что идея антиеврейской революции была инспирирована самим Сталиным (через Щербакова) в декабре 1941 года. Я не понимал, что национальные чувства и национальные предрассудки живучее, чем социальные формы, и евреев били всегда: до Рождества Христова и после, при рабовладельческом строе, при феодализме, при капитализме — и при реальном социализме. Я горел своей идеей просвещенной и просвещающей диктатуры и написал в этом духе целый трактат, который непременно нужно было куда-нибудь послать, хоть на деревню дедушке. Подходящим адресатом оказался Эренбург. Любопытно, дочитал ли он мою галиматью?

В мифе, который я наскоро сочинил, залепляя им сердечную рану, интеллигенция оказалась марксистской и правящей. Я закрыл глаза на то, что хорошо знал. Что марксист Пинский не хотел в эту партию. Что «всех умных людей пересажали, одни дураки остались». — как я сам подвел итог в 1939 году. Я отнес все это к перегибам, вызванным страхом перед фашизмом, страхом, который отпадет после победы. Тогда восстановлена будет партийная демократия, а за ней и всякая демократия, по мере роста марксистской интернациональной сознательности. Понимая марксизм, как реальный гуманизм и логическую основу коммунизма. То есть ассоциации, в которой свободное развитие всех будет условием свободного развития каждого. Шигалевского развития идеи свободы можно избежать. То, что шигалевщина уже стала действительностью, я не хотел знать, я вытеснял неудобные факты из своей мысли. Мне нужен был миф. У меня хватало мужества рисковать жизнью, но не было мужества увидеть, к чему мы пришли.

Эренбург не ответил на мое письмо, но ответила судьба. Меня вызвали в политотдел армии. Там, в отделе кадров, сидел ифлиец, капитан Коркешкин. Он смутно помнил мою фамилию — кажется, по скандалу с Достоевским. Но сейчас этот скандал был далеко в прошлом. Нужен был литсотрудник в 61-ю дивизию. Мой предшественник, капитан Авербах, взорвался на mine. И Коркешкин, найдя знакомую фамилию в списках легкораненых, — стал уговаривать — пойти в негвардейскую дивизию, редакция интеллигентская, все офицеры с университетским образованием.

Уходя раненым из батальона, я твердо собирался вернуться в него и даже в госпиталь не хотел ехать, думал отсидеться в медсанбате. Но теперь — после разъяснительной работы, проделанной командиром противотанкового дивизиона, — я сразу согласился.

Когда у человека есть миф, жизнь всегда дает факты, подтверждающие этот миф. В редакции 61-й оказался микроклимат, как будто специально для меня придуманный. Популяция ее состояла из майора Кронрода, капитана Вачнадзе и капитана Шестопала (еврей, грузин и украинец); вскоре Вачнадзе перевели редактором в другую дивизию, а на его место — майора Череваня (с понижением — за

пьянство). Черевань — добродушный флегматик — компании не портил. Не было ничего подобного грызне Черемисина с Абрамичевым. Друг с другом — по имени-отчеству, без чинов. Впрочем, с Матвеем Михайловичем Шестопалом мы скоро перешли на ты, и я звал его просто Женей (так он представлялся девушкам, находя свое настоящее имя слишком сельским). Иногда он читал мне украинские стихи, которые сочинял от имени жены Галины Прохаченко, оставшейся в оккупации, и опубликовал как народные песни неволи. Или рассказывал байки, собранные в селах. Например, почему Сталина пишут в чоботах, а Ленина в черевичках? Потому что Ленин увидит лужу — обойдет, увидит куст — обойдет, а Сталин — все навпростэць. За такие сказки вполне можно было схлопотать срок, но мы друг друга не боялись.

На передовую редакция ездила в полном составе. У Черемисина не было своей автомашины, типографии каждый раз грузили и разгружали. У Кронрода — два грузовика. На одном смонтирована была типография, на другом — шевроле — мы лихо проносились под огнем, ставили машину за ферму и шли смотреть, как идет бой. Яков Абрамович иногда отпускал при этом ученые замечания:

— Мы воюем как промышленная держава (то есть жиденькая цепочка стрелков идет вслед за мощным огненным валом).

— Каким нежным тихим движением создается человек и сколько тратится взрывчатки и металла, чтобы убить его!

К Черемисину никто никогда не заходил (кому он нужен?). У Кронрода был офицерский клуб. В редакции всегда толкались политотдельцы и штабные. Бывал и начальник политотдела Сурен Акопович Товмасын. Он был очень неглуп, знал себе цену, с начальством упрям, а с нами держался по-домашнему: «Ну, что вы, образованные люди, об этом думаете?» — спрашивал Сурен Акопович, и начинались разговоры, кто кого перехитрит: Рузвельт, Черчилль или Сталин. Выходило, что, конечно, Сталин. Но каким-то образом этот хитрый Сталин непременно будет развивать демократию. Так нам хотелось. Каков поп, таков и приход. Заместитель Товмасына, майор Токмаков, тоже любил посидеть у нас, полиберальничать. Словом, полная симфония между интеллигенцией и партийным руководством.

Правда, были и трещины в хрустальном здании. В первые же дни я спросил Якова Абрамовича, что он может сказать об антиеврейской революции. Редактор поморщился и сказал, что это, скорее всего болтовня (о письме, организованном Щербаковым, он ничего не знал); но есть — с 1943 года — секретная инструкция отделам кадров ограничить выдвижение евреев. По этой инструкции его самого после излечения от астмы не вернули на работу замредактора армейской газеты, а направили редактором в дивизионную, и даже не гвардейскую. Будем надеяться, что это какие-то временные меры.

Экологическая ниша в 61-й дивизии была отклонением от общего порядка и держалась на двух людях: Кронроде и Товмасыне. Кронрод, ученый экономист, был широко начитан, полон энергии, воли (в 41-м вывел из окружения батальон) и умел себя поставить. А Товмасын был случайно уцелевший осколок революции, вроде тех, которых я потом встречал в 16-й камере. Он совершенно не походил на политических чиновников. Нормой был Чепуров, нормой было мое положение из-за, терпимого только внештатным или в стрелковом батальоне, в ожидании непременно мне назначенной пули или осколка. Но у меня был предрассудок, что дураки, сколько бы их ни было, не решают и непременно должны отступить «пред солнцем бессмертным умам».

Каким образом и как Товмасын служил когда-то в ЧК, не знаю, но по натуре он был человек добрый и справедливый, я чувствовал это по его обращению со мной. Правда, на ты, но скорее отеческое, чем командирское: «Что ж тебе за три года ничего не дали?» (глядя на мою пустую грудь, — медали «За боевые заслуги» я не носил) и выписал мне орден.

Таких руководителей, как правило, ссылали или расстреливали в 34—39 годах. Они проявляли недопустимую жалость и тому подобные чувства. Но победы, победы... Победы располагали все видеть в розовом свете.

Газеты были забиты приказами Верховного главнокомандующего. Для сво-



его материала места не оставалось. Все равно, мы не могли усидеть больше трех-четырёх дней, чтобы не побывать под огнем и не посмотреть, как это делается. Без запаха пороха нам было скучно. И наш шевроле мчался вслед за пехотой в Хайлигенбайль, выезжал к морю у Розенберга — на пристань, черную от работы ильюшинных, с валяющимися кое-где обугленными пальцами и еще какими-то голешками (ни одного цельного трупа. Немецкий флот эвакуировал все, что мог).

А потом начинались пожары. Славяне расстреливали из автоматов хрусталь; который невозможно было запихать в вещмешки, и пускали красного петуха. Это не было направлено против немцев. Немцев в городе не было. Были тыловики, которые набивали мешки трофеями. И ненависть солдат повернулась против тех, кто наживался на войне. Если не мне, то никому! Круши все! Пожары разрастались так, что тыловые подразделения несколько раз вынуждены были переходить с места на место. Вырывалась из-под контроля стихия, бессмысленно и беспощадно. Если вдуматься, то это о многом говорило, но не хотелось вдумываться. Так же, как раньше в 96-й гвардейской, я не раз слышал от мальчишек офицеров, не пуганных в 37—38 годах и вольных на язык: после войны попов (то есть политработников) будем вешать. Я слушал и смеялся. Мало ли что говорится в шутку. Но не этой ли погромной энергии Сталин заранее собирался дать выход и дал его в 1949—1953 годах?

Наше маленькое подразделение чувствовало себя уверенно, твердо и готово было за себя постоять. Как-то подполковник из штаба корпуса (но не нашего) пытался выгнать редакцию из дома. В таких случаях ставят часового (часовой имеет право стрелять). На наших наборщиков надежды было мало, слишком ясно было, что не выстрелят. Кронрод попросил стать на пост меня. Я взял автомат, направил его на нахала и предложил уйти из расположения чужой части. Мы померялись глазами. Он выругался матом и ушел.

С чувством победы мы катились через Польшу — в Силезию, к маршалу Коневу (кажется, это называлось тогда Первым Украинским фронтом). Проехали Торунь. На улицах немки с какими-то заплатами на спине, вроде тех, которые гитлеровцы заставляли носить евреев, подметали мостовые. Резануло: зачем? Зачем повторять то, что сами же мы считали средневековым изуверством? Зачем вообще мечь — женщинам? Но мимо, мимо — к победе!

Проехали вокруг Бреслава. Там еще держались окруженные немецкие части. Мимо, мимо! Фронт прорван. Мы въезжаем в город Форст. Я иду выбирать квартиру. Захожу — старушка лежит в постели. «Вы больны?» — «Да, — говорит, — ваши солдаты, сему человек, изнасиловали меня и потом засунули бутылку доньшком вверх, теперь больно ходить». Говорила она об этом беззлобно. Видимо, ее скорее удивило, чем оскорбило то, что произошло. Ей был лет 60.

Вечером встретил меня на улице старший сержант, красивый мальчик с завязанной головой, и спросил, нет ли у меня спирта: «Восемь штук часов пропил, никак не могу напиться. Вот девятые, последние!» Часы были мне нужны, а фляга спирта (неприкосновенный запас редакции на случай аварии — за спирт можно было получить любой автосервис) хранилась в чемодане, чтобы Черевань не выпил. Я достал флягу и вместе с Череванем, ухватившимся за счастливый случай, пошел в дом, где гулял старший сержант. Он был разведчиком, вышел из строя по меньшей мере недели на две, а за две недели кончится война. Это больше, чем выиграть миллион или получить целую кучу орденов. Все равно, что заново родиться. И дважды рожденный разведчик справлял свое торжество.

В комнате было полно немолодых немок, еще не успокоившихся после попыток эвакуации и возвращения. Лились слезы, — тетя Марта или Эльза пропала, — но старший сержант ничего этого не понимал. Он видел одно — 16-летнюю девушку, кажется довольно глупую, но хорошенькую, улыбающуюся в ответ на его улыбки и обрывки немецких фраз. Держа в руках разговорник для опроса пленного, разведчик пытался использовать это пособие для новой надобности. Я перевел ему несколько слов, но дело у них, кажется, и так шло на лад. Вдруг снова кто-то зарыдал: вспомнили опять пропавшую Эльзу и еще кого-то погибшего при бомбежке.

Я сидел, пил спирт с водой, и в голове выплывали обрывки из «Торжества победителей» Шиллера:

Пал Приамов град священный,  
Грудой пепла стал Пергам...

Радость ахейцев, слезы троянок... Я одновременно полон был ликования и ужаса, чувствовал за победителя и за побежденных несчастных женщин. Волны радости и жалости перекатывались одна за другой:

Брегом шда толпа густая  
Илионских дев и жен:  
Из стеческого края  
Их веля в далекий плен.

И с победной песней дикой  
Их сливался тихий стон.  
По тебе, святой, великий  
Невозвратный Илион.

На другой день Конев повернул свои танки на север. Немцы, отчаянно обороняя Берлин с востока, ничем не прикрыли его с юга. Но входить в город — нужна была пехота. Нашу дивизию — людей и лошадей — посадили на грузовики автобатальона и перебросили вслед за танками. По той же дороге покатились тылы. На перекрестках стояли регулировщицы и махали флажками, а на три — пять километров вправо и влево оставалась гитлеровская администрация. Немки ошалело смотрели на нас и вывешивали белые флаги. Вдоль автострады стояли какие-то фургончики, видимо, на них эвакуировались (или собирались эвакуироваться). На каждом фургончике: *Tarfer und treu!* И повсюду кругом, на каждой собачьей конуре: *Tarfer und treu!* И вдруг на мосту, под которым проходит автострада, аршинными светло-зелеными буквами, на случай, если мужество и верность не помогут, — по-русски, последний привет от доктора Геббельса: «Жид виноват». Гениально просто, без всяких объяснений. Только два слова: жид виноват. И к чему объяснять, ведь и так всем все известно. Надо только напомнить.

Доехав, редакция расположилась в районе Берлин — Лихтенраде, на вилле Рут. Хозяйка Рут Богерц, вдова коммерсанта, была мрачной и подавленной; ее прекрасные темные глаза метали молнии. Прошлую ночь ей пришлось провести с комендантом штаба дивизии, представившим в качестве ордера пистолет. Я говорю по-немецки, и мне досталось выслушать все, что она о нас думает: «В Берлине остались те, кто не верил гитлеровской пропаганде, — и вот что они получили!» На первом этаже виллы стояли двухметровые напольные часы. Других в доме не осталось. «Мы издадим закон, чтобы меньших часов не производили», — говорила фрау Рут, — потому что все остальные ваши разграбили».

Впрочем, разговор с хозяйкой скоро перехватил Яков Абрамович. Она понимала по-французски, он тоже. Кронрод был красивый мужчина, привыкший к успехам, и фрау Богерц быстро с ним подружилась. Но язык ее не потерял остроты, мне от нее по-прежнему доставалось. «Ваши передачи вроде наших, — заметила она как-то к слову. — Их неинтересно слушать. Мы предпочитали Би-би-си». Я неосторожно сказал, что у нас в тылу радиоприемники были все изъяты. «Ого, — сказала Рут, — вы еще менее свободны, чем мы».

Чтобы я и Черевань не скучали (Шестопал был в отпуске, покупал дом в предместье Киева), Рут пригласила своих подруг. Одна из них, фрау Асмус, пожаловалась на наших военных девушек. Солдаты грабили ее простодушно, хватали продукты, вино, часы, а милитерфрауэн сразу сообразили, где она прячет шмук (драгоценности), прощупали матрешку на чайнике и все раскурочили.

Я попытался объяснить, что война вызвала взрыв ненависти и теперь трудно ее удержать. Ведь вы начали эту войну. Фрау спокойно ответила: «Да, но вы показали себя такими слабыми в войне с Финляндией...» Я опешил. Эта женщина, бесспорно неглупая и образованная, не различала моральной оправданности

и политической целесообразности. «Слишком по-немецки», — подумал я тогда. Недаром Германия создала выражение «Faustrecht» (кулачное право). Увы, впоследствии я убедился, что таких рационалистов полно и в Москве. Но интерес к фрау Асмус у меня совершенно угас.

Компаньонка фрау Богерц тоже показалась мне скучной, и попытки ее покотетничать со мной скорее отталкивали. Зато неожиданно тронула фрау Николаус. Не очень красивая, нос почти по-русски картошкой, она была очаровательно естественна и, главное, прекрасно пела. Мы устраивали музыкальные вечера, иногда гурьбой гуляли. Лихтенраде — район вилл, бомбежки его пощадил, хорошо было пройтись по улицам. Соседки осторожно выглядывали на нас из ворот своих участков, где они растерянно ждали очередного грабежа или насилия.

Как-то вечером я вышел погулять один. Мне хотелось собрать в один жгут весь хаос впечатлений, и опять вспомнился Шиллер:

Суд окончен, спор решился,  
Прекратилась борьба,  
Все исполнила судьба.  
Град великий сокрушился.

Царь народов, сын Атрея,  
Обозрел полков число.  
Вслед за ним на брег Сигея  
Много, много их пришло.

И внезапный мрак печали  
Отуманил царский взгляд:  
Благороднейшие пали,—  
Мало с ним пойдет назад.

Я не все помнил, что сейчас цитирую, выступали из памяти одни отрывки, я беспомощно пытался их скленть, — мне это было очень нужно, я чувствовал, что в «Торжестве победителей» как-то связалось все, что меня разрывало на части. Вдруг подбегает ко мне немолодая немка: «Господин лейтенант, помогите, мою дочь насилуют!» Пришлось зайти. Стоит пьяный верзила с нашивками старшего сержанта, держит в руке пистолет и бормочет: «Я убью ее, суку». С лица его каплет кровь. Девушка попалась храбрая, пистолет ее не испугал, а верзила не только стрелять, а свалить девчонку не решился, так они и стояли друг против друга: он ругается, она царапается. Я приказал старшему сержанту пойти за мной; он безропотно подчинился (как-то надо было выйти из положения), но пистолета в кобуру не вкладывал и, бредя следом, продолжал бормотать: «все равно я ее убью». Что мне было с ним делать? Отвел в контрразведку, там пистолет отобрали, уложили спать, а утром отправили в часть (я справлялся, боясь, как бы ему не пришили лишнего. Но нет, тогда ни чего не шили. Даже не дали суток трех ареста за безобразное поведение).

Бывало и так. Но обычно пистолет действовал, как в Москве ордер на арест. Женщины испуганно покорялись. А потом одна из них повесилась. Наверное, не одна, но я знаю об одной. В это время победитель, получив свое, играл во дворе с ее мальчиком. Он просто не понимал, что это для нее значило.

Иногда Кронрод со мной или с Череванем ездили в центр. Он реквизировал для нужд армии легковые машины (их было много в этом буржуйском районе) и учился водить. Наезжал на столбы, на дома — кажется, три или четыре машины разбил. После победы я перестал с ним ездить, сказал, что хватит мне двух боевых ранений. Из каждого рейса возвращались с трофеями: ящиками вина, консервами. Все магазины были взломаны, бери что хочешь.

Как-то, когда в центре был Черевань, к нему бросилась немка, рижанка, хорошо говорившая по-русски, — попросила зайти в бомбоубежище. Там, в большой массе, женщины чувствовали себя в относительной безопасности от насилий. Но и это не всегда помогало. Какой-то лейтенант прошелся, как по гарему, выискал красавицу, киноактрису и приказал идти за собой. Насытив его, она вернулась. Но лейтенант оказался хорошим товарищем и стал угощать своих друзей — одного, другого, третьего, четвертого. У актрисы уже больше не было сил на них

всех. Майор Черевань попытался усостить компанейского парня; но с того — как с гуся вода. Не было никакой гарантии, что через полчаса он не придет снова.

Сталин направил тогда нечто вроде личного письма в два адреса: всем офицерам и всем коммунистам. Наше жестокое обращение, писал он, толкает немцев продолжать борьбу. Обращаться с побежденными следует гуманно и насилия прекратить. К моему глубочайшему удивлению, на письмо — самого Сталина! — все начхали. И офицеры, и коммунисты. Идея, овладевшая массами, становится материальной силой. Это Маркс совершенно правильно сказал. В конце войны массами овладела идея, что немки от 15 до 60 лет — законная добыча победителя. И никакой Сталин не мог остановить армию. Если бы русский народ так захотел гражданских прав!

Недели через две солдаты и офицеры остыли. Примерно как после атаки, когда уцелевших фрицев не убивают, а угощают сигаретами. Грабежи прекратились. Пистолет перестал быть языком любви. Несколько необходимых слов было усвоено и договаривались мирно. А неисправимых потомков Чингисхана стали судить. За немку давали 5 лет, за чешку — 10.

Когда чехи стали раскулачивать и выселять судетских немцев, не только наша интеллигентская редакция, чуть ли не все вояки были недовольны. Кронрод послал меня поговорить с представителем чешских властей. Тот холодно выслушал и ответил (на превосходном немецком языке), что с командованием советской армии их действия согласованы.

Это была правда. Но правда была и то, что спокойное, холодное, организованное насилие над немецким населением Судет среднему российскому солдату и офицеру не нравилось. В апреле Сталин не смог остановить погрома, но одно дело апрель, а другое июнь. Подобрели, обмякли на солнышке. И сталинская национальная политика (скорее немецкая, чем русская) была не по сердцу.

Но в Берлине! Одна из величайших в мире побед. В груди все ликует, поет. И резко перебивая ликование — стыд. Мировая столица. Кучки иностранных рабочих сбиваются на углах, возвращаются во Францию, в Бельгию, и на их глазах — какой срам! Солдаты пьяны, офицеры пьяны. Саперы с миноискателем ищут в клумбах зарытое вино. Пьют и метиловый спирт, слепнут. При опросе пленных первые слова: ринг, ур (кольцо, часы). Фрау Рут дразнила меня словом русского солдата: ринг, ур, рад (рад — велосипед), вайн (вино). Я вспомнил частушку отступавших немецких солдат из смеси немецких, польских и русских слов:

Прощай сало, прощай шпек,  
Русский гонит немец вег.  
Прощай курки, прощай яйки,  
До свидания, хозяйка.  
Прощай млéко, прощай вíно,  
До свиданья, Украина.

Где же моральное превосходство социализма? Что дали годы без частнособственнического свинства, от которого все пороки? Идеология треснула сверху и держалась на честном слове. На радости, что война кончилась, а мы живы. Эта радость все заливает — как у разведчика из Форста, пропившего девятый ур.

Радость, радость лилась через край и топила все сомнения. То стыдно на улицу выйти, стыдно своей формы. То снова охватывает чувство победы. На этой волне даже растаяла моя обычная сдержанность с женщинами. Я был влюблен в фрау Николаус и пытался за ней ухаживать. Как-то вечером решил пойти в гости и объясниться. То, что в Москве училась в это время Жанна и я ее считал своей невестой, как-то не мешало. Из госпиталя я рвался к Жанне, просился в отпуск (и слава Богу, что отпуска не дали: у Жанны, помимо эпистолярного романа со мной, был еще другой, живой роман, как раз в это время он очень бурно шел). Но в Берлине я обо всем этом не думал.

Фрау Николаус обладала даром говорить все, что угодно, с обезоруживающей естественностью. И в ответ на мои нежности она очень просто и мило сказала, что ей больше нравится майор Черевань. Я несколько опешил, а потом подумал: пустое. Так, глазами, мне тоже больше нравится фрау Богерц, писаная

красавица, но сердце она мне не тронула. И Черевань, если заговорит, сразу станет скучным, и не нужно ему ничего, кроме бутылки. Не может фрау Николаус не почувствовать, что я откликаюсь на ее песни и на все ее существо. И я продолжал говорить, как бы во хмелю, и даже осторожно обнял ее за плечи. Фрау Николаус не противилась. У нее был шестимесячный младенец, надо было есть, чтобы кормить его, а я приносил консервы; но гораздо охотнее она просто бы заснула. Меня такой поворот дела не устраивал, я не мог воспользоваться пассивностью женщины, мне нужен был ее душевный отклик, без него я застываю. И я продолжал что-то бормотать. Если бы по-русски! Я пытался рассказать, какая это радость выйти из облака ненависти и встретить здесь, в Берлине, такую милую, интеллигентную женщину, читающую те же стихи, которые я любил (фрау Николаус показывала мне томик Гейне, который следовало жечь). И как она поет... Но мне все труднее было подбирать немецкие слова и находить хотя бы приблизительно подходящие падежи и времена глаголов. Прошлую ночь я дежурил у радиоприемника, записывал бесконечные приказы Верховного Главнокомандующего, которые никто не читал. И вдруг я почувствовал, что смертельно хочу спать, и все еще бормоча что-то, уснул.

Проснулся утром. Фрау Николаус была очень приветлива. Мой внезапный сон ее вполне устраивал. Младенец не кричал, и она отлично выспалась. А я вызвал местного портного и предложил за сутки сшить китель и брюки из отреза, полученного в АХЧ (мне хотелось выглядеть не хуже других селезней). Старик взглянул на меня, как на сумасшедшего, и ответил, что это абсолютно невозможно. Я настаивал; через сутки он принес нечто, отдаленно напоминающее то, что мне хотелось. Я расплатился какими-то банкнами и брюки, помнится, поносил, время от времени подшивая: они расползались по швам; китель оказался совершенно негодным. Впрочем, все это выяснилось уже не в Берлине. Нас выперли из города за день до взятия рейхстага.

Гитлер еще жил, он вызвал на помощь армию Венка. Дивизии нашей армии столкнулись с ней на марше и во встречных боях разбили. Но несколько дней автострада, по которой мы получали снабжение из 1-го Украинского фронта, была перерезана. Пришлось временно кормиться из фондов жуковского 1-го Белорусского фронта, тоже вошедшего в Берлин. А Жуков прислал в штаб дивизии полковника с требованием: как только дорога очистится, — немедленно убираться из города. Мы грозили выхватить у него из-под носа рейхстаг. Может быть, и выхватили бы, если бы меньше пили. Берлинский фольксштурм сдавался после двух-трех выстрелов, отбивались зенитчики, а потом опять квартал за кварталом вывешивал белые флаги. Но делать нечего, пришлось убираться и не портить заранее разработанного спектакля. Когда шли грузиться, никакого равнения в строю, солдаты покачивались. Все враз сбросили с себя фронтовое напряжение.

Перед отъездом я успел забежать к фрау Николаус и занес ей несколько банок консервов. Пусть у нее будет молоко для ее младенца (отца убили под Риггой). Фрау Николаус была тронута, мы нежно простились. Признаться, меня потом радовало, что роман с нею так и остался платоническим и бескорыстным. И еще одна вещь порадовала: то, что район Лихтенраде достался после Потсдама американцам.

Я уезжал, мурлыча про себя песню про Марию Магдалену, звезду из Казад'ор. Там была одна звонкая строфа: гондола легко скользит по Большому каналу, далекий звон колоколов смешивается со звуками серенады... Между тем, опять замелькали мужество и верность. 100 000 раз мужество и верность. И опять под мостом те же гениальные простые слова, падающие в народное сердце: «жид виноват». Светло-зелеными аршинными буквами. Цвета надежды, что юдофобство никогда не умрет.

Вечер восьмого мая застал нас где-то в Судетских горах. Вдруг пальба со всех сторон. Выскочили, узнали — капитуляция. Постреляли в воздух и мы. Потом достали бутылку с густым яичным ликером — остальное выпито было раньше — кое-как вытряхнули хмельную массу, чокнулись — и в Прагу. Чешки в каких-то кринолинах XVII века, на каждом шагу угощают (но не по-русски, сухим вином и без закуски). Смотрим на нормальную европейскую жизнь. Молодые лю-

ди держат в руках велосипеды своих девушек. Незнакомые подхватывают пьяного и ведут домой, никто не валяется в канаве. Культура. Мальчик, выучившийся по-русски, заводит со мной разговор. Спрашивает, почему не простили власовцев, они ведь сражались вместе с чехами и освободили город. Действительно, почему не простить на радостях! Простили ведь дезертиров...

Нас отводят назад, в немецкие Судеты. Хозяйка выдала карточки, где на каждом талончике Deutsche. Как при Гитлере на еврейских карточках: Jude. Я видел в Берлине. Там остались еврейские семьи. Одна из них попросила у меня охранную грамоту от наших солдат, я написал, хотя, кажется, это не помогло, и теперь это Deutsche и запрет купаться в озере — аналогия с гитлеровскими расовыми законами. Противно. Все больше пятнышек на огненном солнце победы. И все-таки оно еще светит мне. Я достал у местного учителя томик Шиллера, и всюду, куда бы я ни шел или катил на велосипеде, за мной плыли звучные строфы:

Пусть веселый взор счастливых  
(Оилеев сын сказал)  
Зрит в богах богов правдивых;  
Суд их часто слеп бывал.  
Скольких бодрых жизнь поблекла,  
Скольких низких рок щадит!  
Нет великого Патрокла,  
Жив презрительный Терсит.

Я вспомнил кровавое поле у Павловки, и поле смрада под Котлубанью, и другое поле у Хайлигенбайля, где мы воевали как промышленная держава, а немецкие мальчики остались лежать в своих ямках, простреленной головой к противнику, сжимая окоченевшими руками автомат или фаустпатрон. С чего бы ни начиналась война, она становится благородной, когда доходит до защиты родного дома...

Смерть велит умолкнуть злобе  
(Диомед провозгласил).  
Слава Гектору во гробе!  
Он краса Пергама был;  
Он за край, где жили деды,  
Веледушно пролил кровь.  
Победившим — честь победы!  
Охранявшему — любовь!

• • • • •

И вперила взор Кассандра,  
Вняв шепнувшем ей богам,  
На пустынный брег Скамандра,  
На дымящийся Пергам.  
Все великое земное  
Разлетается, как дым:  
Ныне жребий выпал Трое,  
Завтра выпадет другим...

Особенно меня волновали последние строки. Я буквально трепетал, вспоминая их. И даже в словах Одиссея звучало глухое пророчество — как нас на очных ставках встретят Клитемнестры и Эгисфы:

Часто Марсом пощаженный  
Погибает от друзей...—  
(Рек Палладой вдохновенный  
Хитроумный Одиссей)...

И все это сливалось в одно гармоническое целое, в один стройный ряд: ликование и слезы, радость победы и зловещий голос рока (заклоченный, наверное, в каждой победе). Этого лекарства мне не хватало, чтобы залечить зубную боль в сердце. Все становилось стройно, звучно...

Стихи действовали как обезболивающее. Но потом снова и снова вставали проклятые вопросы. Они стоят передо мной до сих пор. Я не знаю, что было ре-

шающим толчком к погрому, которым завершилась война: нервная разрядка после сыгранной трагической роли? Анархический дух народа? Военная пропаганда?

По дороге на Берлин  
Вьется серый пух перин...

Это не Эренбург, на которого потом посыпались шишки, это Твардовский. Стихи, напечатанные во фронтовой газете, когда славяне жгли и громили пустые немецкие города. Ветер перекачивал тогда волны пуха (в моей памяти он белый, а не серый), и этот белый пух окутал победу сверху донизу. Пух — знак погрома, знак вольной волюшки, которая кружит, насилует, жжет... Убей немца. Мсти. Ты воин-мститель. Переведите это с литературного языка на матерный (на котором говорила и думала вся армия). И совершенно логично прозвучат слова парторга 405-го в балке Тонкой: «Ну ничего, дойдем до Берлина, мы немцам покажем!» Русский мужик не скажет, нас угнетают. Он говорит иначе: вот они нас (глагол). «Барыня», карманьола смуты, выражает мужицкую идею равенства тем же глаголом:

Кака барыня не будь,  
Все равно ее....

Убей немца, а потом завали немку. Вот он, солдатский праздник победы. А потом водрузи бутылку донышком вверх!

Но офицеры, генералы? Почему они не прекратили безобразие? А они тоже думали по-матерному. Разгулявшегося русского человека всегда трудно было удержать. Суворов не сумел остановить резню в Измаиле; паши вышли сдаваться, а чудо-богатыри всех перекололи. Но офицеры были дворяне (не потомственные, так личные). И благородство обязывало. Офицеры пытались сдерживать казачью и мужицкую стихию, и почти всегда им это удавалось. А Федя Аникеев — чем он отличается от рядового солдата? Скорее в дурную сторону: меньше терпения, больше нахальства. Такие Аникеевы при коллективном изнасиловании навоят порядок в очереди.

Леонтьев, к сожалению, в чем-то прав: лучшие свои качества русский народ обнаруживает в отчаянно трудных условиях, когда сами обстоятельства заставляют терпеть узду. Мужики Марен были добрые, когда их держали в руках. И дворяне держали. А революция содрала верхний слой.

Госпиталь отравил меня проблемами еврея, пустившего корни в русскую почву. Других еврейских проблем я на личном опыте не знал; с еврейским народом, жившим плотными сгустками в черте оседлости, я соприкасался только в раннем детстве. Берлин поставил вопрос о самой почве. Задним числом я и госпиталь вспоминаю по-новому и думаю: сколько их было, Аникеевых, в офицерской палате? Солдатская палата в Кинешме пахла гноем — но душевной вони в ней было меньше. Отчего? От привычки рядового к смирению? Или время было другое — 42-й год, — и нечего было делить, кроме смерти? И перед ее лицом немного почистились?

Разнужданность капитанов и лейтенантов — откуда она взялась? Что вываривает в России череда побед и поражений? Не сейчас только, а с давних-давних пор... Зачем славяне призвали варягов? Чего здесь больше: способности превращать чужое в свое, «всемирной отзывчивости», как это назвал Достоевский? Или женственной агрессивности, отдачи себя воину, чтобы рожать воинов? В чем смысл неожиданной слабости, с которой Русь сдалась Батью, и не от татарского ли ига родилось самодержавие? А потом — сдача прогрессивным идеям, обещавшим еще большую силу, покорность неистовым хирургам — и каждый раз новые победы и расширение империи? И каждый раз возникновение еще более могучего государства, еще на шаг ближе к Третьему Риму? И вперекор всему этому — крохи подлинного христианства, порывы к Святому Духу, иконы XIV—XV вв., страницы Достоевского и Толстого... Расколота душа... Вечно между идеалом мадонны и идеалом содомским. Русская удаль в бою. Русский разгул в погроме.

Каждый национальный характер соткан из противоположностей. Но в литературе эти противоположности сгруппированы, прояснены и складываются в стройную систему. А в жизни наплывает хаос, и противоположности ни во что не складываются. Как сложить вместе лейтенанта Сидорова, мужество которого мне хочется назвать кротким и смиренным, и лейтенанта, угощавшего друзей трофейной киноактрисой? И как Сидорову не затеряться в куче хамов — хамов-то ведь гораздо больше? Что выйдет из соседства поросенка Тонечки и крестьянки Ивановой, пустившей нас, раненых, себе в избу (госпитали не сжалились) и накормившей всю ораву ржаными лепешками, отрывая от своих четырех детей? До сих пор помню ее и другую крестьянку, Анастасию Равлину, вывезшую меня на колхозной некормленной лошади, — за день проехали только восемь километров — и кусок хлеба, раздобытый у баб, чистивших дорогу, и ночлег в курной бане посреди выгоревшей деревни... Не съедят ли Тонечки Анастасию, как съели Матрену Васильевну? Возможен ли когда-нибудь порядок, при котором Сидоровы окажутся в силе, а Черемисины и Аникеевы на задворках? Откуда взять благородный правящий слой (ну, не из одних Сидоровых, конечно, так не бывает, но хоть с прослойкой Сидоровых)? Как перейти от взрывов вольной волюшки (казнить — так казнить, миловать — так миловать) — к внутреннему, не на палке основанному порядку, то есть к самоуважению, достоинству и ответственности? Есть ли для этого политические средства? Чем больше я живу, тем меньше в них верю. У кого есть сила — нет доброго духа. У кого добрый дух — нет силы. Если говорить о средствах, доступных человеческому разуму, то разум же рушит все свои проекты, обнажает их неисполнимость. И остается только надежда на медленную Божью помощь, идущую незаметными, неожиданными путями. «Мы, писатели; делаем свое дело, — написал когда-то Флобер, — пусть Провидение сделает свое».

Это не очень утешительное понимание вещей вызревало во мне 40 лет. А тогда были нелепые надежды: вот в Польше устраивают многопартийную систему, может, и у нас? Так мне серьезно говорил какой-то технарь-капитан. Вояки распустили языки, вольно говорили на партсобраниях о наших язвах, и я видел в этом ростки новой демократии. Что-то во мне булькало, клокотало и, наконец, взорвалось — нелепо, по случайному поводу. И меня растоптали. Я долго потом не любил вспоминать победу. Она пахла для меня, как для крестьянок, ехавших куда-то за хлебом и кричавших с железнодорожной платформы, осенью 46-го: «Медали, а хлеба не дали!» (Я слышал их по дороге в политуправление Белорусского округа.) Им не дали хлеба, а мне — свободы мысли. И всем заткнули рты.

Потом я снова стал вспоминать эту странную победу, ставшую поражением всех идей, с которыми я начал войну. Что поделаешь, других побед я не знал.

Впрочем, вру. Была у меня еще одна, личная победа. Двадцать лет спустя после первой, всенародной, я выступил в институте философии и сказал то, что думал о решении реабилитировать Сталина. На другой вечер я попросил Зину поставить на радиолу 9-ю симфонию и прослушал ее с начала до конца — со слезами, когда хор пел обрывки оды к радости. Freude (радость) звучало сходно с Freiheit (свобода), и Шиллер сперва думал о свободе, только потом он заменил опасное слово другим — тоже прекрасным. И в стихах Шиллера, и в музыке Бетховена для меня звучит радость свободы, свобода радости.

Радость радость, искра Божья,  
Дочь небес! В твой светлый дом  
Мы сейчас, как боги, вхожи,  
Опьяненные огнем...

Это был мой собственный, домашний салют. Но что я праздновал? Скорее внутреннюю победу, свою внутреннюю раскованность. Я посмел и сумел сказать вслух, публично то, что все вокруг хотели сказать и не решались. Я переступил через меловой круг, в котором топчутся курицы. Тогда впервые я перестал жалеть, что не родился в другое время, впервые почувствовал, что среда меня не заела, что я вынес свой век.

Но никакой внешней победы не получилось. Не вышло цепной реакции, кас-



када речей — с кафедр университетов, с кафедр конференций — примерно о том же. Тем, у кого был ум, не хватило храбрости, тем, у кого была храбрость, не хватило ума. Я высочил, остановился на линии, тонкой, как лезвие ножа, и удержался на ней. Все удивились. Из любопытства мне дали слово в Политехническом музее, на вечере встречи с интересными собеседниками, и Отдел пропаганды ЦК ВЛКСМ меня разглядывал (и начал соображать, как с такими чудаками бороться). Журналисты пытались дать ход моим статьям (но почти ничего не вышло: то, что принимала редакция, отвергала редколлегия). Было несколько любопытных встреч. После среды в «Литературной газете» за мной до дома шло несколько человек. Потом, когда все разошлись, самый настойчивый, — помню, он был плотнее меня, но не выше, — тихо спросил: не считаю ли я себя пророком? Меня передернуло: я почувствовал гримасу отвращения на своем лице. Потом, сдержавшись, сказал, что нет, не считаю и хотел бы, чтобы и все другие не искали пророков, а думали своим умом. Больше этот человек ко мне не приходил. Ему нужны были пророки, вожди.

А потом весна 1967-го, начало спора с Солженицыным, короткая вспышка радости от шестидневной войны, отравленной аннексией старого Иерусалима, — и черный август 1968-го. Чем дальше, тем больше я сомневался во внешних победах, даже если они удавались, как наша победа над немецким фашизмом, победа Израиля над арабами, как победа Фауста над стихией. Атомная бомба и экологический кризис заставили сомневаться в том, что долго казалось бесспорным: в самой науке, в самом прогрессе разума. Чем дальше, тем больше я чувствую некий невоспринимаемый ухом шум истории, ставший физически слышимым в шуме техники. Мне кажется, этот шум не просто сопровождает прогресс, а становится его главным итогом, оттесняет назад все блага, все чудеса, как стук лопат лемуров в пятом действии второй части «Фауста».

Можно ли было — после чудовищных потерь 41-го и 42-го года — дойти до Берлина? Да, можно, дошли. Но за счет глубокого искажения народной души. С помощью вставшего из могилы призрака всемирного завоевателя, Батыя, Чингисхана. Такая победа — напиток ведьмы. И народ, проглотивший его, долго останется отравленным, и через несколько поколений отравла выступают съпью — портретами Сталина на ветровых стеклах.

Можно ли было совершить научно-техническую революцию? Да, можно. Но я просыпаюсь утром от шума машин на улице или от рева самолета над головой. Как она грохочет, наша победа над природой!

Во всякой внешней победе заложен рок. За всякую победу надо платить. Только внутренние победы бесконечно плодотворны: над страхом, над желанием первенствовать, богатырь, мстить. И побеждать. Ибо внешняя победа, до основания уничтожающая то, что нам кажется совершенным злом, тут же становится новым злом, и хороши только те скромные победы, которые восстанавливают естественное равновесие и не дают чему-то одному разрастись за счет остального. То есть победы над инерцией победы. Победы, останавливающие разгул побед, как степной пожар — встречным пожаром.

А упоение победой, восторг победы — смертельный хмель:

И миру неведом  
Итог под итогом:  
Любая победа —  
Распятие Бога.

(З. М. Миркина)

Я не жалею, что участвовал в войне с Гитлером. Чему-то иногда надо помочь, чему-то помешать: это как бы историческая скорая помощь. Но источники жизни, духовной и физической, не в ней. В тысячу раз важнее медленная помощь. О которой как-то сказалось в песне Галича:

Мне не надо скорой помощи,  
Дайте медленную помощь.

Медленная помощь в песенке — экономическая, ссуда из кассы взаимопомощи. Однако перо Галича умнее его. Можно взглянуть на вещи иначе, глубже:

Древнюю дружбу богов, этих великих, незримо и ненавязчиво сущих (мы их не слышим в азарте гонки, в гуденье машин)... Что ж, их отринуть должны мы или начать вдруг искать их поселения на карте? Властные эти друзья, те, что в безмолвные дали мертвых уводят от нас, не обнажат свои лики. Наши купальни, кафе, игрища наши и крики их оглушили. Мы так давно обогнали медлящих проводников в вечность и так одиноки рядом друг с другом, друг друга не зная. Путь наш не вьется, как тропки лесов и потоки, дивным меандром; он краткость, прямая. Так лишь машина вершит взлет свой искусственнокрылый. Мы ж, как пловцы среди волн, тратим последние силы.

(Р.-М. Рильке)

Надо, наверное, объяснить читателю, почему я вдруг вспомнил (и тут же переосмыслил) Галича: скорая помощь, медленная помощь — и превратил эти слова в ключевые термины своей философии истории.

Одна старая приятельница упрекнула «Записки» в том, что я недостаточно писал в них о жалости. «Христос был целителем», — говорила она. Я возразил, что Христос — это прежде всего внутренний подвиг, глубина созерцания, стяжание Святого Духа; и этим Духом, переполнявшим Его, Он мимоходом исцелял и физические язвы, — но по возможности не привлекая к этому внимания и никогда не ставя на первое место. Она согласилась, и все-таки упрек остался у нее в глазах. Я сказал, что понимаю ее, что порыв жалости — огромная сила, и, наверное, надо об этом писать, но тогда не обо мне, а о других. С этих пор я стал думать об этих других, о рыцарях милосердия. И почему я не такой. И вспомнил стихи Галича, и вокруг них постепенно все сплелось. Не как спор с Альбертом Швейцером, который успевал и негров лечить, и играть на органе, и писать книги — нет, ни в коем случае! Блаженны те, кому дается такое равновесие порывов, такое бесстрашие духа. Но оно очень редко, но жизнь складывается из страстных односторонностей, и невозможно их избежать.

У меня, например, сострадание или становится любовью (и даже с самого начала неотделимо от любви), или остается коротким порывом. Мышкин говорит, что любит Настасью Филипповну жалостью (а Рогожин — страстью). Но у меня не было страсти, не начинавшейся с жалости и не доводившей жалость до страстной готовности всего себя отдать любимой. Так что сострадание, восхищение великой душой, богатой, бездонной внутренней жизнью, преклонение, любовь — все росло вместе, в одном клубке. Если душа душу не захватывала, если была только жалость, то и живым лекарством я не мог стать. Как-то пробовал — и через полчаса понял, что не выходит и не выйдет.

И вот на других, на весь остальной мир, на четыре миллиарда современников остается меньшая половина моих душевных сил. Этой меньшей половиной я откликался, писал, выступал с речами. А большая часть доставалась тем, кого я любил.

Деятельное сострадание во мне неотделимо от любви. Это совершенно личное чувство, сосредоточенное на вот этой душе. Я не мог бы целый день думать, как помочь человеку, с которым у меня нет избирательного сродства. Волны сострадания к людям просто потому, что они несчастны, что стали жертвой насилия, несправедливости, злой судьбы, иногда меня окатывали, и при случае я что-то писал или подписывал протесты или пытался помочь больному, но это никогда не становилось устойчивой страстью: я могу быть сосредоточен только на тех, кого люблю. Их я не забываю никогда. На них я собран. Безо всякого усилия, без сознания долга, простой силой любви. А если вижу брошенного котенка или собаку с язвами на шкуре — беспомощно прохожу мимо. Невозможность разбрасываться — оборотная сторона собранности на том, чего требует вся душа.

У каждого свой путь, своя дхарма. Сострадание безо всякой любви (даже сквозь отвращение) может быть большой, испепеляющей страстью. Сердцем я могу понять Иконникова (персонаж «Жизни и судьбы» Гроссмана), для которого

непосредственная, безрассудная доброта — единственное достоверное благо в нашем искаженном, полном лжи, все извращающем мире. Но — увыл сколько детей испортила чрезмерная доброта! И сколько несчастий принесло «Нетерпение сердца», о котором написал Цвейг! И сколько сердобольных душ, расточая себя всем, не умеют почувствовать иерархию бытия и всей силой, всей собранностью помочь одному избранному Богом и задыхающемуся от своего избрания!

Нет ничего на земле, что не поддается тлению и не рождает бесов — в самом человеке или вокруг него. Я не радуюсь подвигу, когда человек дает растерзать себя, разорвать на части — вампирам, удивительно хорошо чувствующим, в кого можно впитаться. И сколько прирожденных сестер милосердия, никому не способных отказать, падают под бременем своего креста и несут страдальцам дух своего нравственного (а не только физического) надрыва...

Есть рыцари разных орденов, и все служения прекрасны — до тех пор, пока не становятся одержимостью. Петр Григорьевич Григоренко поразил меня мягкостью, с которой он обращался со своим пасынком (до 12 лет не сумевшим сказать слова «мама»); но главная страсть Григоренко — не милосердие, а борьба со злом. Это святой воин. Главной страстью Гроссмана, пережившего Иконникова как свой час души, были скорее истина и справедливость. Достоевский в юности тратил на милостыню почти столько же, сколько на продажных женщин; но главной его страстью были не милостыня и не женщины, а рассказы и повести. И когда человек пишет «Бедных людей» (со страстью и почти со слезами), он не всегда успевает помочь бедному соседу. Главная страсть господствует за счет всех остальных. И вот мои главные страсти — скорее любовь, чем жалость, и скорее понимание, из которого рождается слово, чем действие. Плохо ли это? Да, плохо, потому что силы любви у меня на всех не хватает. И в то же время хорошо, потому что это любовь, это понимание.

Разве можно насытить потребность человека в творческой радости, в смысле жизни — одним состраданием? Разве (сознательно сужаю задачу) мне было бы достаточно, чтобы любимая меня жалела? Нет, я хотел бы заслужить полную, безоговорочную любовь...

Одной из причин упадка буддизма в средневековой Индии была неспособность выработать образы страстной, всепоглощающей любви. Победа бхакти была торжеством любви-страсти над любовью-жалостью. Что-то при этом было утрачено, какой-то уровень отрешенного духа. И все же я не оплакиваю историческое развитие, я пытаюсь его понять. Я убежден, что какой-то главной, главнейшей задачи сострадание не может решить.

Иов страдает и ждет сострадания. Но разве сострадание вернуло ему силы и способность жить заново и снова нажить детей и стада? Спасает, дает прямую радость, возвращает смысл жизни только голос из бури. Прямая встреча с Богом. Прямое созерцание Бога: то, что Серафим Саровский назвал стяжением Святого Духа. Или по крайней мере встреча с человеком, который этот дух стяжал. Или с искусством, запечатлевшим лик красоты.

Люди несчастны не потому, что бедны и больны (очень бедные и очень больные люди принимали горькое как сладкое и были по-своему счастливы). «Несчастен тот, кого, как тень его, пугает лай и ветер косит...». Несчастливы те, кто не умеет взглянуться в откровение, которое каждый день приносит нам природа и искусство. Трагик Мочалов, потрясавший зрителей, спасал их души, и Пушкин или Моцарт — не меньшие благодетели человечества, чем доктор Гааз... Красота не только спасет мир когда-то в будущем, она спасает его сегодня, каждый день. Что возвращало смысл моей жизни в тридцатые годы? Стихи Пушкина, Тютчева, Влока; проза Толстого и Достоевского; полотна французских импрессионистов, собранные Щукиным. Что меня поддерживало в тягостную первую лагерную зиму? Музыка Чайковского по радио...

Искусство учило меня любви, учило радости сквозь страдание. Этому же меня доучивали люди, которых я любил. И я по мере своих сил учу тому, что мне самому возвращало смысл жизни. То есть движению в глубину, где мы находим силу сказать миру, со всем его злом, со всей его мукой: да! Это не только

прямое благо; это еще лучшая профилактика от всех язв, требующих скорой, безотлагательной помощи...

Я думаю, впрочем, что у каждой доброй души свое равновесие скорой и медленной помощи, Марии и Марфы. Зина писала своей подруге: «Эти сестры обе нужны Христу и любимы им. И если в чем есть грех Марфы, то не в том, что она делает не то, что Мария, а в том, что упрекает Марию и хочет д в е р а з н ы е задачи свести к одной с в о е й задаче...

Одному человеку и одному времени ближе и действеннее одно, другому — другое. Грех — в навязывании другому не его задачи. Это при том (страшно важное условие), что каждая настоящая задача открывает в человеке великое сердце...

И вот здесь мы подходим к границе несказуемого. Ибо надо уметь поверить иному человеку, что он несет свой крест, даже если он в это время с места не двигается и никаких ран на нем не видно. Надо почувствовать, что э т о т человек внешними, видимыми мерками не меряется. Вот именно этого Христос хотел от Марфы: чтобы она Марию мерила не своей, Марфиной, а ее, Мариной, мерой. А если не можешь, — просто не мерь, а верь.

Что созерцала Мария? Будущие страдания Христа? Мария прежде всего созерцала с а м о г о Х р и с т а... А Он не сводится ни к страданию, ни к радости. Он есть воскресение и жизнь вечная... Увидеть Христа — значит увидеть воскресение сквозь крест и жизнь сквозь смерть. Истинное созерцание в мистическом смысле слова — созерцание э т о г о...». Для такого созерцания нужна «полная мера тишины».

Человеку, по натуре деятельному, трудно это понять. Но есть глубинные рыбы, которые умирают, выброшенные в верхние слои океана. Где всю жизнь плавают другие. Созерцатель, вырванный порывом жалости из своей жизни, может погибнуть, никого не сумев спасти. Таких людей (им обычно не хватает чувства самосохранения) надо удерживать и возвращать на их глубину.

Ангелы милосердия принадлежат к другой породе. Им достаточно иногда прислушаться к тишине: прочесть книгу, родившуюся в тишине; уйти на полчаса в молитву... Милосердие — их творчество, их песня, их стих... Но не забывайте: есть еще художники, которым надо «погрузить сосуд своего сердца в молчание этого часа, чтобы он наполнился песнями» (цитирую Тагора). И бывают немые натуры, которые всю жизнь что-то вынашивают — и ничего видимого в мир не вносят. Только ауру созерцания.

Такой была Тамара. В этой незаметной, неяркой женщине была тихая сосредоточенность на чем-то своем, глубоко внутреннем. Глубокое — ее высшее слово, самая высшая оценка. Выше не было. Впрочем, слов вообще мало, не только лишние слов, но даже нужных. Очень тихая, сдержанная. Активные люди ее утомляли, она сторонилась их. И вдруг — до сих пор не понимаю, чем я ее затронул, лекция была о культурной революции в Китае. Случайная фраза о рационе китайского крестьянина (беднее, чем паек заключенного в Каргопольлаге в 1950—1953 годах). Случайная ассоциация, но Тамара пришла ко мне в библиотеку и попросила давать уроки философии за 25 рублей в месяц (больше она, к сожалению, давать не может). Я ответил, что денег за философию не беру, а если ей так нужно, пусть приходит раз в месяц, я буду давать ей что-нибудь прочесть, потом поговорим. Спросила: «Чем же я могу помочь вам?» — «Ничем», — ответил я. — «Ведь вы не умеете печатать?» — «Нет». — Через полгода, после разговора о Кришнамурти или Сент-Экзюпери: — «Я научилась печатать». — Дал ей прочесть Зинины стихи. Почувствовала. Стала приходиться к нам домой. Сиделась где-то сбоку, в уголку: «Не обращайтесь на меня внимания».

С Зиной Тамара сближалась медленно — и вдруг сблизилась совершенно, когда Зина ухаживала за смертельно больной матерью; впервые рассказала тогда о последних месяцах своего отца и выговорила вслух его слова, которые много лет носила в сердце, но только теперь до конца поняла: «Ты сделала великое дело. Прими мою смерть торжественно». Поразительные слова, как бы не из религиозного арсенала, и вместе с тем глубоко религиозные. Потом мы много слышали о ее отце. Мальчиком лет десяти он продал свою зимнюю куртку, чтобы

старшей сестре с детьми хватило денег на железнодорожные билеты (пароходные у них уже были) — доехать в Америку. Юношей лет семнадцати выучился играть на скрипке, чтобы показать красоту мира соседской слепой девушке, — и чуть не покончил с собой, когда та в него влюбилась. Память об отце и привела Тамару к нам. И вот теперь, глядя, как Зина провожала маму в смерть, она поняла, что отец хотел сказать, умирая. В одном из стихотворений Зины, посвященном памяти Тамары, эти слова всплыли заново:

Как будто боль смолкает, и видна  
 Вся ширь в окне, и все леса, все дали,  
 И оказалось — это глубина  
 Разверзлась, где мы раньше не ступали.  
 И снова боль — такая, что почти  
 Не вынести. Еще одно мгновенье —  
 И сердце разорвется, чтоб вместить,  
 Чтоб сквозь себя куда-то пропустить  
 Тебя. И с болью радость обретенья  
 Сливаются. Внутрь сердца моего  
 Вмещенное внезапно торжество  
 Неумолимой боли — тот конец,  
 Который завещал тебе отец.

Тамара никогда не была всеобщей сестрой милосердия. Гораздо больше созерцала, чем действовала. Всю жизнь искала того, что дает духовную силу: глубоких часов природы, глубоких слов. Я уже писал, что собственных слов ей не хватало, иногда очень мучилась от своей немоты, но все говорила глазами, и поразительно говорила, сама этого не зная (в такие минуты не смотрят в зеркало). Чувствовала себя бездарной, но, печатая мои опыты, делала замечания, которые я всегда обдумывал, и один раз совершенно переделал текст. Тамаре, вместе с еще несколькими друзьями, я обязан тем, что пустил по рукам сравнительно мало глупостей и смягчал полемические удары.

До того, как подружиться с нами, она привыкла ходить в походы и продолжала ходить с группой туристов по Подмоскovie. На поминках я узнал, что для многих с книг, которые она носила с собой, и с разговоров у костра началась их духовная жизнь. Но главное для нее было не рассказать, а понять; не выговорить, а впитать. Я не мог себе представить эту Марию, ставшую Марфой, живущей в постоянной деятельности, без сосредоточенности на внутреннем и тишины. От матери она легко уходила в походы, ездила даже на Камчатку. Кажется, не было здесь такой любви, как к отцу. И вдруг мать потеряла разум, стала беспомощной, как ребенок, и Тамара в одном порыве отдала ей всю свою жизнь. Отдала с любовью, со страстью, наверное, впитавшей в себя неосуществленное материнство. Не просто ухаживала за беспомощной старушкой, а буквально надыхалась на нее не могла, не спала ночами, следила за каждым движением больной... Делала много лишнего, даже с медицинской точки зрения. И перед смертью сама призналась, что это ее погубило: «Я отдала ей всю прану».

Натура, созданная для созерцания, не выносит долгого напряжения деятельной жизни, даже идущей из самого сердца. Она избрана для другого. В ее сердце отражается глубина — и когда сердце это неспокойно, замутнено заботой — нарушен строй глубины (не знаю, как яснее это сказать). В раю дьявол искушает добром, и жалость может стать соблазном. Жалость, захватив слишком много места, отвлекает от торжественности бытия, в которой душа достигает своей высшей зрелости и зрелой приходит в ворота смерти; отвлекает от души к мелким нуждам больного тела. В самом помощнике что-то нарушается, и он теряет способность помочь, теряет силы, его самого подстерегает болезнь. И тогда остается только одно: достойно умереть.

Это Тамаре было легко. Она три раза приезжала на елку, ложилась на тахту (сидеть уже не было сил) и смотрела посвященную ей мистерию о смерти и воскресении. Смотрела —

Как души смотрят с высоты  
 На ими сброшенное тело.

Какая мысль созревала в ней? Как вмещался в ее сердце бесконечный Божий образ? Не знаю. Но что-то осталось, что-то она завещала нам. Мне — чувство вины. Смутное, непонятное, только постепенно прояснявшееся. Что я мог сделать? Ничего. Но я мог быть нежнее. Не только в последний год, а во все годы нашей дружбы. Держать с ней сердце совершенно открытым, как я научился только недавно, с младшими... Я, может быть, не спас бы ее от судьбы (и даже наверное — не спас бы), но лучше бы проводил. Не все ведь равно, как уходит!..

И пусть не говорят, что она за все получила Там. Что будет Там, увидим Там. А наше дело — найти свою меру здесь. Меру, равновесия скорой и медленной помощи, второй и первой заповеди. «Нам надо служить Богу, а Богу надо нас пересоздать. Преобразить», — писала Зина в том же письме. — «Мы должны чувствовать себя глиной в Его руках...». А быть глиной — значит каждый день жить с открытым сердцем. Принимать огонь с неба и раздавать его людям.

Да, если жестко поставить вопрос, мне действительно «не надо скорой помощи». Я благодарен за ржаные лепешки и краюху хлеба в феврале сорок второго и до сих пор помню, но медленная помощь мне нужнее. Пусть не будет хлеба, пусть не будет стакана воды, пусть умру несколькими годами раньше — только бы не прекращалась медленная помощь, только бы доходила до меня волна духовной силы, без которой я ничто и не стоит жить ни одного дня.

Я стараюсь удерживать Зину от порывов, которые в другой вызвали бы мое полное уважение и понимание. Я вижу, что ее главное назначение — уходить в созерцание и стихи. Когда жалость бросает Зину к скорой помощи, болезнь швыряет ее обратно и заставляет приостановить всякое общение с людьми и опять набираться медленной помощи. И тогда именно возникают — не делает она, не пишет, а в ней возникают ее стихи. Которые больше всего нужны друзьям. И в которых не меньше нравственного, чем в труде сиделки. Может быть, не больше, но и не меньше. Каждому свое. И поэтому нечего краснеть при свете соvestи. Разве за те стихи, которые подсказал черт. Но это частное дело одного поэта, а не всей поэзии. Это дело исповеди Марины Цветаевой, — кому она служит в «Молодце». Поэт вполне может сбиться, такое у него рискованное ремесло. Я думаю, что Бог его простит — как Пречистая своего паладина в пушкинском стихотворении. Но у Рильке цветаевского вопроса нет. Его искусство — чистая духовная помощь, из которой вырастает всякое добро, в том числе и труд сиделки.

Есть тишина, которая сама  
В нас действует. И ничего не надо  
Нам, кроме слуха чуткого и взгляда.  
Лишь только умаление ума  
И разрастанье сердца. Мир впервые  
Рождается и входит в грудь одну,  
У ног Христа сидела так Мария,  
Чтоб слушать не слова, а тишину.  
Ах, Марфа, Марфа! Погоди немного.  
Накормит Бог, и ты накормишь Бога.

(З. М. Миркина)

Я много раз вспоминал последние два стиха (ставшие для меня поговоркой) — и вдруг тема повернулась заново и открыла совершенно новый взгляд и на себя, и на других. Я вдруг понял, что скорая помощь — это не только жалость, доброта, стакан воды больному, это также борьба за справедливость, за реабилитацию Каласа, Дрейфуса, крымских татар и против реабилитации Сталина. Такие порывы я в себе знал, и они меня иногда увлекали очень далеко, даже к попыткам общего дела. А как только начинается общее дело, встает вопрос, которого нет в личном порыве жалости. Юлиан Милостливый может погубить самого себя — и только. Прометей, украв огонь, ставит под угрозу все человечество, и проблема равновесия между скорой и медленной помощью имеет не только личный, но и социальный и космический повороты.

Освободить и разнудать не трудно  
Неведомые дремлющие воли:  
Трудней заставить их себе повиноваться.

Поэтому за каждым новым  
Разоблачением Природы ждут  
Тысячелетия работы и насилий,  
И жизнь нас учит, как слепых щенят,  
И тычет носом долго и упорно  
В кровавую, расплзшуюся жижу.

Так писал Волошин. Об этом же, по сути, говорил и Гроссман. Вопрос этот, кажется, впервые выплыл в русской литературе в переписке Печерина с Герце-ном. Но потом их спор был пересказан Лебедевым в романе «Идиот», и я помню его скорее по Достоевскому: «...спешат, гремят, стучат и торопятся для счастья, говорят, человечества!» «Слишком шумно и промышленно становится в челове-честве, мало спокойствия духовного», — жалуется один удалившийся мыслитель. «Пусть, но стук телег, подвозящих хлеб голодному человечеству, может быть, лучше спокойствия духовного», — отвечает тому победительно другой, разъезжаю-щий повсеместно мыслитель, и уходит от него с тщеславием. Не верю я, гнусный Лебедев, телегам, подвозящим хлеб человечеству! Ибо телеги, подвозящие хлеб всему человечеству, без нравственного основания поступку, могут прехладнокров-но исключить из наслаждения подвозимым значительную часть человечества, что уж и было... Уже был Мальтус, друг человечества. Но друг человечества с шато-стью нравственных оснований есть людоед человечества, не говоря о его тщесла-вии, ибо оскорбите тщеславие, которого-нибудь из сих бесчисленных друзей чело-вечества, и он сейчас же готов зажечь мир с четырех концов из мелкого мщения».

В частности, в подробностях аргументации Лебедева можно было бы допол-нить, назвать факты, которые в XIX веке еще намечались, но в целом — в целом я не знаю ничего более точного: «спешат, гремят, стучат и торопятся «для сча-стья, говорят, человечества»...» И выходит почему-то несчастье, как в старой-престарой частушке, которую помню с детства (когда машины скорой помощи еще называли каретами):

Скорой помощи карета  
Пролетела, как комета,  
В помощь одному спешила,  
Трех дорогой задавила.

\* \* \*

Есть женское дело любви: бездомные собаки, уроды, дурачки, которых ник-то не жалеет. И есть мужское дело любви: борьба за добро. От этого никуда не уйдешь. Можно спорить, к а к бороться, но к а к-т о это делать нужно. Невозмож-но обойтись одной добротой, одной жалостью. Борьба за добро и доброта одина-ково человечны, как одинаково человечны мужчина и женщина. Но есть еще Божье дело любви: восходы и закаты, и Моцарт на воде, и Шуберт в птичьем га-ме, и музыка взглядов и прикосновений, и Святой Дух, прошедший через сердца и ставший словом, вышедшим из уст Божиих — в искусстве, созревшем в тиши-не созерцания и продолжающем эту тишину. Если забыть Божье дело любви, ес-ли медленная помощь потеряла свое первое место, то все начинает искажаться...

Мыслители серебряного века видели истоки зла в потере вероисповедания, в расцерковлении. Я думаю, что началось раньше. В самой Церкви безмолвие усту-пило место суете. Просят у Бога скорой помощи и не видят медленную помощь, смотрят и не воспринимают. Просят исцеления и не видят духа, дающего силу вынести болезнь и принять торжество смерти. Все вероисповедания повернулись к молитвам об исцелении, сохранении и т. п. — слишком усердно, слишком круто, порой забывая о внутреннем свете, о первой заповеди. И потому рационализм имел основание отбросить всю эту магию как обман и самообман. И создать чисто рациональную систему скорой помощи. В с р е д н е м, скорая помощь с красным крестом на кузове работает лучше, чем священник со своим наперсным крестом. С этой бесспорной истины начались все сдвиги Нового Времени.

Сейчас мы на повороте к другой эпохе; на Западе ее назвали посленовой (постмодерн). Восстановление медленной помощи идет частично через традицион-

ные религии, в России — через православие; но простое возвращение к букве традиции ничего не решает. Мы снова окажемся в том самом положении, с которого начался «упадок средневекового мировоззрения», как выразился когда-то Владимир Соловьев. Опять вместо школы безмолвия суета причта и опять равнодушие к воплям мира, лежащего во зле, прикрытое лицемерными словами о Марии, избравшей часть благую. И опять внутренний простор, мерцающий в церкви, окажется тесным для натур, жаждущих дела, и за справедливость встанут террористы. Перейти от черного к белому и от белого к черному — это не значит восстановить гармонию.

Голод, эпидемии, растоптанные права человека — ото всего этого нельзя откреститься, как от дьявольского искушения. Призыв к скорой помощи раздрает мне уши, и в то же время я сознаю, что вопль рвет тишину, в которой только и родится дух истины (сегодняшней, сиюминутной и вечной) и поможет нам сохранить равновесие и не создавать нового зла, воюя со старым. А если не найдем в себе и вокруг себя тишины, то пересилит родившийся в грохоте дьявол, и мы опять упьемся своей мнимой победой.

Нас увлекает возмущенное чувство справедливости, сострадания, жажды подвига, готовности на муки — и незаметно мы сами становимся мучителями.

Не веривший ли в справедливость  
Приходил  
К сознанию, что надо уничтожить  
Для торжества ее  
Сначала всех людей.  
Не справедливость ли была всегда  
Таблицей умноженья, на которой  
Труп множился на труп,  
Убийство на убийство  
И зло на зло?

(М. Волошин)

Разве революция не скорая помощь? Чем дело Дмитрия Донского отличалось от дела Джорджа Вашингтона? И если свята борьба против татарского ига, то почему не свята борьба против английского ига? Против крепостного права, против черты оседлости, против любого угнетения? Ленин говорил, что революция — самый быстрый и безболезненный путь развития, с точки зрения трудящегося большинства. И, конечно, он в это верил и имел основания для своей веры. Американская революция, к примеру, была действительно не очень болезненной операцией, открывшей дорогу свободному развитию Штатов. Хирургия, в известных пределах, — меньшее зло, чем гангрена, флегмона, опухоль. Разгул зла начинается с захлеба идеей революции, с мысли о том, что революция и есть наилучший порядок. Тогда хирурги, вдохновленные идеей, отрезают пациенту нос, чтобы в корне ликвидировать насморк, ноги, чтобы не было подагры, и голову, чтобы не случилось склероза.

А разве не скорая помощь — тоталитаризм? Паутина законов сковывает деятеля. Неограниченное насилие гораздо эффективнее. Московские врачи, получив чрезвычайные полномочия, справились с черной оспой в несколько дней. В Нью-Йорке это было труднее. Так писали газеты, и я думаю, что в этом случае они не врал. Можно прибавить, что Гитлер очень быстро покончил с безработицей, построил великолепные дороги. У каждого серьезного тоталитаризма есть подобные заслуги. Но коренной вопрос о равновесии между скорой и медленной помощью тоталитаризм не способен даже поставить. Собрав все силы общества в государстве, он юридически и политически закрепляет стихийный переход нового времени в сторону скорой помощи. Непосредственная, личная, сердечная помощь допускается только в рамках, установленных государством. Жалость к жертвам политики недопустима. Доброе дело лишается человеческого лица, превращается в казенный акт. Марфа, похлопотав, может усесться у ног Христа. Мария, посидев, сколько душа требует, встанет и будет помогать Марфе. Этого естественного перехода от медленной помощи к скорой и от скорой к медленной не может быть в деятельности государственных рычагов. Государство не имеет сердца, которое решает — когда молиться и созерцать красоту мира, а когда действо-



вать. И государственный функционер также теряет сердечное чувство. Естественное уступает место маске.

Я думаю, что самая суть современного кризиса — это нарушенное равновесие между скорой и медленной помощью. Резкий перекося в сторону скорой помощи и замутнение источников медленной помощи. Совершенного равновесия, наверное, никогда не было. Но перекося были, кажется, не такими резкими. Индия с давних пор перекошена в сторону медленной помощи — и так стоит, чуть наклонившись, три тысячи лет. Голодает, бедствует, но не грозит миру катастрофой. На край гибели нас поставили сдвиги Запада: расширение (а не углубление) свободы, рациональность, эффективность.

То, что я долго на разные лады доказывал в споре с Александром Исаевичем Солженицыным, можно выразить кратко и просто: коммунизм — только частный случай перекося в сторону скорой помощи. Другой тип перекося, чем в стране, где время — деньги, но скорой помощи (по крайней мере, по идее скорой; то, что она замедлилась и забуксовала, — особая проблема). И поэтому для азиата Америка и Россия — два сапога пара, два типа индустриализации, вместе противостоящие мировой деревне.

Вообразим на миг, что все коммунисты улетели на Луну. Останется, однако, взрывной рост населения, переразвитость одних стран и слаборазвитость других... Что изменится? Политическая авансцена. Политический словарь. Но диктатуры все равно будут расти, как грибы. Они и сегодня растут там и сям без коммунистов и в борьбе с коммунистами. Разве Насер был коммунистом? Или Хомейни?

С этой точки зрения я подхожу и к стилю полемики. Если главное скорая помощь, то мои разговоры о стиле праздная болтовня.

Какая мне честь,  
Что чудные рифмы рожу я?  
Мне главное, надо покрепче уесть,  
Уесть покрупнее буржуя.

И вот в полемике Солженицына с Борисом Шрагиным — «господин ХУ» (с подразумеваемым и-кратким). Уел, нечего сказать.

Солженицын когда-то поразил нас своим поворотом к медленной помощи, к созерцанию, к душевной тишине и растущей из тишины нержинской мысли. Но чем дальше, тем больше его захватывает азарт скорой помощи (письмо вождем, жить не по лжи, всей России прочесть «Архипелаг»). И чем больше, тем меньше внимания основному: равновесию скорой и медленной помощи. Без которого одни опухоли тут же заменят другие опухоли.

Скорая помощь должна быть устроена так, чтобы не подрывать основы медленной помощи. Иначе не будут телеги подвозить хлеб человечеству, а будут использованы как пулеметные тачанки.

Посреди нашей грохочущей цивилизации надо восстановить тишину. Не простое отсутствие шума, а колыбель внутренней целостности, в которой душа растет, расправляется, разворачивает крылья. Снять социальные и национальные напряжения сможет только вселенский дух, вырастающий в тишине. Эту задачу никак нельзя решить методами скорой помощи. Кризис медленной помощи — это дефицит пространства для роста души. Много разных услуг, а пространства для души все меньше. Сейчас это отчасти сознается, но сознается умом, привыкшим к скорой помощи, и тут же профанируется. Пространство для души тоже становится коммерческой услугой. И массовый туризм разрушает, затапывает, опошляет леса и горы, гадит на памятниках культуры, забрасывает консервными банками берега и тащит транзисторы в развалины монастырей.

Мир спасет красота? Мир спасет любовь? Да, и красота, и любовь, но красота, увиденная глазами Мышкина, как он ни одинок. Но любовь, а не то, что сейчас зовут этим словом. Разница — как между электрическим освещением и зарей. Лампочку включил-выключил, она в наших руках. А заря нас берет в руки и покоряет своему медленному ритму. Так, что становишься скрипкой. Играть Бог и Бог берет в руки смычок. И вот вместо того, чтобы научиться смот-

реть и ждать прикосновения Бога, ставят выключатель, щелк — и зажужжали лампы дневного света.

Тот, кто нашел гармонию в себе, сеет ее повсюду. Но как одинок ищущий! Его гоняет ветер и дождь, его преследуют люди: своими правилами и своим нарушением правил, равнодушием и поверхностным интересом... Чувствительность к тончайшему дыханию бытия, к исчезающему контуру горы в тумане делает созерцателя слабым, хрупким. Его легко ранить — и трудно понять. Даже добросовестному собеседнику — как растолковать, что он за существо? Турист? Но он забирается в сторону от туристских троп и больше сидит, чем ходит. Паломник? Но где его святые места? Верующий? Но во что он верит? Один мой оппонент заметил: «Померанц живет без берегов, а я так не могу. Если я верю в воскресение Христа, то я верю в воскресение Христа, а не во что-то около этого». Как мне объяснить то, что Святой Дух всегда только около слов, около буквы? Что только сердце познает Бога, а слова все лгут. Что мысль изреченная — о Боге — есть ложь (или, говоря мягче, — только слабое и неточное подобие)? И привязываться к этой лжи, как к истине, к метафорам, за которыми непостижимая и не тождественная никакому слову реальность, — значит изменять глубине?

В нашу культуру слишком давно вошла «краткость, прямая», точность формулировок, превосходная в науке и в праве — но нелепая в поисках Бога. Мы ничего не найдем, если не откажемся от гордыни средиземноморского интеллекта с его прямыми линиями пирамид, зикуратов и научных решений. Поиски выхода из тупика, к которому привела прямая — не всегда кратчайшая, — поиски прекрасного меандра невозможны без внимания к Востоку. Думаю, впрочем, что ни у кого не хватит ресурсов решить задачу времени в одиночку, без помощи других. Диалог людей и культур, повернутых к медленной помощи, с людьми и культурами, захваченными скорой помощью, будет длиться вечно, так же как вечно он идет в нутри каждого человеческого сознания. И лучшей мировой формой его была бы коалиция культур, концерт равноправных инструментов. Даже если история пройдет через судорогу всемирной империи, за ней опять всплывут разные культуры; и при любом режиме останется различие людей, повернутых внутрь и обращенных наружу. Никакого окончательного решения — равновесие никогда не может быть совершенным. Вечные перекосы и вечный диалог. Внутренний диалог в каждом из нас и всемирный диалог между великими культурами (между субэкуменами, как я их назвал). И за всем этим — диалог с молчаливым Богом. У Которого нет своих слов — только мы сами и те слова, которые рождаются в нашем сердце. У каждого свои. Когда мы сумеем стихнуть и прислушаться.

Положиться на Бога, положиться на дали,  
 Положиться на то, что ни там и ни тут.  
 Вот на эти просторы, что сердце позвали  
 И что, сколько ни мерь их, растут и растут.  
 Положиться — на что? Ни следов, ни границы.  
 Как вода в решето убегает сквозя.  
 Положиться... Ну да, вот на то положиться,  
 Что само положить и поставить нельзя.  
 Это дальнее зарево, бездна живая.  
 Не поющий, а песнь. Не крыло, а полет.  
 Всё минует, всё мимо. Весь мир убывает,  
 Только нищее сердце растет и растет...

(З. М. Миркина)

1983—1985

Марк Масарский

## ПРАВЫЙ ЦЕНТР?

Подобно Мефистофелю из гетевского «Фауста», демон (он же демиург) российской истории мог бы прибегнуть к следующей самоаттестации: «Я тот, кто творит добро из зла. Потому что его не из чего больше сделать». Молодая российская демократия посттоталитарна. Ее достоинства сконструированы из недостатков предшественника. Ее неустойчивые добродетели непрерывно искушаются. Прежде всего — соблазнами державности. Держать какой груз в состоянии наша новая неокрепшая государственность? От ответа на этот вопрос зависит политическая окраска общества. «Три цвета времени», закрепленные в российском флаге, всего спектра не исчерпывают. Происходящее в нем красное смещение, связанное с «разбеганием галактик» взорванного путчем СССР, увлекает влево «Гражданский союз». Его социал-демократическая, этатистская тенденция проявляется все отчетливее. Обнаруживается явная незаполненность широкой полосы правой части политического спектра. Там место для либералов и консерваторов, минимизирующих экономические функции государства.

Настало время для инвентаризации эволюционных возможностей России. Выбор вариантов ее будущего по-прежнему невелик. Начнем с того, что точку возврата в коммунистическое прошлое мы, слава Богу, миновали. И ныне (в очередной раз) находимся на решающем историческом перекрестке. Обозначим его координаты.

### 1

Принято считать, что в августе 91-го в России свершилась революция. Попробуем уточнить: какая? Политическая? Россия перестала быть советской республикой? Однако Советы с их претензиями на безответственное всевластие по-прежнему составляют ядро российской государственности. Ядро, состоящее из расцепляющихся материалов и потому взрывоопасное.

Может быть, мы пережили социальный переворот? Россия перестала быть социалистической страной? Не по названию, а по сути? Но государственная собственность на средства производства — основа социализма — остается преобладающей.

Возможно, изменился субъект власти? Однако деидеологизированная государственная и хозяйственная номенклатура, слегка потеснившись в пользу демократических выдвиженцев, осталась на своих местах, избавившись от обременительной партийной составляющей. Психологически она выиграла, перестав вздрагивать при слове «обком».

Так что же произошло в августе 91-го? Изменился объект властвования. Резко сократилась сфера прямого государственного управления, экономика стала стремительно превращаться в частное дело миллионов. Система народного хозяйства вошла в режим саморегулирования, началось формирование гражданского общества, его структурирование. Заметно уменьшилась экономическая зависимость населения от государства.

Таким образом, в августе 91-го года революции не было. К счастью. Ибо несчастна та страна, которая нуждается в революциях. Мы вступили в полосу глубинных реформ.

Любая реформированная система эффективнее заново созданной. Социально-политические перевороты не рентабельны, если они отбрасывают экономику хотя бы на пять лет назад. Так писал А. Д. Сахаров. Вспомним, что октябрьский переворот 1917 года отбросил экономику России по ее базовым показателям на уровень XVII—XVIII веков.

Во второй половине XVI века Россия могла пойти по европейскому пути. Был шанс европейской политической модернизации ее общественного уклада. Три основные социально-экономические силы находились тогда в состоянии неустойчивого равновесия: боярство, дворянство и нарождающаяся буржуазия (посад). На колеблющуюся чашу исторических весов была брошена решающая гиря репрессивного государства. Иван Грозный сделал ставку на неконкурентную часть политически активного населения, на дворянство, заинтересованное в крепостном праве. С особым ожесточением опрични́ки — опора репрессивного государства — громили торговые города и боярские вотчины. На века Россия выпала из колеи европейского развития.

Сегодняшняя ситуация во многом напоминает времена Ивана Грозного. Предпринимается четырнадцатая по счету попытка европейзации России. И вновь наблюдается неустойчивое равновесие основных действующих сил. Неконкурентная часть партийно-государственной номенклатуры плюс их челядь — современное «дворянство» — заинтересованы в возврате социалистического крепостничества. Нарождающаяся буржуазия, формирующийся средний класс по определению тяготеют к либеральной экономике. Однако они плохо организованы, ищут союзника и находят его в лице прагматичной части старого гос- и хозаппарата, современного «боярства». Подобно своим историческим предшественникам, эти социальные группы склонны дистанцироваться от государственной кормушки. Конкурентоспособная часть населения против системы кормления, тягла и службы. Потому что она экономически почти не зависима от «государя». У нее есть «вотчины».

Современные «бояре» первыми сумели капитализировать свое положение в верхнем эшелоне политико-экономического истеблишмента. Директорский корпус, например, защищает четвертый вариант приватизации, передающий госсобственность трудовым коллективам с менеджерами во главе. Своеобразное «огораживание», как в постсредневековой Англии. Удержимся от инвектив в адрес «красных баронов промышленности». Вспомним, что не они были опорой тоталитаризма. Рухнувший режим держался на союзе люмпенов и чиновников. И уж если мы упомянули Англию, то нелишне подчеркнуть: именно мятежные бароны в XIII веке ограничили чрезмерные аппетиты королевской власти, вырвав у Иоанна Безземельного Хартию вольностей, заложив тем самым основу всеобщего гражданского «Хабеас корпус».

Как и подобает аристократизирующейся элите, российские «бояре» ревниво относятся к притязаниям государства ограничить их новообретенную политико-экономическую свободу. Либерализм элиты консервативен по своей природе. Он ориентирован на сохранение уже завоеванных позиций. Новый «черный передел», которым грезят и грозят коммунисты, враждебен истеблишменту.

## 2

Две опасные идеологемы глубоко внедрены в массовое сознание: «равенство» и «народ». Инструментом первой срезаются высунувшиеся головы, нивелируется социальный ландшафт, ликвидируется разность личностных потенциалов. Гигантским катком второй вжимаются в землю граждане. Не случайно в большевистской историографической пропаганде народному вождю Стеньке Разину отдавалось явное предпочтение. В ущерб гражданину (то есть мещанину) Минину.

Да и то сказать: в стране, где существовали «бурги» без буржуа, гражданин мог проникнуть в господствующую идеологию лишь в облике малосимпатичного мещанина.

Закон общей теории систем гласит: система является таковой, когда она иерархична, когда есть уровни организации. Не может быть у всех равенства результатов. У каждого участника производства разные функции, разная система обеспечения. Должны быть одинаковыми только стартовые условия социального бытия граждан. Все мы дышим, пользуемся этой землей, имеем право быть защищенными, право на какой-то стандарт потребления. Имеем возможность получить образование, медицинское обслуживание и т. д. Потребности организма у всех примерно одинаковые. Но потом начинается дифференциация. Один ленивый, другой трудолюбивый. Одному нужна скрипка Страдивари, другому рубанок: у него талант к столярному делу. Есть три вида способностей: умение производить операции с образами, предметами, знаками. И каждый проявляет себя в том, к чему у него есть склонность.

Идея равенства — это жесточайшая идея. Есть такая притча. Когда тиран Дионисий захватил власть в Сиракузах, он спросил совета у своего предшественника, тирана Фразибула Милетского, как управлять людьми. Прибывшего от Дионисия гонца Фразибул привел в поле, где росли маки разной величины, и молча стал тростью сбивать самые высокие, давая тем самым понять: если хочешь держать в повиновении людей, уничтожай лучших из них. Этот фразибулизм и исповедовал Сталин.

## 3

Если бы меня попросили обозначить одним словом все, что происходит в нашей стране, я бы употребил историческое слово — «смута». В начале XVII века в России происходило нечто подобное. Был кризис государственности, распад социальных связей, превращение всех в казаков. Казаковали и патриарх, и бояре, и дворяне. Институты публичной власти потеряли свои функции. Власть осуществляли все кому не лень. Она была инструментом групповых интересов. Социальная ткань общества распалась, страна стала фратментарной. Соседи пошли на нее войной, не только на окраины, но и на столицу.

Сейчас многие бросились перечитывать историю того времени, изучать, как вышли из смуты русские люди. И, тоскуя по прошлому, многие наши публицисты, историки говорят, что россияне вышли блестящим образом. Они, дескать, построили могучую империю. Романовы оказались на уровне задач времени. Петр Романов прорубил окно в Европу. Попробуем, однако, с высоты нынешней исторической культуры посмотреть на то, что сделали тогдашние лидеры: Милославские, Нарышкины, Голицыны и Салтыковы. Они воскресли все прежние химеры, продолжив линию, о которой Ключевский писал: «Государство пухло, народ хирел». С необходимостью мы все время обращаемся к проблеме «государство и общество».

Правовое государство соответствует гражданскому обществу. Ни того, ни другого пока у нас нет. Велик соблазн возложить на плечи чиновников задачу разрешения проблем, созданных ими же. Для России это традиционно. Например, перестройку поручили тем, кто в ней не был заинтересован. Но как доверить государственным органам всеобщее разгосударствление? Как доверить чиновникам уничтожение себя как сословия? Мы смотрим на нынешнюю политику правительств и поражаемся: почему некогда они клялись на всех международных перекрестках в своих рыночных намерениях, но теперь душат предпринимательство эффективней, чем это делали Рыжков и Павлов? Почему при Гайдаре субъектов рыночного поведения создано меньше, чем при Рыжкове и Павлове? Почему сейчас предпринимательство фактически агонизирует в России? Международный валютный фонд еще тешится надеждой, что он помогает российскому предпринимательству. Давайте задумаемся, почему демократический президент, демократический премьер, демократические главы областных администраций проводят эту политику? Потому, что у них нет другой социальной базы, кроме чиновничества.

То же было и в начале XVII века. Тогда земство спасло Россию, земское ополчение освободило Москву. А потом земские учреждения были ликвидированы и заменены воеводами, наместниками. То же самое мы видим сейчас: губер-

наторов, заместников, представителей центральной власти. Мы видим правительство, которое сидит на жердочке и не нуждается ни в какой социальной опоре. Государство остается самодовлеющей силой.

Правительство вынуждено отражать экономические интересы чиновников, неконкурентной части населения, пассивных его слоев — детей, стариков, инвалидов. А создающих производственную инфраструктуру предпринимателей всего-то горстка. Нужны небывалая смелость и политический прагматизм, чтобы делать сегодня ставку на национальную буржуазию, чтобы заявить стране с бедным населением, что одновременно всем разбогатеть невозможно. Можно только поочередно. Открыто заявить, что имущественное расслоение не только неизбежно, но желательно, ибо движение капитала начинается лишь при разнице потенциалов. Доминанта социально-экономического поведения национальной буржуазии совпадает с магистральными интересами общественного большинства. В этом ее принципиальное отличие от группового эгоизма буржуазии компрадорской, сфрэнтированной на создание рабочих мест за рубежом посредством вывоза туда созданного в России капитала.

По сравнению с динамичным «частником» любой государственный институт публичной власти как экономический субъект беспомощен. Ему одновременно приходится заниматься вещами взаимоисключающими: производством и распределением по справедливости, правопорядком и подталкиванием политической активности граждан, селекцией здоровых предприятий и сохранением трудозанятости населения.

А предприниматели от таких забот освобождены. Для них превыше всего — экономическая эффективность. И содержат они столько рабочих мест, сколько нужно для производства. Государство же любыми способами эти места сохраняет, чего предприниматели ни при каких обстоятельствах делать не должны. Пожалуй, ныне они единственная социальная группа, которая бестрепетно пойдет на крайние меры рыночного характера.

## 4

Казалось бы, правительство, освободив 2 января 1992 года цены, поступило вполне по-рыночному. Но какая может быть либерализация в условиях монополизма товаропроизводителей? Произошло децентрализованное повышение цен, монополисты, ни с кем не договариваясь, по-прежнему их диктуют. И по-прежнему сохраняется неравенство государственного и предпринимательского секторов. Хотя их равенство — это тоже абсурд. По отношению к новому всегда необходим патернализм, ведь слабые зеленые ростки нуждаются в пестовании.

Именно так первые полгода поступал бывший премьер Рыжков с кооперативами. И в то время рыночный сектор — единственный изо всех! — развивался. А начали его угнетать под флагом выравнивания условий — и государственные монстры, обеспеченные мощными уставными капиталами, основными и оборотными средствами (полученными бесплатно), схарчили слабенькие торгово-закупочные кооперативчики.

Вот почему речь пока должна вестись не о равенстве, а о расширении возможностей состоятельности. Однако вслед за централизованным повышением цен правительство приступило к финансовой стабилизации, показав себя последователем монетаристской концепции. На классический инструментальный макроэкономического регулирования наша экономика отреагировала неадекватно: в ответ на сжатие кредитно-денежной массы госпредприятия изобрели квазиденьги с нулевой ликвидностью — взаимные неплатежи. Не получился и бездефицитный бюджет. Потому что свести без дефицита госбюджет удастся там, где он формируется лишь малой частью совокупного национального дохода. В США это процентов 10, а у нас 90 процентов всего производимого — в руках государства. Обслуживание товарного обращения велось, по сути, не деньгами, а расчетными единицами, цифрами. У денег, как известно, есть несколько функций: учета, стоимостного эквивалента, обращения, платежа. В СССР на первом месте стояла функция учета.

Ежегодно проводился межминистерский зачет, когда цифры из одной карточки переносились в другую.

Но появились новые, сначала негосударственные, а потом государственные субъекты рынка — и, чтобы они могли строить между собой нормальные отношения, возникла необходимость в восстановлении истинной сущности денег. В них появилась нужда. А они нужны в таком объеме, чтобы осуществлялся нормальный оборот. И выяснилось: для обслуживания ценового вала денег в России явно недостаточно. По официальной статистике цены в 1992 году увеличились в 19 раз, а денежная масса только в 8 раз, хотя на самом деле цены, как известно, возросли более чем в 100 раз.

К чему это привело? У альтернативных структур наибольшая доля капиталов находилась в оперативном состоянии, т. е. в виде оборотных средств, а на госпредприятиях — в виде основных. При повышении цен ценовые надбавки съели оборотные средства, сильнее всего ударив по предпринимателям, чье богатство заключалось в товарных запасах, запчастях, в деньгах. И когда правительство проиндексировало оборотные средства — но только госпредприятий! — оно нанесло дополнительный удар по альтернативной экономике.

## 5

Предприниматели не испытывают потребности хождения во власть. Для этого у них нет времени. Да и политика — не их конек. Тем не менее предприниматели вынуждены сегодня заниматься работой сугубо общественного толка по созданию в России нормальной предпринимательской среды — основы перехода к рынку.

Представьте, что мы — поезд, застрявший на перегоне. До ближайшей станции путь известен. Где должно находиться правительство: в прицепном вагоне (среди пассивной части населения) или в локомотиве, с теми, кто способен действовать? Размеры локомотива несоизмеримо меньше всего состава, но тяговая сила заключена в нем одном... Конечно, на очередных выборах последовательные сторонники жесткого экономического либерализма могут пока набрать не очень много голосов. И естественно, популизм является сегодня патентованным средством ловли голосов. Либералы между тем не против социального партнерства, хотя оно отнюдь не самоцель, а инструмент, который служит вовсе не для того, чтобы приносить ему в жертву экономическую эффективность. Социальные программы? Да. Но не следует путать их с социализмом.

Социализм вообще не способ производства, а способ распределения и перераспределения. В принципе он весьма дорогостоящая химера. Социалистические тенденции существовали даже в империи инков, как проявление философии неконкурентной части населения. Иным образом эта часть граждан выбиться из нищеты (кроме как вынудить власти перераспределять национальный продукт в свою пользу) не в состоянии. Такого рода тенденции проявляются и при рыночном способе хозяйствования. Мы называем это социально ориентированной рыночной экономикой, социально ответственной, ведь за социальный мир надо платить. Чтобы железные батальоны пролетариата не помышляли ни о каких штурмах, их нужно удерживать на рабочих местах.

Но компромисс между бездельником и трудягой невозможен. Впрочем, если торговец семечками создаст с банкиром на условиях компромисса компанию, когда один не занимается банковским бизнесом, а другой ни в коем случае не продает семечки, то такой компромисс я принимаю. Но когда экономически активную часть страны, высококвалифицированных работников обязывают содержать неквалифицированную часть населения, тем самым поощряя его к неконкурентному поведению и в дальнейшем, я такой компромисс не приемлю.

Оглянитесь по сторонам! Люди все на улице. Чем-то торгуют, слоняются по магазинам, ходят в кино. И на рабочих местах то же самое — курят, болтают, работают спустя рукава. И при этом требуют повышения зарплаты, за горло берут правительство. А с предпринимателем этот номер не пройдет. Как только коллектив бездельно заартачится, я отвечу: «Ребята, вы меня дожали, я закрываю дел...»

Правительство реформаторов и предприниматели — стратегические союзники, разошедшиеся в тактике. Отчасти по этой причине сохраняется опасность, что предпринимательский сектор уничтожат. Подвижки такие накануне очередного съезда народных депутатов наметились. Однако эта опасность не обязательно актуализируется, поскольку и правительство, и предприниматели заинтересованы в стабильности, в правопорядке. Как организаторы общественного производства предприниматели ищут сотрудничества с любой властью, ведь они — изначально самый мирный класс. Но как только их лишат этой функции, примутся разорять, они перейдут в разряд политически активной и чрезвычайно опасной части граждан. Если заработанные средства нельзя инвестировать в производство, их инвестируют в политику.

Поэтому в интересах правительства было бы не политизировать нас и не вынуждать к выступлению с подобными статьями в печати, а дать возможность заниматься тем, что мы умеем делать гораздо лучше любого правительства. Опасаясь потери капитала, мы неустанно заботимся о его приумножении. И в этой связи хотелось бы пожелать правительству перестать быть лишь авторами диссертаций, а быть прагматиками, когда диалог с предпринимателями на условиях равенства им жизненно необходим.

Правительство в эпоху перемен величина не скалярная, а векторная. А тот фиск, который им учинен, к добру привести не может. Да и не соберут они свой грабительский НДС, если в сферу наличного обращения загнана значительная часть товарно-денежного оборота. При том что наличное обращение оказалось безналоговым. В теневую экономику вытолкнуто то, что должно находиться в сфере нормального производства, в магазинах, а не на лотках. Но самое прискорбное — капитал из России убегают. Вернут его назад только привлекательные условия. Иначе правительство, словно персонажи чеховских пьес, будет все время собираться куда-то в дорогу, но так никогда и не прибудет к месту назначения.

С точки зрения нашего развития августовский путч — отнюдь не последняя конвульсия социализма. У ГКЧП была социальная база, которую они просто не успели задействовать. Путчисты сделали ставку на асоциальные группы. Имелись в виду осколки разрушенных рынком социальных структур, люди с вырванными корнями. Исчезла почва, на которой они произрастали. Перестав плодоносить и засохнув, они превратились в горючий материал. Лишаясь привычной социальной среды и, следовательно, социального самоконтроля, люди теряют свою причастность к общественному целому, отодвигаются на обочину и маргинализируются. От социализма у них остается «уверенность в завтрашнем дне». Маргиналы (в монгольских степях их называли «людьми длинной воли») опасны, потому что их внутренняя энергия разрушения огромна. Они активисты всех революций. Обществу следует опасаться социальной агрессии тех, кто не огражден собственностью, статусом, семейным положением!

В России чрезмерно расширена сфера применения наемного труда. Любой конфликт между работодателем-государством и работником превращается в политический, потому что государство является не только институтом публичной власти, но и субъектом хозяйствования. Его экономическая несостоятельность плодит не столько избыточную рабочую силу, сколько врагов политического режима. Десятки лет умеренно клевавшие с теплой ладони государства рабочие некогда дотируемых госпредприятий представляют сегодня главную надежду «Трудовой России» и «Фронта национального спасения».

Поскольку существует социальная база экстремизма, он будет воспроизводиться. Будут леворадикальные партии, левые коммунисты или еще как-нибудь названные, кто сделает ставку на маргиналов, на люмпенов, на отставленную номенклатуру, на осколки феодального строя.

У нас есть немало людей, интересы которых учитывают некоммунисты. Они подчеркнута ориентируются на экономически пассивную часть населения. А таковая возникает прежде всего в рамках неконкурентного госсектора народного хозяйства, не прошедшего суровой вылучки рынка. При отсутствии устойчивой мо-



тивации к напряженному и высокопроизводительному труду работники все более склоняются к силовому перераспределению. Не научившись умножать, они предпочитают делить. Государству надо как можно скорее уйти из сферы непосредственного хозяйствования, где оно непрерывно плодит своих могильщиков.

Возникает соблазн и у части демократических лидеров разыграть популистскую карту. Уже в парламенте делаются заявления: давайте «повесим» социальные программы на нашего предпринимателя. В числе первых эту идею «озвучил» А. В. Руцкой. И никто не желает понимать, что сами-то предприниматели до сих пор стоят на тоненьких ножках, у них еще не сформировались косточки, они могут искривить свой позвоночник. Не надо нагружать на юный организм непосильные социальные задачи.

Для этого государству надо сбросить чрезмерный груз военных, внешнеполитических, а вернее — внешнеидеологических обязательств, изменить свои приоритеты. Перестать брать на себя непосильную функцию организатора общественного производства и содержать при этом огромный бюрократический аппарат. Все это автоматически сделает альтернативная экономика.

И вот в изложенной недавно («Знамя» № 3, 1993 г.) концепции Г. Явлинского наконец-то открыто объявлено, что ведущей формой собственности должна стать частная. Хотя государственная тоже будет, несомненно, существовать. В ходе приватизации мы должны обременить (!) собственностью десятки миллионов человек. Собственник — это хороший работник и ответственный инвестор. Он не так панически реагирует на пустые прилавки, у него нет синдрома отоваривания тех денег, которые оказались в кармане, он не так подвержен удару инфляции.

## 7.

Бывает рынок без демократии, но не бывает наоборот. И меня очень тревожат сейчас те внутренние, подспудные течения в демократии, которые одним словом можно назвать антирыночными. Демократам тоже хочется управлять, регулировать. Мы же хотим, чтобы в ближайшее время экономика стала частным делом миллионов, а государство было только косвенным регулятором. Рынок вполне справляется с этой задачей.

А теперь вспомните заявление ГКЧП. Предполагалась инвентаризация товарных запасов, то есть, по существу, конфискация, «грабь награбленное». Снижение цен и повышение зарплаты. И это было бы сделано за счет печатного станка. Была попытка еще раз сыграть на противоречиях общества в интересах государства.

Не следует иронически относиться к «комсомольским путчистам» только на основании биографического прошлого Янаева, только потому, что косноязычные коммунистические маршалы, только потому, что так нерешительны они были. Они просто-напросто оказались неготовы к включению в это дело миллионов своих сторонников. А ведь включить миллионы они могут. Особенно когда эти миллионы голодны и дезориентированы. И вот тогда, после того как кровавая свалка будет начата гражданскими лицами, и возникнут объективные причины для чрезвычайного положения.

Политическая пехота большевизма отработывает тактику коротких перебежек. От съезда к съезду. И вот уже маршируют черномундирные отряды Баркашова. Отставленная номенклатура сменила телефон на митинговый мегафон. ФНС засучивает рукава для генеральной разборки.

И самое главное, что в условиях демократии есть всегда возможность конституционного отстранения непопулярного (а непопулярными сейчас будут все экономически оправданные меры) лидера. Бальцерович у нас бы потерпел поражение. А, скажем, тот же Жириновский собрал 6 миллионов голосов. Поэтому при всей демагогии о воссоздании некоего союза борьбы за освобождение рабочего класса они могут наступать кочки под своими ногами.

Почему же два года назад провалился путч, ведь в забастовках и акциях протеста участвовали сотни тысяч, но не миллионы? Но именно эти миллионы оказали пассивное гражданское неповиновение. А самое главное — одна часть го-

сударства тогда нанесла решающий удар по другой части государства. Демократическая его часть, вновь созданная, во главе с Ельциным оказалась магнитом, притягивающим к себе структурированную часть гражданского общества, которой, конечно, было недостаточно, чтобы остановить, например, группу «Альфа», решишь та действовать. Почему путчисты на это не пошли? Потому, что у них была потребность в легитимности, они хотели, чтобы все это было законно. Увидев, что здесь придется идти по трупам, они не захотели, чтобы все эти жертвы повесили им на шею. Но когда эти трупы появятся не по их вине, тогда они наведут порядок.

## 8

В программе правого центра на первом месте стоят интересы личности. Интересы государства — ниже всех. А посередине — интересы гражданского общества. Гражданин — это человек огражденный. Раньше он был защищен стенами городов. Сегодня вместо каменных стен — собственность.

Вообще наше население можно разделить на две неравные части: одни сами создают рабочие места, другие создать их не в состоянии. Значит, должны стать наемными работниками. Они всегда были, есть и будут, во всем мире. С этой точки зрения средний класс — это класс, способный создать рабочее место. Он не будет воровать, разрушать, ему есть что терять.

Мы нашли себя как свободные люди. Свобода не средство, а цель. Поэтому предприниматели сейчас заявляют о себе не как партия, не как лоббистская структура. Но как та часть общества, которая озабочена сохранением устойчивости. В интересах собственного самосохранения. Я боюсь люмпена с «калашниковым» и хочу, чтобы «калашников» был под контролем. Люмпен с «калашниковым» социально очень активен, а экономически пассивен. А средний класс, наиболее многочисленный, наименее политизированный, наиболее мирный. Но и наименее организованный до последнего времени. Почему же на Западе средний класс достаточно сплочен? Его отобилизовали Гитлер и Сталин. Была смертельная опасность коричневого или красного тоталитаризма. Средний класс на Западе создал эффективную систему для защиты демократии, для защиты личности. Это и есть цель правого центра.

---

Анатолий Вишневский

# ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ СВОБОДА В НЕСВОБОДНОМ ОБЩЕСТВЕ

**Х**орошо известные события недавней советской истории были фоном, предпосылкой, а иногда и результатом небывалых демографических перемен. Они затронули целые пласты человеческого бытия, в корне изменили поведение людей в самых интимных областях их существования, их отношение к вопросам жизни, продолжения рода, любви, смерти... В конечном же счете эти перемены, которые можно назвать демографической модернизацией, стали исключительно важной частью всего обновления общества и человека, который долгое время воспринимался как средство прогресса, пока, наконец, не получил шанс стать его целью.

Из всех составляющих демографической модернизации наиболее очевидно, а может быть, и наиболее важно огромное снижение смертности. И дело не просто в том, что люди стали жить дольше. Весь процесс возобновления поколений, а значит, и социального воспроизводства, стал несравненно более экономичным, чем прежде. Теперь можно, ограничив в разумных пределах «прокреацию», то есть создание новой жизни, рождение детей, уделить гораздо больше внимания и ресурсов «рекреации», то есть сохранению и восстановлению здоровья, увеличению продолжительности жизни и, самое главное, ее наполнению. Все это резко расширило возможности выбора каждым своей собственной судьбы, потенциальную свободу каждого.

Но пути человека к свободе и свободы к человеку никогда не были легкими.

## «ХОТЬ СЕГОДНЯ УМРИ...»

*«Если бы он знал, ...что он может жалеть своих детей, умирающих теперь безо всякого внимания сотнями, тысячами..., что ему, мужику, можно заботиться вообще о себе, о своей семье, жене, детях, он бы давно заорал на весь мир... Он думает, что ничего этого ему нельзя...»*

Г. Успенский

В начале века, сильно отстав от западных стран, Россия начала, наконец, втягиваться в так называемую эпидемиологическую (санитарную) революцию, переход к новому типу вымирания поколений, что сулило выигрыш в несколько десятков лет жизни для каждого родившегося. В то время страна все еще не избавилась от эпидемий таких «повальных болезней», как холера, огромное число людей погибало от туберкулеза, желудочных, простудных болезней, то есть от причин, характерных для старого типа смертности, сводивших в могилу миллионы и миллионы тех, кто только начинал жить или находился в расцвете сил. По уровню средней продолжительности жизни передовые страны того времени пре-

восходили Россию не менее чем на 15 лет. «Русская смертность, — писал в 1916 г. известный демограф С. Новосельский, — в общем типична для земледельческих и отсталых в санитарном, культурном и экономическом отношениях стран». Бедность, невежество, нехватка врачей, незнание новых технологий борьбы со смертностью, которые уже получили развитие на Западе, — все эти препятствия модернизации смертности в России тогда уже хорошо осознавались.

Были, однако, препятствия и более глубокие и менее очевидные. В русском обществе было еще очень сильно традиционное пассивное отношение к смерти, борьба же с нею требует неутомимой активности. Такая активность — исторически новое явление. На протяжении столетий реальные силы человека в борьбе со смертью, способность общества защитить его жизнь были невелики, но смерть не воспринималась как неотвратимое поражение в конфликте человека и природы. Она была изъята из ряда физических явлений и включена в ряд явлений социального мира, не побеждена, но, по выражению французского историка Ф. Ариеса, «приручена». «Прирученность» смерти говорила о том, что между человеком и природой возведен надежный барьер и что весь человек — вместе со своей смертью — находится по эту сторону барьера, а неконтролируемая природа — по ту. Такой взгляд на смерть был нужен для завершенности человеческого миропонимания, он помогал людям жить. Но он не способствовал борьбе со смертью.

Европейское развитие изменило соотношение сил человека и смерти, с ней стало можно успешно бороться. Образ «прирученной» смерти превратился в препятствие дальнейшему историческому движению и был постепенно изжит в ходе многовекового спора наступавшей культуры городского, буржуазного общества с крестьянской, сельской культурой средневековья. Мало-помалу смерть утрачивает свою «прирученность» и «готовится возвратиться в дикое состояние» (Ф. Ариес). Но «одичавшая», лишившаяся облагораживающих ее социальных покровов смерть оборачивается врагом, которому можно и нужно противостоять.

В Западной Европе этот поворот произошел намного раньше, чем в России, еще и сто лет назад не спешившей расставаться с образом «прирученной» смерти. Видимо, не случайно здесь появилась странная идея Н. Федорова о воскрешении всех, живших ранее, — утопическая мысль отказывалась признать существование «одичавшей», неконтролируемой смерти. Не случайно и то, что в поисках иллюстрации различия старого и нового отношения к смерти Ф. Ариес обращается к русскому писателю — Л. Толстому. В рассказе «Смерть Ивана Ильича» сталкиваются два принципа в отношении к смерти. Один из них олицетворяется Иваном Ильичом, для которого ожидание смерти наполнено его постоянным отчаянием и ложью окружающих, делающих вид, что они не замечают приближения смерти. Совсем иное, величественно-спокойное отношение к смерти у простого «буфетного мужика» Герасима, который один только «не лгал... понимал, в чем дело, и не считал нужным скрывать этого». По мысли Толстого, суетная ложь окружающих низводит «страшный торжественный акт смерти» до уровня «случайной неприятности», ему явно больше по душе эпическое спокойствие Герасима.

Между тем успешная борьба со смертью скорее всего связана как раз с развенчанием ее приподнятого образа, с более будничным ее восприятием и в то же время с более «беспокойным» ощущением надвигающейся смерти, что и было свойственно Ивану Ильичу и всей той буржуазной среде, к которой он принадлежал, но чего явно не хватало тогдашнему все еще далеко не буржуазному российскому обществу. В целом оно взирало на уход человека в иной мир с невозмутимостью буфетного мужика Герасима.

Эта невозмутимость не была следствием одного лишь невежества. И просвещенные люди, живя в мире «прирученной» смерти, долгое время не видели в ней особого повода для беспокойства, довольно спокойно, например, относились к гибели детей. Вот любопытное свидетельство известного мемуариста А. Болотова (конец XVIII века). Он пишет о смерти своего сына: «Оспа... похитила у нас сего первенца к великому огорчению его матери. Я и сам хотя и пожертвовал ему несколькими каплями слез, однако перенес сей случай с нарочитым твердодушием: философия моя помогла мне в том, а надежда иметь вскоре

опять удовольствие видеть у себя детей, ибо жена моя была опять беременна, помогла нам через короткое время и забыть сие несчастье, буде сие несчастьем назвать можно».

Ко второй половине XIX века взгляды просвещенной части русского общества, возможно, уже несколько изменились, хотя, видимо, ненамного. О крестьянах же и этого сказать нельзя. Приведем типичное высказывание, относящееся к концу XIX века: «Воля Божья. Господь не без милости — моего одного прибрал, — все же легче... Это вы, господа, прандуете детьми; у нас не так: живут — ладно, нет — Бог с ними... Теперь, как Бог его прибрал, вольнее мне стало» (А. Энгельгардт. «Из деревни»). А вот фольклорное свидетельство — колыбельная песня: «Бай, бай да моли! Хоть сегодня умри. Завтра мороз, снегут на погост, мы поплачем, повоем, — в землю зароем».

Во взглядах на смерть детей и возможности борьбы с нею хорошо отражается общее отношение людей к смерти. В старой России оно было проникнуто пассивным смирением перед нею, неверием в возможность ей противоборствовать. Обобщая свои наблюдения жизни русской деревни в известной концепции «власти земли», «ржаного поля», предписывающего все нормы поведения крестьянина, Г. Успенский писал: «Ржаное поле имеет дело только с живым и сильным, а до мертвого, до слабого, до погибающего ему нет дела...». Крестьянин привык выполнять приказания «ржаного поля и привык погибать, также исполняя с точностью свою погибель, раз она этим ржаным полем ему предудказана».

Впрочем, сами слова Успенского — свидетельство того, что в конце прошлого века, когда стали видны реальные возможности борьбы со смертью, пассивность большинства населения России в этой борьбе с болью воспринималась образованными людьми. В культуре начинает складываться новая парадигма «витального поведения», вырабатывается его идеальный образ. Герой рассказа Чехова «Попрыгунья» доктор Дымов погибает от того, что у мальчика высасывал через трубочку дифтеритные пленки. Гибель человека, ценою собственной жизни спасающего чужую, рассматривается здесь как пример высокого служения, как героизм.

Для тогдашней России это не просто новый взгляд на отношение человека к смерти. Он откровенно полемичен, оппозиционен установкам традиционной культуры, видевшей нечто не вполне нравственное в борьбе со смертью. У этих установок великие защитники. Вот мысль, которую вложил в уста своего персонажа Л. Толстой. Позднышев, герой «Крейцеровой сонаты», осуждает свою жену за беспокойство о здоровье детей: «...Если бы она была совсем животное, она бы так не мучалась; если бы она была совсем человек, то у нее была бы вера в Бога и она бы говорила и думала, как говорят верующие бабы: «Бог дал, Бог и взял, от Бога не уйдешь». Она бы думала, что жизнь и смерть как всех людей, так и ее детей вне власти людей, а во власти Бога, и тогда бы она не мучалась тем, что в ее власти было предотвратить болезнь и смерть детей, а она этого не сделала».

Отношение Толстого к смерти, вероятно, складывалось не без влияния привычного для общинной России неодобрительного отношения к автономной индивидуальной активности. Но оно имело и иные очень серьезные основания. Толстой с необыкновенной ясностью видел приближающееся крушение целого мира и понимал его страшные последствия. Да, можно бросить вызов Богу, отвоевать у него несколько жизней. Но не придется ли заплатить больше за нарушение извечного божественного порядка? Отобрав у Бога право распоряжаться человеческой жизнью, не присвоит ли люди это право себе, не откроют ли они тем самым путь вакханалии насилия? Толстого, как и Достоевского, мучит предчувствие — увы, пророческое, — «вседозволенности» в обезбоженном мире.

Кто, однако, может проникнуть в замысел Бога, кому дано отличить его от дьявольского? Божье ли предначертание, дьявольская ли ловушка, но снижение смертности оказалось слишком большим соблазном для смертных. Разумеется, всякий прогресс имеет оборотную сторону, за все приходится платить. Но, вступив на путь рационализации демографического воспроизводства, человечество сделало свой выбор, и теперь оно вряд ли от него откажется.

## ПОХОД ПРОТИВ СМЕРТИ...

*Если до революции смертность в России была вдвое выше, чем в США и Англии, и почти в два раза выше, чем во Франции, то сейчас в СССР она ниже, чем в США, Англии и Франции. Достижения Советского Союза в области здоровья и долголетия населения говорят сами за себя.*

А. Микоян, 1954 г.

Микоян пользовался негодными показателями. На деле смертность в СССР никогда не была ниже, чем в большинстве развитых стран, отставание от Запада не было преодолено. Тем не менее советское общество сделало тот же выбор, что и Запад, и уверенно двинулось по пути эпидемиологического перехода. Еще в середине Двадцатых годов структура причин смерти населения СССР была крайне неблагоприятной, формировалась под решающим воздействием экзогенных, внешних факторов и предопределяла высокую смертность в детских и молодых возрастах. Типичная «допереходная» структура причин смерти имела следствием весьма низкую для того времени продолжительность жизни (44 года в 1926 г.).

Затем наступил перелом, и всего за три-четыре десятилетия тип патологии и структура причин смерти коренным образом изменились. Причиной преобладающего числа смертей стали хронические недуги, прежде всего болезни сердечно-сосудистой системы либо онкологические заболевания, свойственные чаще всего людям старших возрастов. Соответственно к старшим возрастам сдвинулась и смертность, вследствие чего резко увеличилась продолжительность жизни. Уже к концу 50-х годов она достигла, по официальным данным, 69 лет. Даже если считать эту оценку завышенной из-за значительного недоучета смертей в некоторых районах СССР, огромное снижение смертности за полвека отрицать нельзя.

Нельзя отрицать, стало быть, и борьбы за сохранение жизни и здоровья людей, без которой добиться такого результата было бы невозможно. Нельзя отрицать ни общего улучшения условий жизни, ни социально-экономического и медицинского патронажа по отношению к наиболее уязвимым группам населения: детям, матерям, хроническим больным и т. д., ни борьбы с инфекционными заболеваниями путем улучшения санитарных условий, повышения гигиенической культуры, массовой вакцинации населения, ни резкого увеличения числа врачей и среднего медицинского персонала, строительства больниц и т. д. Все эти меры оказались весьма эффективными, принесли впечатляющие результаты, в полном смысле слова заставили отступить болезни и смерть.

Однако реальные успехи, увиденные сквозь пропагандистскую призму официальной идеологии, воспринимались с явным преувеличением. На деле они были намного более скромными — по тем же причинам, по каким намного скромнее, чем казалось поначалу, были наши достижения в области экономики.

Почти все достигнутые успехи строились на заимствовании западных технологических подходов (которые могли какое-то время даже успешно развиваться в СССР), но без «социокультурного бульона», обеспечивавшего постоянное обновление и совершенствование стратегии борьбы со смертью. Конечно, сама мобилизация сил на эту борьбу не могла пройти без следа, социокультурный фон тоже не оставался неизменным. Идеология и психология пассивного ожидания смерти были основательно подорваны. Но изменения оказались ограниченными, непоследовательными, недостаточными.

Противоречия вообще свойственны модернизации. Советской модернизации они были свойственны вдвойне и втройне. Но когда речь идет о модернизации смертности в СССР, они просто кричащи, абсурдны. Годы энергичной и довольно успешной борьбы против смерти чудовищным образом совпали с годами жесточайшей, преступной борьбы против жизни.

## ...И ВОЙНА ПРОТИВ ЖИЗНИ

*Где тот спецхран, куда бы нам проникнуть и вычитать цифры? Их нет. Их и не будет.*

А. Солженицын

XX век стал для советского общества веком тяжелых демографических потерь, вызванных двумя мировыми и гражданской войнами, социальными потрясениями 20-х — 30-х годов. Резкие подъемы смертности имели три главные причины.

Первая — войны. Военные потери были огромны, и не только потому, что войны вообще были кровопролитными. Дело еще и в том, что сочетание революционного энтузиазма (или фанатизма?) с остротой и масштабом военных противостоятелей Гражданской или Отечественной войн породило пренебрежение жизнью, которое уже не вписывалось в менявшееся мировоззрение XX века.

Никто не считался с фронтовыми потерями, числом жизней, положенных на выполнение боевой задачи. Могло не хватать винтовок, патронов, танков, обмундирования, но солдаты, казалось, всегда были, этот ресурс можно было расходовать, не экономя. Великая Отечественная война 1941—1945 годов была действительно войной великого народного подвига. Но можно ли забывать об огромной цене, заплаченной за победу? По оценкам Максудова, Советский Союз потерял солдат и офицеров в 30 раз больше, чем Англия или США, больше, чем Германия, Австрия, Италия, Финляндия, Венгрия, Румыния, Япония, Великобритания, США, Франция, вместе взятые; больше, чем Россия, Франция, Великобритания, Германия и Австро-Венгрия в Первой мировой войне.

Второй источник потерь — политические репрессии. Здесь тоже счет идет на миллионы. Как замечает Максудов, сколь ни огромны потери, непосредственно связанные с Отечественной войной, «сверх 7,5 млн. бойцов и 6—8 млн. мирных граждан остаются еще потери в 9—11 млн., приходящиеся на те же годы, но не связанные прямо с фашистским нападением. Это потери от сталинских репрессий». Количественные оценки Максудова могут быть оспорены. Но нельзя оспорить того, что на войну списывается значительная часть потерь от репрессий, в том числе, видимо, и довоенных. Возможно, что именно репрессии на протяжении нескольких послереволюционных десятилетий поглотили в СССР больше жертв, чем самые кровопролитные войны.

Наконец, третьим главным источником потерь стал голод, особенно организованный искусственно голод 1932—1933 годов. За один лишь голодный 1933 год число умерших выросло, по сравнению с тоже не очень благополучным 1932 годом, в 2,4 раза, или на 6,7 миллиона человек.

Ну а общая величина людских потерь бывшего СССР в социальных катастрофах XX века? Точной статистики потерь нет, и до сих пор судить о них можно лишь приблизительно, что порождает большие различия в оценках.

Вероятно, самая высокая из них была опубликована в 1964 г. в американской эмигрантской газете «Новое русское слово», в статье бывшего советского профессора И. Курганова «Три цифры». Автор ее утверждал, что общие потери населения СССР за 42 года — с 1917 по 1959 — составили 110,7 миллиона человек (первая цифра), в том числе людские потери, связанные со Второй мировой войной, — 44 миллиона (вторая цифра) и потери в «невоенно-революционное время» — 66,7 миллиона человек (третья цифра).

Эта оценка получила довольно широкую известность, на нее ссылались, например, такие авторы, как Питирим Сорокин и Солженицын, но в специальной литературе была показана ее несостоятельность. По существу, «первая цифра» — оценка, к тому же неверная, не потеря, а лишь нереализованного демографического потенциала. За ней — не только повышение смертности, но и снижение рождаемости, в том числе и закономерное, естественное для XX века.

Лучше соответствуют представлению о потерях как результате только повышенной смертности оценки Максудова: примерно 10 миллионов преждевременно

умерших, в основном в результате гражданской войны и голода 1921 г. за 1918—1926 годы; 7,5 миллиона (по более поздней его оценке— 9,8) погибших от голода и репрессий за 1926—1938; 22,5—26,5 миллиона за 1939—1953 годы. Всего получается не менее 40 миллионов жертв. «Почти половина мужчин и каждая четвертая женщина умерли за эти годы не своей смертью. А если взять только напряженные годы (1918—1922 и 1932—1940), 29 млн. мужчин погибло и лишь 20 млн. умерло в своей постели; 11 из 33 млн. женщин не прожили отпущенного им срока. Даже если принять минимальную цифру потерь, то и в этом случае они составят более трети умерших за эти годы».

Имеется и более поздняя оценка, выполненная в НИИ статистики Госкомстата России, но она не слишком отличается от оценки Максудова: 7 миллионов человек с 1927 по 1941 год и 26 миллионов с 1941 по 1945 год.

Изучены, конечно, еще не все архивы, размеры потерь, вероятно, будут уточняться. Но уже ясно: никакие уточнения не могут изменить общей картины: за 40 лет, с начала Первой мировой войны до конца Второй, в России (СССР) погибло, не дождавшись естественной смерти, 40, а то и 50 миллионов человек.

## НЕЗАВЕРШЕННЫЙ ПЕРЕХОД

*Сознание, что здоровье есть общественное благо, подлежащее защите общества или государства, явилось прежде, чем каждый член общества из развитого чувства самосохранения научился ценить здоровье для себя лично.*

Г. Хлопич. Публичная лекция 1897 г.

Может показаться, что борьба против смерти и борьба против жизни велись в разных, разделенных непроницаемой перегородкой мирах. Это, конечно, не так. Миазмы мрачного гулаговского Аида, скрываемого от постороннего взгляда, проникали и на освещенную сторону советского мира и там перемешивались с фимиамом героизированной смерти во имя будущего. Общество, постоянно дышавшее столь странной смесью, оказалось неспособным к серьезной перестройке системы ценностей в том, что касалось здоровья и жизни человека. Невысокая цена того и другого воздействовала на всю систему общественных приоритетов, облегчала привилегированное положение военно-промышленного комплекса, сдерживала активность защитников экологического благополучия, пагубно отражалась на индивидуальном жизнеохранительном поведении людей.

Поначалу все это не было очевидным. Эпидемиологический переход в СССР разворачивался довольно быстро — за счет общих изменений в образе жизни людей, роста их образованности, а также за счет проведения относительно дешевых, но крупномасштабных санитарно-гигиенических мероприятий по оздоровлению городской среды, массовой вакцинации населения и пр. Несмотря на мощное противодействие войн, репрессий, голода, смертность в СССР снижалась, хотя отставание от западных стран все же долгое время не сокращалось. Лишь к концу 50-х годов СССР вошел, наконец, в «клуб» стран с низкой смертностью. К середине 60-х годов (правда, по официальным, видимо, завышенным оценкам) продолжительность жизни выросла в СССР до 66 лет у мужчин и 74 лет у женщин, в России соответственно — до 65 и 73. В ту пору среди 35 стран с самой высокой продолжительностью жизни (65 лет и более) СССР занимал 22 место, опережая даже Австрию, Бельгию, Финляндию, Японию.

Успехи в борьбе со смертью во многих странах, в том числе и в СССР, в середине XX века были достигнуты благодаря определенной стратегии борьбы за здоровье и жизнь человека, в известном смысле патерналистской, основанной на массовых профилактических мероприятиях, которые не требовали большой активности со стороны каждого. Однако к середине 60-х годов возможности этой стратегии в богатых и развитых странах оказались исчерпанными. Они вступи-



ли в стадию «второй эпидемиологической революции», выработали новую стратегию действий. Как писал американский исследователь Милтон Ромер, «примерно с 1960—1965 гг. большое значение в системе охраны здоровья в развитых странах приобрел новый тип профилактики. Речь идет о поощрении жизненных привычек, которые способствуют уменьшению риска нарушений здоровья неинфекционного происхождения, особенно сердечно-сосудистых заболеваний и рака. Щадящий режим питания, достаточный сон и физические упражнения, отказ от курения и умеренность в потреблении алкоголя — эти «здоровые привычки» могут и должны повлечь за собой удлинение продолжительности жизни». Так и произошло. Снижение смертности и рост продолжительности жизни в западных странах во многом превзошли ожидания начала 60-х годов.

В СССР же ответ на новые требования времени не был найден, страна стала пробуксовывать в наезженной колее, и ее снова обогнали по уровню средней продолжительности жизни не только передовые, но и такие западные страны, как Ирландия, Португалия и Финляндия, ранее отстававшие от России или бывшие с ней примерно на одном уровне. Япония же вообще вышла по этому показателю практически на первое место в мире. К началу 80-х годов в число 40 стран с самой низкой смертностью (средняя продолжительность жизни 70 лет и более) вошли Тайвань, Сингапур, Югославия, Коста-Рика, Кувейт, но СССР уже не был членом этого «клуба».

Восьмидесятые годы лишь подтвердили, что модернизация смертности в СССР, пройдя период несомненных успехов, натолкнулась на трудно преодолимые препятствия и застряла где-то на этапе «первой эпидемиологической революции». В этом можно винить недостаток средств, ухудшение экологической обстановки, можно найти множество других конкретных объяснений. Однако все это будут не причины, а лишь следствия какой-то более общей, коренной причины. Дело, видимо, в том, что переход ко «второй эпидемиологической революции» несовместим с сохраняющимися рудиментами старой системы ценностей и со всеобъемлющим патернализмом «социалистического» здравоохранения. Новая стратегия борьбы со смертью требует, чтобы на смену пассивному принятию проводимых органами здравоохранения мер пришла индивидуальная активность граждан, направленная на оздоровление среды обитания, образа жизни, заботу о своем здоровье, искоренение вредных и внедрение полезных привычек.

Советское общество не создало и не могло создать пригодных для проведения такой стратегии механизмов. Как ни гордилось оно своим бесплатным здравоохранением и как ни велики действительные заслуги этого здравоохранения, в конце концов именно бесплатность и нерыночность медицины, равно как и уравнилельно-патерналистский характер социального обеспечения превратились в главное препятствие индивидуальной активности человека в борьбе за сохранение или восстановление здоровья, за продление жизни, за здоровье и жизнь детей.

В советском здравоохранении господствовала та же схема централизованного распределения, что и в других областях жизни. Никто не знал, сколько денег изымается у него на нужды здравоохранения и сколько действительно тратится на эти нужды, и уж, конечно, не мог влиять на расходование средств. Каждый был прикреплен к определенной поликлинике и определенному врачу, не имел никакого выбора, активность же без свободы выбора бессмысленна. Но так как активность людей в борьбе за свои здоровье и жизнь есть функция исторического развития, а в этом развитии у нас было много общего с тем, что происходило во всем мире, то, по законам конвергенции, такая активность нарастала и в СССР. Это порождало теневую медицину, которая знала и выбор, и имущественную дифференциацию, и все остальное, что так осуждалось советской идеологией, когда речь шла о капитализме. Теневой рынок медицинских услуг был частью всего ублюдочного теневого рынка, которым жизнь отвечала на утопию централизованного планирования.

Такой рынок выгоден только для избранных, привилегированных социальных групп — за счет всех остальных. Он не в состоянии изменить ситуацию на всем поле охраны народного здоровья, по существу, превращает государствен-

ную медицину в медицину для бедных, навязывает двойную систему ценностей: для элиты и для «простого народа». А так как «простой народ» — это большинство населения, то его вынужденная пассивность в деле борьбы за свое здоровье и свою жизнь пока так и не позволила перейти к давно назревшему этапу «второй эпидемиологической революции» и продолжить перестройку определяющей уровень общественного здоровья структуры медицинской патологии и причин смерти. Модернизация всего процесса вымирания поколений остается незавершенной. Высокая смертность и низкая продолжительность жизни, о которых столько говорят и пишут, — лишь неизбежное следствие этой незавершенности.

## РОЖДАЕМОСТЬ ПАДАЕТ...

*В противоположность тенденции падения рождаемости в капиталистическом мире в СССР существует высокий уровень рождаемости, который... обеспечивает быстрый рост населения... Высокая рождаемость в СССР является следствием непрерывного роста благосостояния трудящихся, заботы Коммунистической партии и Советского государства о здоровье населения, отсутствия безработицы.*

Большая Советская Энциклопедия  
(1955), статья «Рождаемость»

Вторая сторона демографической модернизации — снижение рождаемости. Мы долго гордились тем, что рождаемость у нас выше, чем у других.

Восторг БСЭ легко списать на счет избыточного оптимизма официальной пропаганды. Но вот мнение знаменитого социолога Питирима Сорокина (60-е годы), высланного из России вскоре после революции. Его никак не заподозришь в близости к советским идеологическим структурам: «Хотя Советский Союз потерял от 50 до 75 миллионов человек во время гражданской войны, революции и в двух мировых войнах..., население Советского Союза удивительным образом пережило эти демографические катастрофы и занимает в настоящее время третье место среди населения всех стран... Такое почти чудесное восстановление после катастрофических потерь населения происходило несколько раз в истории русской нации. Это иллюстрация к тому, что я определяю как «огромную жизнеспособность» и «упорство» данной нации. Эти черты подтверждаются также существенным падением смертности... даже ниже, чем аналогичные показатели в западных странах..., а уровень рождаемости... опережает уровень рождаемости во всех западных странах, за исключением Канады, Израиля, а также Польши».

Как видим, Питирим Сорокин в своих демографических суждениях в части смертности недалеко ушел от А. Микояна, а в части рождаемости — от Большой Советской Энциклопедии. Высокая рождаемость — хорошо, низкая — плохо.

Между тем в России давно уже поняли, что высокая рождаемость — отнюдь не признак какого-то особого благоденствия, тем более социального прогресса. П. Миллюков, например, считал ее «экономической причиной — низкий уровень благосостояния и социальной — обособленность низшего общественного строя и отсутствие надежды подняться выше своего положения». А демограф к тому же не может не понимать, что высокая рождаемость — дань, которую человечество на протяжении всей своей истории платило высокой смертности, она тяжелым бременем лежала на женщине, на семье, на всем обществе. Когда же смертность начала снижаться, появилась возможность уменьшить дань рождаемостью, и люди не преминули этим воспользоваться. Снижение рождаемости стало одной из главных составляющих модернизации общества в XIX—XX веках, сохранение высокой рождаемости — ее серьезной помехой.

Как и везде, в России снижение рождаемости поначалу отставало от снижения смертности. На это указывает ускорившийся рост населения, которому мно-

гие историки придают очень большое, иногда, может быть, даже чрезмерное значение. Р. Пайпс, например, считает «демографический взрыв» «наиболее сокрушительным» из всех потрясений, приведших Россию к революции. Так или иначе, но темпы роста населения Европейской России, несмотря на то, что она отдавала некоторую его часть в ходе колонизации окраин империи и сельскохозяйственных переселений, по сравнению с первой половиной XIX века (0,6 процента в год в 1811—1851 гг.), выросли вначале вдвое (1,1—1,3 процента в 1851—1897 гг.), а к концу века — началу следующего — втрое (1,7 процента в 1897—1913 гг.).

Увеличение темпов роста населения — свидетельство серьезных изменений в вековом механизме поддержания демографического равновесия. Применительно к русской деревне этот механизм ярко описан Г. Успенским: «Было, положим, при наделе сто душ,— и земли на сто душ хватало; теперь на этой же земле должна жить тысяча душ... Дело идет так, как велят обстоятельства. «Горлушком» перемерло человек двести детей — вот уже и ближе к равновесию. Ушел Иван Кузьмин, потому у него лошадь пала в прошлом году, а в нынешнем жена померла... сдал землю, пустил ребят по миру, сам ушел, и вот опять ближе к равновесию — земли прибавилось. Три двора начисто распянствовались, все пораспродали, землю сдали, разбрелись в работники. Иван Миронов... помер у кабака, жена ушла к купцу в работницы, землю сдала; пришла «восна» — поровняла еще души с количеством земли... Глядишь, на той же земле, которой хватало только на сто душ, опять живут не тысяча уже, а именно только сто, и живут исправно».

Ускорение роста населения означает, что в описанном механизме появились сбои, которые могли быть вызваны только снижением смертности. Само по себе такое снижение — благо, оно расширяет демографическую свободу. Но общество и его институты должны суметь ею воспользоваться, в противном случае нарушение демографического равновесия может оказать губительное воздействие.

Это относится и к традиционной семье, которая хорошо приспособлена к осуществлению демографической свободы, но нуждается в коренной перестройке.

Идеал многодетности безупречен, когда он — именно идеал, реальная же многодетность — редкость. Многие стремятся к этому идеалу, но из-за высокой смертности лишь немногие его достигают. Когда же смертность понижается, идеал вступает в противоречие с жизнью и начинает обесцениваться. Выживание большого числа детей из числа рожденных создает немалые проблемы, прежде всего, конечно, экономические. Сейчас почему-то считается, что экономические тяготы семьи, связанные с воспитанием детей, в прошлом были несравнимо меньшими, чем в наши дни. Конечно, на воспитание тратилось меньше средств, но ведь и возможности были иными. Крестьянам их расходы на детей не казались ничтожными, тому есть множество свидетельств — литературных, фольклорных и т. п. В конце XIX — начале XX века экономические тяготы многодетности осознавались уже весьма отчетливо. «Жизнь крестьянская, — отмечал один из исследователей, — с каждым годом становится дороже, а скудная земля не удовлетворяет этого. «Хорошо иметь детей, — говорят крестьяне, — если их один, двое или, самое большее, трое. Больше этого они становятся родителям в тягость». Дальнейшая плодовитость супругов-крестьян — Божье наказание. Чем больше в семьях детей, тем больше бедности, недостатка и голода».

Постепенно приходило осознание и других, неэкономических негативных сторон высокой рождаемости, в частности ее влияния на здоровье женщины. Авторы XIX века постоянно указывали на повсеместное распространение женских болезней как следствие раннего начала половой жизни и деторождения, частых родов, несоблюдения простейших гигиенических требований во время беременности и родов. За рождение большого числа детей женщины платили дорогую цену, и это не могло не оставлять следа в народном сознании.

Пока сохранялась объективная демографическая несвобода, критика темных сторон высокой рождаемости могла звучать лишь очень приглушенно. Тем не менее она нарастала, высокая рождаемость все чаще воспринималась как демографическая архаика, в обществе назревала готовность расстаться с нею.

Это и произошло в 30—50-е годы нашего столетия, причем снижению

рождаемости в СССР были свойственны те же черты и противоречия, что и другим модернизационным процессам, и здесь конвергентное с Западом развитие сочеталось с дивергентным.

Конвергенция проявлялась прежде всего в самом снижении рождаемости, которое шло чрезвычайно быстро. Всего столетие назад ее уровень в России был одним из самых высоких в мировой истории, намного, иногда более чем вдвое превосходил западный. К началу XX века и у нас появились первые признаки снижения рождаемости, но они были едва заметны. Революция, Первая мировая и Гражданская войны не могли, разумеется, не понизить рождаемость, но к середине 20-х годов восстановился ее очень высокий довоенный уровень. И лишь начиная с конца 20-х годов началось его стремительное падение.

Понадобилось всего три-четыре десятилетия, чтобы пробежать путь, который на Западе занял столетия. К концу 50-х годов Россия и другие европейские республики СССР по уровню рождаемости не отделились от западных стран. Сто женщин из поколений, родившихся в России в последнем пятилетии XIX века, давали жизнь 408 детям, тогда как их французские сверстницы — 210, шведские — 194, американские — 253. Различия, как видим, очень большие. Но уже для поколений, родившихся в 20-е годы, они практически исчезают. Число детей на сто замужних женщин из поколений, родившихся в середине 20-х годов, по некоторым оценкам, составило в России 227, на Украине — 202, в Белоруссии — 240 и т. д. Если же мы обратимся к поколениям женщин, родившихся около 1940 г., мы увидим, что рождаемость в европейских республиках СССР во многих случаях опустилась ниже западных отметок. В России — 189 рождений на сто женщин, на Украине — 183, в Белоруссии — 195, тогда как в Англии — 238, во Франции — 247, в Германии (ФРГ) — 197, в США (белое население) — 268.

Таким образом, с чисто количественной точки зрения задача приведения уровня рождаемости в соответствие с новыми условиями демографического равновесия была решена очень быстро, общество сразу же воспользовалось плодами демографической свободы, резко расширившейся в результате снижения смертности. Однако у снижения рождаемости была и другая, качественная сторона. Важно, как, какими средствами достигалось это снижение.

## НЕОМАЛЬТУЗИАНСТВО ПО-СОВЕТСКИ

*В последнее время предложены были... средства для противодействия развитию народонаселения... Некоторые из них до невероятности нелепы как, например, предложение употреблять при удовлетворении чувственных наклонностей известное средство, предупреждающее рождение детей... Другие средства не столь возмутительны, но также чрезвычайно странны...*

В. Милютин (журнал «Современник», 1847 г.)

Низкая рождаемость, ставшая фактом российской действительности, означает, помимо всего прочего, что планирование семьи у нас, как и во многих других странах, сделалось повседневной практикой миллионов. Но советское общество и здесь оказалось неспособным ответить на вызов времени. Планирование семьи не получило должной институциональной, материальной и правовой поддержки и развивалось стихийно, сбиваясь поневоле на самый неэффективный, примитивный путь. Это было одним из следствий догоняющего развития, при котором общество перепрыгивает через целые этапы, пройденные предшественниками, не имея накопленного ими опыта. Умеренное снижение рождаемости в

Западной Европе началось давно, не позднее XVI века. Для этого здесь — задолго до Мальтуса — использовался «мальтузианский» способ откладывания браков, а то и полного отказа от них. Россия же отличалась ранней и всеобщей брачностью, что и было одной из главных предпосылок чрезвычайно высокой рождаемости.

В конце прошлого века могло казаться, что Россия стоит на развилке двух возможных путей развития:

Первый путь — дивергентный с Западом. Западноевропейский путь уникален. Россия никогда не пойдет по нему. У нее свои традиции; тип крестьянского хозяйства требует здесь большого числа рабочих рук; в отличие от Западной Европы Россия располагает немерянными просторами и т. п. Рождаемость здесь останется высокой.

Второй путь — конвергентный. Западноевропейский путь универсален. Россия повторит его, хотя и с опозданием, ей тоже придется воспользоваться если не советом Мальтуса, то просто опытом своих западноевропейских соседей и встать на путь откладывания браков, а значит, и снижения рождаемости.

На деле же реализовался третий путь, который еще сто лет назад трудно было предвидеть. В конце XIX века вместе с активным расширением контроля над смертностью появилась объективная возможность снизить рождаемость в большей мере, чем это позволяла «мальтузианская» стратегия, и западные населения постепенно стали осваивать иную, «неомальтузианскую» стратегию сокращения рождаемости путем ее ограничения в браке, отказываясь при этом от традиционной для них поздней брачности.

По этому же пути пошла и Россия (а затем и СССР), так что сближение демографического поведения достигалось за счет движения с двух сторон: Запад приближался к России по типу брачности, Россия же все более осваивала неомальтузианскую практику, которая почти в одинаковой степени была нова как для России, так и для Запада.

Однако Россия не имела опыта, накопленного на Западе. Выбрать «мальтузианский» вариант страна уже опоздала, возможности двигаться медленно и постепенно в СССР не было, а путь, который должны были проделать показатели рождаемости, переходя от высокого уровня к низкому, был едва ли не вдвое большим, чем на Западе. Требовались, стало быть, более значительные и более быстрые перемены в демографическом поведении. Их мог обеспечить только неомальтузианский выбор.

Но даже на Западе (за исключением Франции) неомальтузианская пропаганда не сразу нашла для себя подготовленную почву. На признание обществом свободы прокреативного выбора супругов ушел чуть ли не весь XIX век. Что же говорить о России?

Еще и в начале нашего столетия те же авторы, которые показывали, как тяготилась крестьянка большим числом детей, подчеркивали, что, «как бы ни была обременена женщина детьми, она никогда не решится употребить средство против родов. Это считается незамолимым грехом».

Разумеется, в русском, как и в любом другом, обществе издавна существовала практика избавления от нежеланных детей, но господствующая культура, церковь, закон постоянно вели против нее борьбу, загоняя в подполье. Свидетельства этой борьбы, а соответственно и указания на разные виды запретного поведения имеются уже в древнерусских памятниках XI—XII веков.

Если мы шагнем из XII века в XIX, мы, пожалуй, не обнаружим существенных изменений. Сохраняются та же бытовая практика избегания рождений в различных ситуациях и та же запретность этой практики, сводящая ее к минимуму. Об этом говорят, в частности, крайне несовершенные, малоэффективные методы предотвращения зачатия или плодоизгнания. Вот, например, любопытное свидетельство Ф. Гиляровского, новгородского священника, хорошо знавшего крестьянский быт. Женщины, пишет он, добивались уменьшения числа рождений, намеренно увеличивая срок кормления грудью «далее пределов законных». «Матери продолжают кормить грудью ребенка до четырех и до пяти лет и кормят чужого, иногда и беззубых щенят... Там же, где мужья уходят на заработ-

ки на год и более, матери намеренно кормят детей до тех пор, пока муж остается дома, и отнимают их, как только он уходит».

Даже простые методы избегания рождений были плохо знакомы не только крестьянам, но и людям из просвещенных слоев русского общества. С каким изумлением женщина из высшего круга, мать многих детей Долли Облонская у Л. Толстого узнает из разговора с Анной Карениной, что есть способы не иметь детей, если не хочешь! Да и Анна Каренина сама лишь недавно узнала об этом от врача. Но Долли Облонская не просто удивлена, затронута ее нравственное чувство. «— N'est ce pas immoral?» — спрашивает она. И в конце концов сама дает себе ответ: «Нет, я не знаю, это не хорошо», — только сказала она с выражением гадливости на лице».

Новые, «неомальтузианские» веяния долго не находили понимания в России. Ближе к концу века Л. Толстой писал: «С помощью науки на моей памяти сделалось то, что среди богатых классов явились десятки способов уничтожения плода... Зло уже далеко распространилось..., и скоро оно охватит всех женщин богатых классов». Но «зло» все больше проникало в жизнь и крестьянского, а тем более городского населения, неизменно вызывая бурный протест ревнителей традиционных отношений и норм.

Вот филиппика, которую Г. Успенский (сам весьма трезво смотревший на новые явления в жизни российской деревни) вложил в уста своего персонажа, народнически идеализировавшего крестьянскую жизнь. «И об чем хлопочут! Не стеснять инстинкт, а чтобы детей не было... Ведь на это последний мужик плюнет, такая это ахинея и подлость...»

А вот пример реакции на уровне городских средних слоев — статья в газете «Врач» за 1893 г. «Благодаря участию интеллигенции, увидевшей возможность чем-нибудь заняться и фигурировать в обществе..., средства «разумной осторожности» стали применяться всеми без разбора... Средства, препятствующие зачатию, так называемые «презервативы» приобретают все более широкое распространение». Автор статьи убеждает, что презервативы, равно как и *coitus interruptus*, чрезвычайно вредны для здоровья, и утверждает, что «лучше уж совсем отказаться от полового сношения, чем умножать горе болезнями».

Резко отрицательное отношение к аборту долгое время сохранялось и в медицинской среде. В 1889 г. на съезде Общества русских врачей были заслушаны два доклада, касавшиеся вопросов предотвращения и прерывания беременности, но, как говорилось в отчете, «доклады эти имеют только то значение, что в них решились затронуть столь щекотливый вопрос...». И даже на съезде Общества русских врачей в 1913 г. были сторонники запрета аборта. Дискуссия на этом съезде вызвала широкий общественный отклик. В частности, через несколько дней после ее окончания в «Правде» появилась статья В. Ленина «Рабочий класс и неомальтузианство». Статья была довольно двусмысленной. Она была направлена против неомальтузианства, «этого течения для мещанской парочки, заскорузлой и себялюбивой» (как не вспомнить Герцена, писавшего о немецком «мещанстве, строго соразмеряющем число детей с приходно-расходной книгой»), по существу, против практики ограничения деторождения. Но Ленин, конечно, не мог выступить в поддержку правовых норм общества, против которого он боролся, и требовал «безусловной отмены всех законов, преследующих аборт».

Неудивительно поэтому, что, когда через несколько лет к власти пришли большевики, аборт был легализован (в 1920 г.). Но правительственное постановление, разрешающее аборт, также было весьма двусмысленным, ибо оно объявляло аборт «злом для коллектива», объясняло «моральными пережитками прошлого и тяжелыми экономическими условиями настоящего» и предсказывало его постепенное исчезновение. Аборт никак не связывался с объективной необходимостью планирования семьи, и не ставился вопрос о том, что может быть альтернативой ему.

Эта двусмысленность отнюдь не была случайной. Получив свободу аборта в 1920 г., Россия намного опередила западные страны — они вступили в полосу полной легализации аборта лишь столетия спустя, в 60-е — 70-е годы.

Но для такого авангардизма в России начала века не было достаточных оснований. Население, за исключением части городских слоев, не было готово воспользоваться законодательно созданными для него возможностями.

На фоне настороженного отношения к аборту еще в первой четверти XX века парадоксальным выглядит его последующее стремительное распространение, при том, что либеральное законодательство в отношении аборта начала 20-х годов в 30-е годы сменилось запретительным и репрессивным. Но это — кажущийся парадокс. Преждевременное разрешение аборта без понимания истинного смысла этой меры лишь создало иллюзию свободы, заблокировав при этом поиски других путей планирования семьи. Неподготовленность общества к столь радикальному решению вызвала реакцию отторжения — запрет аборта стал частью общей антимодернистской реакции тридцатых годов. Косвенно этот запрет распространился и на контрацепцию — ведь в запретительном постановлении 1936 г., как и в 1920 г., ни о какой альтернативе аборту не говорилось, а ссылки на «условия социализма», «повышение материального благосостояния трудящихся» имели смысл только в том случае, если противопоставлялись в с я к о м у ограничению деторождения. В условиях сталинского СССР это практически исключало любую активность, направленную на развитие контрацепции.

Но если аборт можно было запретить, то с демографическими и социальными сдвигами, которые делали планирование семьи объективной необходимостью, нельзя было ничего поделать. У миллионов семей часто не было иного выхода, нежели прервать незапланированную беременность, — вопреки закону, вопреки традиции аборт стал едва ли не основным инструментом снижения рождаемости в СССР. Отмена в 1955 г. запрета на аборт была лишь признанием повсеместно распространившейся практики. Но при этом снова та же логика, что и в 1920 и 1936 гг. Аборт — зло, «предотвращение абортотворения может быть обеспечено путем дальнейшего расширения государственных мер поощрения материнства и мер воспитательного и разъяснительного характера». В 1955 г. вряд ли кто-нибудь ожидал, что женщины в России, на Украине или в Прибалтике станут рожать по 8 или 10 детей, но никаких указаний на то, как регулировать число детей иным способом, нежели аборт, и в чем здесь могут помочь «меры поощрения материнства», в Указе 1955 г. нет. По существу, это был Указ, подталкивающий к абортам.

Последующие годы не принесли существенных изменений. Советское общество так и не смогло признать до конца права свободного прокреативного выбора женщины и семьи, обеспечить им условия, необходимые для реализации этого права. Реальное планирование семьи развивалось стихийно, используя наиболее доступные, но крайне примитивные, неэффективные и опасные для здоровья женщины и ребенка пути.

После повторной легализации абортотворения в 1955 г. их число в СССР стало стремительно расти, достигнув в 60-е — 80-е годы 7—8 миллионов в год. «Вторая контрацептивная революция», совершившаяся на Западе и давшая женщинам весьма совершенные противозачаточные средства, миновала СССР, многие его бывшие республики стали мировыми рекордсменами по числу абортотворения: При примерно одинаковом уровне рождаемости годовое число абортотворения на сто родов на рубеже 80-х и 90-х годов составляло в России 196, в Беларуси — 153, на Украине — 164, в Латвии — 126, в Эстонии — 117, тогда как в Швеции оно равнялось 30, в Италии — 29, в Великобритании — 23, во Франции — 21, в Финляндии — 20, в Австрии — 17, в Германии (ФРГ) — 11, в Нидерландах — 10.

В конце концов советское общество — пусть и идя самым примитивным путем — сделалось по преимуществу таким же неомальтузианским, как и все западные. При этом «неомальтузианство» неизменно было в СССР опасным идеологическим жупелом. Трудно найти более заезженный образ, нежели образ мольеровского Журдена, не знавшего, что он говорит прозой, но нельзя и не вспомнить его по такому случаю. Целые поколения бездетных, одиноких, в лучшем случае двухдетных идеологов со всех трибун клеймили неомальтузианцев, не догадываясь, что речь идет о них самих, что они выступают — только на словах — непримиримыми борцами против своего собственного образа жизни.

## НЕ ВЫМИРАЕМ ЛИ?

*Родина перестала любить детей, свалив ответственность за них исключительно на плечи родителей. И выяснилось, что ноша эта совершенно неподъемна... В этом трагедия нашего поколения. Прикормленные властями демографы, правда, утверждают, что мы зря трепещем. В Западной Германии, дескать, депопуляция идет десятилетиями. Но нам от этого не легче. Мы... поимели полный комплект политических свобод, которые интимно интересны только государственным людям. Но зато у нас отняли свободу жить, любить и катать коляску по парку столько, сколько хочется...*

«Российская газета», 28 ноября 1992 г.

Быстрое снижение рождаемости позволило России и другим европейским республикам бывшего Союза избежать демографического взрыва и связанных с ним дополнительных экономических и социальных перегрузок, которые и так были весьма велики в период «построения социализма». (Не следует, правда, забывать и о «вкладе» в предотвращение демографического взрыва подъемов смертности, о которых говорилось выше.) Здесь нет многих проблем, которые тяготеют над обществами третьего мира, над нашими недавними среднеазиатскими соотечественниками.

Но, как это часто бывает, решение одних проблем приводит к появлению других. Сейчас мы озабочены низким уровнем рождаемости в России. В последнее время о его падении говорят как об одном из бесспорных проявлений охватившего страну кризиса. Что здесь от истины, а что от мифологии?

Прежде всего заметим, что вопреки тому, что часто думают, период «обвального» падения рождаемости закончился. Последним десятилетием этого падения были еще шестидесятые годы. В их начале число рождений на одну женщину («коэффициент суммарной рождаемости») превышало два с половиной, в конце опустилось ниже двух, после чего стабилизировалось и на протяжении последующих двух десятилетий колебалось вокруг отметки 2. В восьмидесятые годы эти колебания достигли наибольшего размаха. В 1979—1980 гг. показатель опустился до самого низкого за послевоенный период уровня (1,89), в 1986—1987 — поднялся до самого высокого после 1961 г. (2,20), в 1990 — опять 1,89, в 1991 — новый рекорд — 1,73 (данными за 1992 г. мы пока не располагаем). Рекордно низким было в 1991 г. и абсолютное число рождений — 1795 тысяч. Предыдущий минимум — 1817 тысяч — был в 1968 году.

Не в этом ли «предыдущем минимуме» секрет столь сильной колебательной волны восьмидесятых годов? Как ни соблазнительно связать ее с текущими социально-политическими событиями в стране, никуда не уйти от того, что нынешнее падение числа рождений — это прежде всего «демографическое эхо» его огромного сокращения в 60-е годы, когда появились на свет поколения сегодняшних молодых матерей. Тогда за десять лет (1958—1968) годовое число рождений в России упало примерно на миллион. А это, в свою очередь, было, по крайней мере отчасти, «эхом» снижения рождаемости во время войны.

Внес свой вклад в падение рождаемости последних лет и ее подъем до 1987 г. По ряду причин у большей, чем обычно, части женщин в те годы дети появились в более молодом возрасте. Отсюда — рост показателей рождаемости. Но перенос сроков «запланированных» рождений вовсе не означает, что родители намеревались родить большее число детей. А если таких намерений нет, увеличение числа рождений вчера означает автоматическое их уменьшение сегодня, но уже в другой возрастной группе, в которую перешли вчерашние молодые матери.

Уменьшение числа молодых женщин из-за демографического эха, помноженное на снижение возрастных коэффициентов рождаемости в связи со сдвигом



календаря рождений, и обусловило резкое падение показателей рождаемости в последние годы. Конъюнктурные же факторы экономического или политического свойства не играли решающей роли, хотя и могли усилить это падение.

Если не считать несколько большего, чем обычно, размаха колебаний 80-х — начала 90-х годов, то они ничем не отличаются от тех, которые наблюдались и прежде. Повышение и понижение рождаемости в ходе этих колебаний обычно взаимно компенсировались. Если брать числа родившихся в России не по отдельным годам, а за пятилетия, внутри которых колебания от года к году гасятся, то на протяжении последних трех десятилетий — с 1962 по 1991 г. получаем следующие числа рождений (в миллионах): 10,9; 9,4; 10,3; 12,1; 10,8. Как видим, никакой особой тенденции к снижению не прослеживается.

Это, конечно, не значит, что с рождаемостью у нас все благополучно и все ясно. Но здесь, как и в случае со смертностью, надо не драматизировать — во многом поверхностно и искусственно — ситуацию последних лет, а задуматься о смысле глубинных, долговременных тенденций. Рождаемость в России не обеспечивает простого замещения поколений уже давно, начиная с середины шестидесятых годов. Если до поры до времени численность населения России все же продолжала увеличиваться, то лишь благодаря так называемому «потенциалу роста», накопленному в те времена, когда рождаемость была высокой. Однако постепенно этот потенциал «съедался». Во многих областях России — Псковской, Новгородской, Ивановской, Рязанской, Тверской, Тульской, Курской, Тамбовской, Ярославской, Воронежской — отрицательный естественный прирост отмечался уже в 70—80-е годы. Рано или поздно должен был наступить момент, когда естественный прирост населения сменится его естественной убылью в России в целом.

Сейчас Россия подошла к этой черте. В 1991 году коэффициент естественного прироста опустился до небывало низкого уровня 0,7 на тысячу, а в 1992 году вообще сменился естественной убылью населения. В этом сказывается, вероятно, влияние поразившего страну социально-экономического кризиса, но его воздействие не следует переоценивать. Он мог лишь приблизить неизбежное.

Больше того, если бы дело было только в кризисе, то не было бы и особой темы для размышлений. Кризис минует, и уровень рождаемости восстановится, как это случилось в 20-е годы после страшных потрясений революционных лет. В действительности же проблема серьезнее и глубже. После выхода из кризиса, если только он не будет связан с возвратом к прошлому, уровень рождаемости скорее всего не восстановится, и Россия долго будет в лучшем случае балансировать на грани естественного прироста и естественной убыли населения.

Ведь низкая рождаемость — не какой-то особый российский вопрос. Она стала неотъемлемой чертой образа жизни всех развитых стран, как бы богаты и благополучны они ни были. Соответственно и им не удается избежать отрицательного естественного прироста населения. В 1990 году он был отмечен в Болгарии и Венгрии, в 1989 — в Венгрии и обеих Германиях. В ФРГ на протяжении всех 80-х годов не было ни одного года с положительным естественным приростом. В отдельные годы минувшего десятилетия он был отрицательным в Австрии, Дании, Венгрии. По прогнозам ООН, нулевой или отрицательный естественный прирост в ближайшие годы будут иметь Бельгия, Великобритания, Италия, Нидерланды, Норвегия, Франция, Финляндия, Швеция, Швейцария. Какие основания думать, что Россия, двигаясь в сторону западного экономического и политического либерализма, сможет идти по особому демографическому пути?

Представляет ли чрезмерно низкая рождаемость проблему для развитых стран? Да, конечно. Сейчас она становится и нашей проблемой, проблемой нашей общей с ними цивилизации. Она далеко не совершенна — как все сущее, впрочем. Критика темных, опасных сторон этой цивилизации необходима, иначе не избежать тупиков и катастроф. Но хорошо бы при этом не сбиваться на банальности типа «если бы губы Никанора Ивановича да приставить к носу Ивана Кузьмича...». Если мы хотим жить в мире рынка и конкуренции, в мире беспокойного фаустовского человека, в индивидуалистическом гражданском обществе, мы должны быть готовы нести бремя выбора. И он далеко не всегда будет в пользу еще одного ребенка. Катать коляску по парку столько, сколько хочется, пожалуй, не выйдет...

Но, положа руку на сердце, этого ведь и не было никогда. Две милые девчушки, которые так хорошо посмеялись в «Российской газете» над политическими свободами, наверно, насмотрелись советской киноклассики, в незабвенные времена обожавшей «парки культуры и отдыха». Оно конечно, бывали и очернители на Руси. Тот же Глеб Успенский, например. «Женский труд в крестьянской семье и хозяйстве ужасен, — писал он, — поистине ужасен. Глубокого уважения достойна всякая крестьянская женщина, потому что эпитет «мученица», право, не преувеличение почти ко всякой крестьянской женщине». А чего было мучиться? Пошла бы в парк и покатила бы коляску, сколько хочется...

Пока еще ни один народ не вымер от низкой рождаемости. Что-то удержало от предрекавшегося еще в прошлом веке демографического краха французов, думаю, не грозит он и русскому или русскому-либо другому народу России. По-видимому, цивилизация, создающая проблемы чрезмерно низкой рождаемости, вырабатывает и систему ценностных противовесов, которые останавливают падение рождаемости вблизи опасной черты. Такие противовесы появляются, скорее всего, как следствие общественной критики, точнее с а м о к р и т и к и, направленной на поиски решения цивилизационных проблем (социальных, экологических, демографических и т. п.) внутри того мира, который эти проблемы порождает.

Гораздо меньше доверия внушает критика и з в н е, с позиций других, альтернативных, несуществующих, утопических цивилизаций. В рамках такой критики обличение демографических пороков, подчеркивание опасности вымирания нации и т. п. имеет не созидающий, а разрушающий смысл.

Именно такое обличение набирает силу в постсоветской России. Оно намного серьезнее и глубже, чем наивные воздыхания по «парку». Низкая рождаемость, читай вырождение нации, ставится в один ряд с кризисом семьи, падением нравов, индивидуализмом, а глядишь, и с политическими свободами и другими принципами гражданского общества, — и всему этому противопоставляются традиционные ценности веры, «соборности», прочных семейных уз, материнского призвания женщины, недопустимости аборта... О свободе демографического выбора, кажется, ничего не говорится, но для нее остается очень мало места.

Удивляться здесь нечему. Советское общество стремительно вошло в полосу демографического обновления, не будучи вполне готовым к нему. Догоняющее развитие вообще постоянно порождает подобные неувязки. Социальные нововведения заимствуются у обогнавших обществ в готовом виде, что позволяет отставшим двигаться быстрее, минуя многие промежуточные этапы и не неся ненужных потерь. В этом — сильная сторона догоняющего развития. Но оно имеет и слабую сторону. Заимствованные нововведения переносятся на неподготовленную почву, порождая причудливые и нередко не самый удачный сплав старого и нового. Демографический переход в СССР был частью общей модернизации, совершился быстро, но, так сказать, вчерне, оставив многое недоделанным.

Вместе с другими «модернизациями» демографическая модернизация вырвала людей из привычной культурной почвы. Она стала одним из источников глубокого культурного раскола, конфликта старых и новых норм и ценностей.

В условиях этого конфликта миллионам людей пришлось на протяжении жизни переходить от усвоенных с детства стандартов демографического поведения к новым, незнакомым. Целые поколения оказались на распутье. Лишенные корней, отплывшие от одного культурного берега и не приставшие к другому, они невольно стали средой, в которой ценностный конфликт воспроизводится снова и снова, осложняя и без того нелегкую интеграцию постсоветского общества.

Но старый культурный берег все дальше, а новый — все ближе. Приходят новые поколения, и для них изменившиеся нормы демографического поведения уже не в диковинку, как для их дедов и отцов. Мало-помалу демографическая модернизация в России, во многих других бывших республиках СССР переходит из «черновой» в «чистовую» фазу, демографический переход приближается к завершению. А это значит, что по крайней мере одним источником культурного раскола в России становится меньше. Принимая хотя бы только д е м о г р а ф и ч е с к у ю свободу, общество и в других отношениях становится внутренне более свободным, более открытым для преобразований и перемен.

Роман Арбитман

# КАПИТАН ФЬЮЧЕР В СТРАНЕ БОЛЬШЕВИКОВ

ЗАПАДНАЯ БЕЛЛЕТРИСТИКА  
НА НАШИХ КНИЖНЫХ ПРИЛАВКАХ

Легче всего было героям Жюль Верна. «Остров или материк? Остров или материк?» — помнится, допытывался поначалу инженер Сайрус Смит и, узнав, что попал все-таки на остров, мог со спокойной совестью начинать робинзонить, обживать необитаемую землю — благо территория была невелика. В отличие от Сайруса Смита мы угодили в ситуацию куда более сложную. Социально-тектонические процессы в обществе еще продолжаются, однако один из результатов уже известен: в океане окружающей нас реальности рядом с архипелагами собственной реалистической литературы и островками привычной научной фантастики неожиданно всплыл огромный, незнакомый и вполне обитаемый чужой материк — гость из зарубежного царства вымысла, целое Эльдорадо для любителей чтения. Идеологические мымрецовы, разумеется, этот день отдаляли, как могли. Факт внезапного всплытия литературной Атлантиды, со всеми ее пригорками и ручейками, целебными источниками, бездонными пропастями и дружелюбными аборигенами, оказался сюрпризом для всех тех, кто мог только смутно догадываться о величине целого по небольшому фрагменту, подобно трем слепым мудрецам из притчи, что попытались судить о слоне, прикоснувшись к ноге, хвосту и хоботу.

Действительность превзошла все ожидания. Новый материк невозможно было объехать на палочке верхом и тем более просто «приплюсовать» к уже открытым: он сам уже мог «приплюсовать» соседние территории. Атлантида стала очень быстро частью повседневного

бытия, легко внедрившись в него на правах тайно любимого богатого дядюшки из-за границы, коего до сей поры никто не видел, но все были рады внезапному дружественному визиту. Эту радость недвусмысленно подтвердил и книжный прилавок конца 80-х и начала 90-х, ставший сразу после отмены цензуры, «разнарядок» и прочих неестественных ограничителей самым точным барометром симпатий или антипатий. Даже первые ошибки издателей — и те не отменили тезиса о нашей слегка мистической «всемирной отъездивости» и не подтвердили опасений об ужасных последствиях «перепада ментальностей» (эстетической «кессонной болезнью», кажется, не заболел никто). Речь тут могла идти разве что о недостаточном понимании потребностей аудиторий вполне определенных, о наших собственных разочарованиях, вызванных неизбежными расхождениями между ожидаемым и прочитанным, да еще об известной поспешности в освоении Атлантиды — а ведь любой такой процесс требует некоторого времени и кое-какой подготовки.

Величиной новооткрытого материка, пожалуй, и можно объяснить жанр предлагаемых ниже заметок. Это прежде всего попытка осмыслить результаты первых, не научных, а туристических поездок на Атлантиду. Уже не вызывает сомнения, что западная массовая литература — сказки на любой вкус и решительно для всех возрастов — вполне обнаружила свой универсальный характер. Пора, мне кажется, определить меру ее влияния на нашу жизнь и соответственно нашей жизни — на нее.

## Посмертная реабилитация Урфина Джюса (Сказки для детей)

Внезапное возникновение литературной Атлантиды спокойнее всего встретило самое младшее поколение: тут и сюрпризов было гораздо меньше, и менять привычки было гораздо проще. К тому же полпреды детской Атлантиды поселились в нашей жизни намного раньше, чем многие другие. Робинзон, Гулливер, Пятнадцатилетний Капитан, Том Сойер или Винни-Пух давным-давно уже не выглядели чужаками, граничными родственниками. Смена эпох в детском книжном мире произошла наименее болезненно, но и без тех новых, необычных ощущений, которые смаковал мир взрослых. Действительно дефицитные прежде Майн Рид, Стивенсон, Хаггард и им подобные — кумиры поколения пап и дедушек, допущенных, наконец, к издательским машинам и начавших радостно тиражировать светлые воспоминания своего босогого отрочества, — в больших количествах возникли на книжных прилавках. Однако эти книги и раскупали прежде всего родители: для их отпрысков, сообразительных детей городской цивилизации, все эти наивные романтические приключения на красивых ландшафтах казались глубокой архаикой.

Пионерско-тимуровская литература вкуче со «школьными» повестями ушла в небытие без скандалов и обид. Может быть, потому, что на смену ей плавно скользнула литература, условно говоря, «бойскаутская». Обнаружилось вдруг, что на Атлантиде произрастают близкие по духу безоговорочно «юношеские» книжки — в меру пресные, в меру назидательные, но лишенные, конечно же, прямолинейной идеологической нагрузки (незыблемые ценности общества не прокламировались, а присутствовали в текстах как бы ненавязчивым фоном). Динамичный сюжет был обязательным. Первые же переводные книги серии «Детский детектив» (их выпускает Московская штаб-квартира МАДПР — то бишь Международной ассоциации детективного и политического романа), достойные представители этой «бойскаутской» литературы, вышли даже под общим заголовком «Хичкок для детей». Явный оксюморон заголовка никого не смутил: имя постановщика «Птиц» присутствовало здесь всего лишь из-за взятого на себя самим мэтром обязательства представлять юному читателю нечто приключенческое. Как и у нас, «бойскаутским» сюжетам был противопоставлен саспенс. К примеру, опубликованные в этой серии повести М. Кэри («Тайна пса-невидимки», «Тайна попугая-заики», «Тайна зеркала гоблинов», «Тайна горы чудовищ» и другие) содержали целый ряд иногда занятых и, безусловно, «ве-

гетарианских», по меркам Хичкока, расследований. Родители могли вручать подобные книги своим чадам совершенно безбоязненно. Малолетние частные сыщики Боб Андрус, Пит Крепшоу и Юп Джонс (в других книгах серии имена, понятно, варьировались) трогательно походили на наших собственных, хорошо знакомых «юных друзей милиции». Троицу отличала разве что техническая оснащенность — электронные устройства, передатчики и т. п. (Америка!), а их расследования — легкий сказочный оттенок. Авторы временами пренебрегали «чистотой жанра», позволяя своим героям изредка пользоваться услугами волшебников, когда сыщичья фантазия заходила в тупик, — это для любителей привычных «школьных» повестей, знающих, что «коровы не летают», было в новинку. Так в одной из повестей М. Кэри возникло молодое астральное тело шалолая-переростка, которое поначалу здорово мешало раскрываемости преступления, но затем и помогло; в другой повести появлялся ближайший родственник «снежного человека», чтобы потом так же незаметно стухиваться, сделав свое дело. Что касается всех остальных черт такой литературы, то «юные друзья полиции» пребывали в рамках жанра, родителям хорошо знакомого и, в силу причин изрядно поднадоевшего... что не мешало гражданам более юного возраста потреблять эту книжную продукцию без особых колебаний.

Самым лучшим вариантом поведения для взрослых было бы, наверное — в данном случае, — невмешательство, освобождение младших от мелочной опеки, благо работа издателей сделалась очень энергичной, и дети выбрали бы среди новинок свою литературу самостоятельно, как река выбирает себе русло без «руководящих указаний». В большинстве случаев все так и происходило. Пожалуй, только раз взрослые дяди-издатели, открывая для ребят Атлантиду, попытались навязать свое мнение, волевым решением умножить количество изданий и переизданий одного и того же романа, доселе юношеству неведомого совсем.

Этот единственный провал оказался весьма любопытным и показательным. «Хроники Нарнии» английского писателя и философа Клайва Стэпласа Льюиса, по странному стечению обстоятельств, попали в число наиболее тиражируемых переводных детских книг — из числа «новинок» (на родине автора роман был издан впервые почти полвека назад). Возможно, высокая репутация видного христианского публициста, автора «Писем Баламута», «Расторжения брака»,

философско-фантастических романов, обещала нравственную безупречность его сказок, немаловажную в условиях массовой тяги к Богу — иногда, впрочем, довольно спекулятивно обставленной. Скорее всего издателей подкупило то, что во многих предисловиях к книге обозначалось как «евангельский свет», коим проникнуты сказки. Но, кажется, пацаны, выбирающие себе для чтения «Тайны пса-невидимки», не были готовы к восприятию К. Льюиса — или, может быть, сказки эти и не были рассчитаны на пацанов? Лелеемая взрослыми безупречность была растворена в дистиллированной воде. Между понятиями «просветитель юношества» и «детский писатель» образовался маленький, но опасный водоворотик — в котором, собственно, и исчезло все сказочное своеобразие «Нарнии». Безукоризненно воспитанный, отменно умный, временами несколько желчный старый английский джентльмен ни разу не покинул кафедры. С каждой новой частью гепталогии сказка все более походила на беллетризованную проповедь (или отповедь). Плохие Мальчики в аккуратных историях К. Льюиса постепенно превращались в Добродетельных Мальчиков, а на выручку обиженным животным Нарнии всегда приходил местный Создатель, волшебный огнегривый Лев, идеальный до кончиков когтей, а потому нудный и тоскливо-рассудительный. Мир Нарнии выглядел настолько правильным и гармоничным, что живые грешные люди забредали, казалось, туда по недоразумению — они ведь могли разрушить, испортить красоту нетронутого уголка! Философский трактат, притворившийся сказкой «для младшего школьного возраста», требовал для своего постижения каких-то особых детей, готовых радостно переселиться в блаженный мир «Нигде и Никогда». Едва ли таких могло набраться чересчур много. И, видимо, недаром американец Фрэнк Баум, предчувствуя возникновение подобной торжественной и безжизненно-жутковатой литературы, замечал: «...ребенок ищет в волшебных сказках добрых чудес, а не жутких кошмаров».

Произведение самого Фрэнка Баума — одного из счастливых открытий на карте «детской» части Атлантиды — долгие годы для нас просто не существовали. Пастыри юношества вполне искренне полагали, что в них, в общем, нет никакой нужды. Возможно, страшное видение «милорда глупого», могущего отвратить наших подростков от полезного чтения Белинского или Гоголя, заставляло поколение воспитателей пренебречь целыми литературными державами, объявить их фантомами.

На самом же деле зарубежный милорд был не таким уж глупым. Вернее, даже совсем не глупым. Появление на книжных прилавках только нескольких оригинальных книг — «предтеч» произведений-любимцев нашего детства — не

могло не вызвать у взрослых приступа жгучей обиды, даже ревнивой зависти к собственным чадам. Один беглый взгляд на многие из этих произведений вынуждал сразу же усомниться в точности давнего «исторического выбора», когда нас лишили возможности «предпочесть оригиналы спискам». Одно дело — просто знать, что д-ру Айболиту предшествовал какой-то доктор Дулитл неведомого Хью Лофтинга, коротышкам Николая Носова — лесные эльфы некоего Пальмера Кюкса и запасливые «добывайки» какой-то Мэри Нортон. Волшебнику Изумрудного Города Александра Волкова — Волшебник Страны Оз неизвестного Фрэнка Баума. И совсем другое — сам им, наконец, прочитать вместе с детьми по-русски Лофтинга, Нортон, Баума и других. И если Чуковский при этом остается Чуковским, и если Носов, допустим, все же переигрывает своих предшественников (он «обустроил» царство коротышек с несравненно большей фантазией, нежели иные его коллеги), то отсутствие во времена нашего детства переводов Фрэнка Баума выглядело прямо-таки роковым. Плотский ученический мир А. Волкова не шел ни в какое сравнение с объемной, быстро меняющейся вселенной Страны Оз и окрестностей. В уже цитированном предисловии к одной из своих книг Баум оторчался, что «современное образование напичкано моралью», и потому старался делать все необходимое, чтобы не испортить свой «мир добрых чудес» излишней назидательностью. Юный читатель сам мог прийти к нужным выводам, но если и не приходил сразу — ничего страшного в этом не было. Сказочная атмосфера делала свое дело гораздо лучше, нежели прямолинейные проповеди Добра и Красоты. Неповторимость сказочных ситуаций Баум умел выводить из любой мелочи, заурядный как будто бы эпизод становился вдруг обаятельным и веселым, необычайно важным для сюжета. А. Волков в каждой новой книжке вынужден был «распространять» свою волшебную страну только «вширь», элементарно присоединяя новых статистов к уже существующим, плодя безжизненных персонажей в таком количестве, что скоро их просто трудно было держать в памяти. Баум же двигался «вглубь»: каждый персонаж (пусть второстепенный, вроде Стекланного Кота или Жука-Кувыркуна) обладал своим характером, даже норовом — в дерзком своеволии игрушечных фигурок была своя комическая прелесть. Публикации сказок Фрэнка Баума помогли, кстати, и «реабилитировать» злодея Урфина Джюса. Такой monstr-вредитель в человеческом обличье мог возникнуть только в нашей литературе, где зло обязательно персонафицировалось в нам подобных существах, которых, по старому правилу, можно было разоблачить, строго наказать и отправить на принудработы. В «Волшеб-

ной Стране Оз» мальчик Тип, получив случайно в руки щепоть оживляющего порошка, не изготовлял никаких деревянных солдат; он лишь оживлял себе тыквоголового приятеля, да еще, спасаясь от беды, мог превратить старый диван в большую птицу и улететь вместе с друзьями на ней в безопасное место. Изящество и простота баумовских сказок, ощутимые в любом переводе, видимо, сыграют свою роль, и «вариации» Волкова — если и будут еще некоторое время по инерции тиражироваться, — отойдут на периферию. Нашим издателям, вообще говоря, следовало бы

догадаться, что количество нетленных произведений довольно немногочисленно, а всем прочим рано или поздно суждено состариться, выйти из активного читательского обихода и «стать достоянием доцента». Другое дело, что известные противоречия бурной российской действительности многократно ускорили этот неспешный процесс и, к счастью, открыли доступ к новому материалу литературы. Вероятно, это явление было неизбежным: «Когда погребают эпоху», обязательно меняется лик всей литературы — отнюдь не только детской. В первую очередь недетской...

## Эмбер — Урюпинск, далее везде (Сказки для взрослых)

В шестидесятые и семидесятые годы наша интеллигенция хорошо знала и любила писателей-антисоветчиков: Гарри Гаррисона, Роберта Шекли, Клиффорда Саймака, Курта Воннегута и некоторых других. Писатели, правда, и не подозревали в своем далеке о таком необычном к себе отношении, но факт этот не играл решительно никакой роли. Наши цензоры и прочее запрещающее начальство, к счастью, долго пребывали во власти стереотипов, согласно которым научная фантастика считалась литературой для детей и инфантильных взрослых. Видимо, именно поэтому «фантастическая» часть литературной Атлантиды посылала нам свои скудные весточки не так уж редко. Маленькие томики «НФ» издательства «Мир» и солидные антологии «Библиотеки современной фантастики» были едва ли не популярней самиздата. Космические полеты, путешествия во времени, проблемы робототехники и жизни на других планетах — все это (вкуче со странно- или иностраннозвучащими именами) умными читателями воспринималось как род некоего декорума, легкой маскировки, без которой эти произведения о нашей жизни просто не могли пересекать кордоны. Вся сладость аллюзий рядовые читатели оценили гораздо раньше, чем до этого додумались бдительные редакторы. В 60-е среди интеллигенции гуляла фразочка: «Против кого дружите?» — а с зарубежной фантастикой наш очень внимательный читатель сумел подружиться «против» много и многих. Пускай был трижды проклят и официально запрещен «1984» Орвелла, зато менее известные (хотя подчас и не менее убедительные, вроде «Каллокаина» К. Бойе) антиутопии у нас длительное время издавались беспрепятственно, иногда даже под вывеской «контрпропаганды». Вывеска эта выглядела как самый забавный из способов маскировки. Где, скажите, расправлялись с инакомыслящими кулака-

ми и пулями, где бездарные генералы пытались поправить свой имидж за счет «маленькой победоносной войны», где политики шли к своим креслам по головам и по трупам? Только ли в западной фантастике предупреждений — или еще и в нашей реальности тех лет? Чтобы дать ответ на риторический вопрос, не надо было иметь семь пядей во лбу. Читатель западной НФ литературы у нас легко догадывался, что руководитель политической полиции, ставший первым лицом в государстве и не отказавшийся от замашек предводителя «рыцарей плаща и кинжала», — не такая уж американская или западноевропейская реалья. Ядовитый «Бруклинский проект» Уильяма Тенна, где военные, прихватившие для своих нужд ценное изобретение, использовали его в исключительно немирных целях, — был натурной зарисовкой нашей действительности, в которой доктора наук и академики работали на Бомбу, а Бомбу испытывали привычным квадратно-гнездовым способом. Стихопишущий агрегат из «Версификатора» Примо Леви выдавал километры поэзии, подозрительно напоминающей по уровню нашу «революцией мобилизованную и призванную» идейно выдержанную поэтическую продукцию, подходившую к любым торжественным датам на первые полосы газет. Точно так же и бюрократиада фантастического Учреждения из романа Майкла Фрэйна «Оловянные солдатики», где активное ничегонеделание чиновников иногда сменялось столь же активными поисками неблагонадежных в собственной среде (козлом отпущения, естественно, становился бедняга Голдвассер, виновный разве что в собственной фамилии), выглядело сколком нашей родной действительности. И подобные примеры можно было приводить до бесконечности. То, что для зарубежных фантастов казалось нарочито преувеличенным, утрированным, для нас было в самый раз. Западная НФ литература, проникающая к

нам «поверх барьеров», воспринималась как замена не существовавшей тогда у нас сатиры, политической публицистики, романов-предупреждений и так далее. Особенности жанра, главные для самих создателей книг, у нас становились второстепенными: принцип «двойного зрения» вольно или неволью превращал переводную фантастику в заложницу политики, вычленил из нее только то, что нужно было читателю в данный момент, ограничивал ее популярность внешними факторами, не имеющими отношения к собственно литературным достоинствам текстов.

Смену читательских предпочтений, возникшую уже со второй половины 80-х, легко было предсказать. Мастера социальной фантастики вторично пострадали — на сей раз впав в немилость. После того как в отечестве получили полную свободу все жанры, до поры как бы аккумулярованные в переводной сайенс-фижшн, эпоха синкретизма закончилась. На первый план вышла та самая развлекательная функция жанра, которую интеллектуалы презрительно третируют в погоне за скрытыми смыслами. Книгоиздатели выпустили на волю совсем другие произведения. В них сегодняшней, много узнавший читатель уже больше не хотел, не стремился найти себя. Наоборот — кого угодно, только не себя (постылая реальность, ставшая теперь известной до тонкостей, не стала от этого менее постылой). Теперь правдоподобие и сходство только повредили бы: принципы из иномиров, драконы, прекрасные девы, знакомые с волшебством, космические поединки на бластерах — вот что теперь было приемлемым и уместным. Написанные достаточно давно, но вышедшие у нас только что книги Роберта Говарда, Роджера Желязны, Ли Брекет, Пола Андерсона, Джека Вэнса, Эндрэ Нортон, Роберта Асприна и прочих (список велик) подтвердили, что отечественные книгоиздатели очень хорошо и быстро отследили все сегодняшние эскапистские тенденции в нашем общественном сознании. Житель какого-нибудь заштатного Урюпинска, четко понявший, что в ближайшее время ему не посветит маяк развитого капитализма, — мог позволить себе выключить телевизор с неутошительными «Новостями» и погрузиться в волшебный мир Эмбера (Янтарного королевства), почувствовать в руке холодок эфеса, а в душе — притягательный ужас в кругах древнего Лабиринта...

Читатель соглашался путешествовать в Эмбер, на Марс, на Альдебаран, в джунгли, в пустыню — только туда, где расположена область спасительного вымысла. Очень симпатично стала выглядеть «космическая опера», представленная отныне многообразно, от давних «фундаментальных» романов Эдмонда Гамильтона («Сокровища Громовой Луны», «Капитан Фьючер» и т. д.) до по-

луриронических стилизаций Уильяма Нолана. И старомодного Гамильтона, и по-современному развязного Нолана объединяли, впрочем, принципы, по которым в их книгах жили и действовали главные герои: Бог для них был понятием весьма неконкретным, довольно расплывчатым, их истинным богом всегда оставался Фарт — пресловутая Госпожа Удача, которая покоряется смелым и находчивым и ускользает от слабых и трусливых. «Стартовая площадка» в тех же «Сокровищах...» была незамысловата. Бывшие космонавты, списанные по возрасту и здоровью из звездного флота, оставшиеся без денег и не у дел, неожиданно получали в свое распоряжение корабль и ясный курс на Оберон, где их ждали либо гибель, либо богатство. И если у «социального» Роберта Крэйна в «Пурпурных полях» весь рассказ строился на трагедии выброшенного из повседневной жизни космического офицера, слишком старого по меркам жестокого мира, если в рассказе Роберта Янга «Звезды зовут, мистер Китс» (и Янг, и Крэйн переводились у нас в 60-е) главным было одиночество «космического волка», вынужденного коротать последние годы в кругу ненавидящих его родных, то для Гамильтона тут не было особой проблемы: проблемы подобным произведениям были априори противопоказаны. Важно было точно определить местоположение персонажей на небогатой цветовой этической палитре (где преобладали либо светлые, либо темные тона, полутона не годились), вооружить экзотическим оружием, подходящим в космосе, и отпустить на волю. Путешествие героев в пекло Оберона за баснословно дорогим левнумом оканчивалось удачей для главных действующих лиц; второстепенные же герои — как положительные, так и отрицательные — обязаны были погибнуть, либо спасая главных, либо от руки главных. Счастливый финал необходим был для душевного успокоения читателей, всякий другой неизбежно вернул бы их к повседневному круговороту вещей и явлений. «Опера» была хороша еще и тем, что в ней выдерживалось железное правило всех разновидностей приключенческой литературы: вначале бьет героя, в финале бьет герой (всякая иная последовательность событий означала бы, что перед нами — уже не беллетристика, а нечто иное). Фантастика добавляла этому правилу особое своеобразие. В романе уже упомянутого Уильяма Нолана «Спейс работает по найму», например, спектр возможностей героя был максимально расширен. Активного действующего персонажа, частного сыщика, поначалу не только бьют, но даже и несколько раз убивают; он же выходит из всех передряг целехонек, благодаря хитроумным техническим приспособлениям каждый раз воскресает — зато получает право на законных основаниях мстить своим убийцам. Роман про Спейса, до-

статочно откровенный вариант чисто развлекательной фантастики, привлекал читателей уже этой самой откровенностью, когда литература — серия стремительных «экшн» — не претендовала ни на что большее. невысокий интеллектуальный заряд, обилие трюков, нормальное чувство юмора дополнялись еще и своеобразным «протеизмом» главного героя, то бишь быстрой сменой ипостасей: размера, внешности, зачастую просто физической формы (жанр опять-таки это допускал). Причем у героев, подобных нолановскому, была и четкая мотивировка всех его поступков.

Дело в том, что для «оперы» альтруизм очень часто был подозрителен и таил подвох: в будущем мире сайенс-фикшн персонаж — если автор хотел вызвать к нему симпатию! — должен был сочетать следование определенным нравственным нормам с чем-то еще, конкретным и полезным для себя. То есть уничтожение зловредных межзвездных пиратов сопрягалось с неизбежной прибавкой жалованья за доблесть, охота за негодяями-супергангстерами у Нолана завершалась выплатой солидного вознаграждения, предусмотренного контрактом с этим частным сыщиком, а победа над инопланетными захватчиками (даже в «Звездных рейнджерах» Роберта Хайнлайна, известного своими романтическими воззрениями на «чувство долга» рейнджеров космоса) оборачивалась не только моральным удовлетворением, но и возможным повышением героя в чине. Вспомним, что и у Гамильтона «вышедшие в тираж» космолетчики отправлялись на Оберон не научного любопытства ради — зато делец, трогательно обещавший им бескорыстную помощь, в финале оказывался предателем и убийцей.

И в то же самое время прагматизм героев «опер» и близких им жанров ни сколько не отменял — для наших сегодняшних читателей чисто по-человечески это было очень важно — дружбы, взаимопомощи и даже обязанности погибнуть, выручая товарища. Без этих качеств «опера» была бы просто приземлена, лишена необходимого оптимистического начала и, в общем, не нужна. Вдруг выяснилось, что герои таких произведений всегда открыты в мир, просто для них соблюдение кантовского «нравственного закона» становится вдобавок и практичным. Стало ясно, что моральный капитал ничем не хуже денежного вклада, даже надежнее защищен от возможной инфляции. Наш соотечественник, коего пропаганда долго приучала считать выражением «капиталистической морали» сакраментальную максиму «человек человеку — волк», с удивлением обнаруживал этот феномен. Добавим, что удивление скоро сменялось пониманием: в конце концов и в наших сказках удача тоже улыбалась не Кощею, а добрый молодец возвращался с ратных подвигов с наградой.

Наряду с «космической оперой» в се-

годняшних изданиях стала возникать, условно говоря, «временная» — то есть такая, где все приключения героев связаны были не со звездами, а с путешествиями в прошлое или будущее на машинах времени. Открытие Герберта Уэллса весьма пригодилось беллетристам, давно смекнувшем, что этот прием совсем не обязательно использовать в интересах серьезных утопий или антиутопий. Наглядный пример тому — авантюрный роман Дирка Уили и Фредерика Арнольда Каммера-младшего «Когда время сошло с ума». В произведении время становится местом действия: герои, сами подчас того не желая, перепрыгивают через множество временных пластов.

Мысль авторов очень проста и доступна всем: человек не должен терять силы духа и воли к жизни — даже если Время вокруг окончательно сошло с ума; и мысль эта так или иначе оказывается созвучна настроениям нашего читателя.

Как известно, бедная Настя, героиня хрестоматийной пьесы «На дне», жила одновременно в двух измерениях: в одном существовала отвратительная костылевская ночлежка, но в другом действовали прекрасные принцы Гастон и Рауль, способные сей же час даже застрелиться из «леворвертов» ради несчастной любви. Мир переводных западных романов-фэнтези, несомненных фаворитов отечественных книгоиздателей 90-х, придал этой шизофренической раздвоенности вполне цивилизованный характер. Положение «меж двух миров» (если воспользоваться названием романа Джека Финнея) перестало быть предметом рассмотрения социальной психиатрии, сделалось естественным. Для фэнтези прием «раздвоения» сознания героев был прежде всего незаменимым подспорьем для динамичного сюжета, поскольку разум героя мог в критический момент призвать из соседнего измерения какого-нибудь «бога из машины», и тот, в свою очередь, мог подсказать остроумный способ спасения — и для героя, и для сюжета. Конечно, происходило это не раньше и не позже, в нужный момент. Скажем, в том же романе «Когда время сошло с ума» в мозгу землянина XX века селилось сознание еще и его отдаленного потомка и, когда необходимо, брало инициативу на себя. Нечто подобное творилось в мозгах главных действующих лиц романов «Три сердца и три льва» Пола Андерсона, «Шага Рианона» Ли Бреккет или, допустим, «Девять принцев Эмбера» Роджера Желязны (примеры выбираю почти наугад). Во всех случаях второе «я» не разрушало психику персонажа, как того требовали «здравый смысл» и почтенная реалистическая традиция, но было только благотворно для него: в романе Желязны герой и сам бережно собирал воедино обе свои ипостаси, земную и «неземную», постепенно превращаясь из обычного че-



ловека нашего времени в одного из сказочных принцев.

Фэнтэзи, современная сказка для взрослых, не связана — в отличие от обычной НФ — тесными узами с научно-подобными послылками и реалиями. В сказке, как и в любом типе «опер», благополучный финал вселял надежду; герой же обладал поистине волшебными качествами. У Пола Андерсона обычный инженер в ином мире оказывался не меньше, чем благородным рыцарем — единственным, кому суждено было обуздать зло. В романе «Шпага Рианона» земной археолог, очутившись в прошлом, да еще на планете Марс, нес в своем сознании и древнюю мудрость одного из прежних владык планеты. У Железны в первом же романе цикла «Эмберских хроник» принц Корвин — единственный достойный претендент на престол в Янтарном королевстве, кто может остановить силы Хаоса. Вот, между прочим, одна из существенных особенностей фэнтэзи: борьба здесь ведется зачастую в глобальном масштабе, не размениваясь на мелочи, — между Добром и Злом, между Порядком и Хаосом. Особенность эта далеко не случайна, она крайне многозначительна. Авторы фэнтэзи словно бы подчеркивают: ставки высоки, при проигрыше герой не просто потеряет жизнь, но и свергнет в Хаос все человечество.

Фэнтэзи — литература простых и ясных решений. В «нормальной» литературе такая сложная ситуация поставила бы перед героем массу гамлетовских вопросов, породила бы сильнейшую рефлексию — достоин ли он, справится ли он, имеет ли право решать. В сказочной фантастике, понятно, такая рефлексия неестественна. Речь не о том, что жанр этот примитивен или герой легкомыслен. Просто волшебная сила, сосредоточенная в руках одного лишь героя, всем может дать шанс на спасение. Выбирать не из чего, отступать некуда — будущее в твоих собственных руках, ты можешь, ты должен, иди!

Романы-фэнтэзи удовлетворяют наше известное стремление к чуду и подспудно внушают нам — хотя бы на час, — что Добро победит. Таково свойство светлых фантастических сказок, и, вероятнее всего, сегодня — их пора. Ведь бывают времена, когда истории про «красивую любовь» и очищенные от наплевательств гнусного быта поединки на световых мечах оказываются благодетельнее «Истории одного города» и важнее «Архипелага ГУЛАГ». Не для всех, но для многих. И с этим бессмысленно спорить.

Как это у Булата Окуджавы? «Вьмысел — не есть обман...»

С. Саратов

### Былое и думы по поводу жареного петуха

**Н**аши дни — не время литературных событий. Вот и книгу Евгения Федорова многие видели на торговых полках в ряду элитарной нынешней книжной продукции, а многие ли ее прочитали? Написанные в годы политического безвременья, повести Федорова явились в свет в безвременье литературное. Повествуют же эти две повести об иных временах — предвоенном деревенском детстве и послевоенной лагерной юности — чьей, кого? Ну конечно, самого их автора, это его автобиографическая диалогия, «Детство» и «Юность» Федорова, в славных традициях классиков. Но, как и классики тоже делали (Толстой, например), хитрый автор, немного сместив свою биографию и перетворяя ее в фантазии, создал себе двойника-героя и тем обрел необходимую писательскую свободу. Вообще же, пожалуй, неоклассических «Детствах» Толстого или Горького больше напоминает «Детство» Федорова, которому он, впрочем, дерзко дал другой классический титул — «Былое и думы» (есть, мы еще увидим, у автора эта фамильярность в обращении со словесным фондом мировой культуры, из которого он напропалую цитирует по всякому личному случаю, — черта назойливая и раздражающая, но с которой мы не только миримся, но и скоро привыкаем видеть в ней неперемнную принадлежность интересного федоровского словесного узора, какой рецензент в «Новом мире» Ю. Шрейдер уже окрестил «постмодернистским барокко»). Не классические прототипы эти больше приходят на память читающему повесть «Былое и думы», а — Феллини, волшебный его «Амаркорд»: счастливое детство в сталинской России рифмуется со счастливым тоже детством в муссолиниевской Италии, а с переключками историческими в паре идут стилистические: таинственная серьезность и нежная основа жизни в оболочке буйного юмора и раблезианских ее проявлений, сплав грубо-обыденного с чудесным, исторического с мифиче-

ским. Как будто бы в разных весовых категориях в современном искусстве Феллини и Федоров — тем не менее независимо от иерархии причудливый мир самозванного федоровского «Былого и дум» в родстве с феллиниевым барокко.

У нас сейчас разбираются с поколениями и особенно говорят о шестидесятниках так, как будто это исходная точка нашего нынешнего исторического отсчета. Так вот: Евгений Федоров — не шестидесятник, как, позволит себе заметить пишущий эти строки, он и себя не чувствует шестидесятником тоже. Уж скорее пятидесятником, потому что решающий, формирующий удар по сознанию был нанесен переломом начала пятидесятых. Но Федоров, мой ровесник, — из более глубокого времени. Свой формирующий удар он получил еще раньше, и с его ударом мой никак не сравним. «Читатель, случилось ли вам сидеть на Лубянке...? ...Нет, читатель, вы не нюхали Лубянки!» Знаете ли вы украинскую ночь? О, вы не знаете украинской ночи! Подобными трагестиями ходоковых речений из культурной памяти человечества прошипован федоровский текст, и они помогают автору передать неслышанный, не снившийся человечеству опытный, какой и собственной его шкуры коснулся, послав ему встречу с «жареным петухом».

«Все вдруг мгновенно прозрели» — так автор, прошедший уже через этого петуха, описывает явление шестидесятничества, — «запели Окуджаву, Высоцкого, Галича. А мне как быть? Подлевать?»

Впрочем, если строго анализировать и периодизировать смену наших эпох, Высоцкий — уже не шестидесятник. Высоцкий и Веничка Ерофеев своим явлением на исходе шестидесятых обозначили исчерпание и конец этой славной эпохи. В их голосах перестал звучать «надежды маленький оркестрик», но зазвучала резко- и горько-карнавализованная народная оценка национального состояния. Евгений Федоров, старше их на поколение и на свой крутой опыт, является со своим «постмодернистским барокко» только сейчас. Его проза — поздняя и

в биографии автора, и в той линии нашей новейшей литературы, какая была открыта поэмой «Москва — Петушки». В нашей недавней критике было сказано (А. Зориним) о «поколениеобразующей» роли произведения Ерофеева. Это, конечно, сказано не про Федорова, но, кажется, и его писательской судьбы коснулось воздействие той же магической книги. Ей, может быть, он отчасти и «подпевал» в своей прозе, отчего несколько не убыло его оригинальной самостоятельности. Просто стилиобразующая ерофеевская печать широко легла на мировидение не только близкой современности, но и далекого федоровского «былого», а возможно, и помогала его кристаллизации в писательском слове. Трагифарсовая картина нашего бытия, интеллектуально-простецкое его восприятие, уточненное переживание грубой его фактуры, вживание в языковую его стихию — черты такого мировидения. И — почти одержимость в филологическом комментировании всякого эпизода нашего советского, по существу же вечно человеческого опыта, «постмодернистское» в самом деле неистовство в карнавальном цитировании, травестировании вселенской культуры, сопрягаемой с обычнейшими реалиями. Подобной как бы профанной и, несмотря на это, серьезной интеллектуальной обработкой нашего советского материала, придающей ему углубляющее в человеческую историю измерение, сближающее персонально два эти писателя — Евгений Федоров с Венедиктом Ерофеевым.

Ведал ли Ерофеев, что, рассказывая про Веничку, в ресторане Курского вокзала, «чтобы не очень тошнило», разглядывающего тяжелую люстру над своей головой, он профанно цитировал Достоевского? Веничка, в ожидании хереса (которого так и не дожидается) предающийся размышлению о том, как будет страшно больно, если люстра сорвется («Очень тяжелая мысль») а впрочем, нет — если «ты сидишь и, ничего не подзревая, пьешь, например, херес», то не успеешь почувствовать боли, — да, а если тебе ее дали хересу? — повторяет ход мыслей маньяка Кириллова, говорившего о страхе боли как об одной из двух причин, удерживающих людей от самоубийства (другая причина — «тот свет»): страшно стоять под огромным камнем, который может упасть? — страшно; а будет больно? — не будет; но пока висит, «всякий будет знать, что не больно, и всякий будет очень бояться, что больно». Как расценить значение этой реминисценции — вольной или невольной? — в жизнеописании незабвенного Венички, вступающего на свой крестный, в сущности, самоубийственный путь? Наверное, стоит ее в смысловом балансе поэмы принять всерьез.

А ведал ли Федоров, что цитирует «Невский проспект» (снова Гоголь!), живописуя лагерную мадонну Зойку? Герой и друг его Краснов ослепленно

застыли перед ее неземной красотой, пока она не открыла рот и из ангельских уст не вылетело соленое слово. Автор-филолог, верный себе, не может не вспомнить к случаю из Гомера — Жуковского: «Странное, дочь моя, слово из уст у тебя излетело». Он мог бы вспомнить из более близкой русской литературы — «Перуджинову Бнанку» художника Пискарева, как она раскрыла хорошенкые уста, «но все это было так глупо, так пошло». «Пусть бы еще безобразие дружилось с ним (развратом), но красота, красота нежная...» Федоровские друзья-идеалисты готовы так и воскликнуть. Непреходящие ситуации жизни нашей вновь и вновь всплывают в литературе непредумышленными реминисценциями, но как, в каких непредвидимых никакими литературными прошлого формами жизни всплывают? В этом соль. Какой писатель мог представить эту вечную ситуацию в виде картины группового «трамвая» с той же мадонной на лагерных нарах? А между тем и после «трамвая» эта Зойка не теряет ничем не уничтожимой прелести и покидает зону, с обозначением провожаемая всем ОЛП как его неразвенчанная прекрасная дама.

Есть у этой прозы особый читатель — тот, кто сам когда-то нюхнул того исторического воздуха, которым и автор дышал, тот, кто может проверить его утверждение: «Хочется еще раз сказать, что довоенная жизнь сильно разнилась от теперешней». Кто может заверить, что в самом деле была «довоенная, еще нелапканная, девственная природа». Но и читатель этой формации сможет разделить впечатление автора лишь до известной черты. Что в биографии автора сменяет утраченный рай довоенного детства? «Нет Москвы, нет Рихтера, нет влюбленных пар, танцев, музыки, а везде один лагерь, сплошной, вечный лагерь и его тысячелетнее царство». Или — автору мало, он берет еще круче — «его же царствию не будет конца».

Вот такое цитирование, такой «интертекст». Как бы даже кощунственно, однако очень по существу. По самому существу того, о чем повесть «Жареный петух» написана. Соответствует, во-первых, теории, развиваемой на ее страницах приятелем героя-автора и даже его «учителем», утопистом-марксистом-идеалистом Красновым. Теории вечно лагеря как окончательного справедливого и счастливого разрешения загадки существования. Не ново в истории человеческой мысли — некий томасоморовско-марксистско-хилистический симбиоз, — ново то, что безумная теория уверенно и светло проповедует в самом пекле безумного лагеря. Он, Краснов, вдохновенно «заратустрит» в этом духе, герой-двойник-ученик внимает, не споря, автор же чертит картину «мертвого дома», исполненную того, что первый лагерный наш писатель любил именовать «живой жизнью», живой и горячей, нокаутирующей утопию.

Но и она, утопия, берет свое, насилует жизнь и «царствует». «Его же царствию не будет конца». Нет, это рискованное цитирование здесь — в яблочко, в точку. Те самые годы я провел в Московском университете (1947—1952), был Рихтер, консерватория и т. п. (помню споры между партиями поклонников Софронидного и Рихтера); не так я провел те годы, как Федоров. Тем не менее было то же — «его же царствию не будет конца». «Люди в целом прекрасны, одеты по моде, основная их масса живет на свободе», — писал тогда ленинградский поэт В. Уфлянд. Я принадлежал к основной их массе, и однако было особое чувство жизни того послевоенного восьмилетия, не повторившееся затем никогда. Оно не осознавалось ясно, так, как можно было его осознать потом, но оно реально в нас было. Это было такое чувство, что никогда ничего другого не будет, всегда будет то, что теперь. Теоретическое знание, что когда-нибудь и смерть Сталина может случиться, было непредставимой абстракцией. Уже гораздо позже я осознал, что это был особый опыт переживания вечности. (А еще потом я прочитал на последних страницах «Доктора Живаго»: «Хотя просветление и освобождение, которых ждали после войны, не наступили вместе с победой, как думали, но все равно, предвестие свободы носилось в воздухе все послевоенные годы, составляя их единственное историческое содержание». Иное чувство того же времени, более прозорливое, на которое у нашего поколения не хватало опыта и исторической памяти — память была короткой, и потому послевоенное восьмилетие по тогдашнему ощущению было самым безнадежным временем, и больше чувствовалось не то, что носилось в воздухе, а что в нем стояло.)

В нашей уже великой лагерной литературе у повести «Жареный петух» место пусть и более скромное, зато совсем свое. Автор и не тягается с классиками темы, хотя и ведет на своих страницах споры (действительно бывшие и мысленные) с Варламом Шаламовым. У него и в этой теме «своя колокольня, своя подворотня, своя экологическая ниша». «Читатель, надо жить в дивном союзе с жизнью и не предъявлять прошлым эпохам брендовских, кантовских удручающих непомерных императивов». Парадоксально, но как-то естественно эти слова о дивном союзе с жизнью согласуются в повествовании автора с фантазмагорией лагеря. Он о лагере повествует как о месте, где пришлось ему **жить** свои молодые годы. Скажем (используя слово С. Ломинадзе по поводу уникального «Справочника по ГУЛАГу» уникального эзика-француза Жана Росси), что повесть написана «из ГУЛАГа с любовью» — не к ГУЛАГу, а к жизни, не умравшей и в «мертвом доме».

И еще: повествователь любит поговорить на тему, что у него никакого миро-

воззрения нет: «так, винегрет, крошка». Вряд ли читатель так уж примет это за чистую монету. Автор взял на себя известную роль и нашел подходящую маску — простеда и почти что фольклорного дурака: в повести о детстве он охотно рассказывает, как ложу мимо рта проносил, дорогу в школу каждый раз найти не мог, не говоря уж о том, чтобы выучиться в четвертом классе читать. Но в этом дурашливом образе — не одна только маска. Нехватка «мировоззрения» не мешает герою-автору судить обо всем со своей колокольни. Но колокольни решительно внеидеологической. Простак у Федорова выступает в традиционной роли стихийного критика всех и всяких идеологий, насилующих и уродующих жизнь. Про повести Федорова можно сказать, что они историчны, потому что они захватили немало нашей истории, и они на редкость для нашей литературы решительно неидеологичны, не примешивая к «былому и думам» императивов и «принципов». «Мировоззрения» у рассказчика нет, но позиция есть, и это позиция писателя современной нам эпохи краха идеологий. Тем не менее и в сегодняшней современности автор с такой позицией себя чувствует так: «Я открываю рот — мной недовольны справа и слева».

Да, в них немало нашей истории, воспринятой со своей колокольни, в двух повестях, вошедших в эту книгу (от них заметно отделяется третий рассказ, в ней присутствующий, — «Тайна семейного альбома»). И не только в лагерной, но и в «детской», в «Былом и думам», которой ведь не так уж зазря присвоено столь историческое заглавие. Может быть, в самом деле надо было пожить тогда хоть немного, чтобы сполна почувствовать, как пахнут тридцатыми годами эти «детские годы Федорова-внука». Внука, поскольку именно дед и бабушка (прямо как в «Детстве» Горького) — две основные фигуры этого детства. Если же есть в не больно-то событийном повествовании этом некий внутренний сюжет, то это мальчик и дед. Дед, сельский священник, советский лишенец, не теряющий и в лихолетье веры, что устоит его церковь и врата адавы не одолеют ее, и закономерно, хоть и не по 58-й, а за неуплату налога на церковь сгнувшийся в лагерь. И внуч-пионер, с зачаточным синдромом Павлика Морозова, но жалеющий темного, отсталого и нелепого деда, участь которого пророчит будущее ему самому. И, как заметил верно Ю. Шрейдер, объединяя обе повести как дилогию, «над судьбой погибшего в лагере деда скорбит автор так, как не позволяет себе скорбеть над собственной участью лагерника».

«О, где моя юность?.. Где мои серебряные коньки?.. Где, скажите на милость, это чертовое эротическое время?» То и дело всплывает у автора эта лирическая тема литературы нашего века, есть у него свои счесть с Прустом и «его знамени-

тым «Пердю». Не без внутреннего сравнения с этим именем и автору «ретроспективится, он ищет того же — безнадёжного, невозможного обретения прожитой жизни. «Памяти», а не просто «воспоминания» — есть у прозы этой экзистенциальная цель. Что нужно для хоть какого-нибудь ее достижения? Об этом сказала в кратком предуведомлении к книге Е. Федорова Н. Трауберг,

произнеся слово «благодарность». Благодарность прожитой жизни с тем, что в ней было, — если и не прямо воскрешающая сила, то условие взыскемого обретения жизни в слове. Литература нашего века дала примеры, что все же «невозможное возможно», повести Евгения Федорова — среди таких примеров.

**Сергей Бочаров**

### К сведению уважаемых авторов:

**Редакция не рецензирует и не возвращает рукописи, а только сообщает о своем решении.**

**Рукописи просим высылать заказной бандеролью — посылки редакция не принимает.**

**Рукописи, присылаемые на дом работникам редакции, не рассматриваются.**

**При перепечатке наших материалов ссылка на «Знамя» обязательна.**

Общественный совет редакции:

**С. С. АВЕРИНЦЕВ, И. И. ВИНОГРАДОВ, Д. А. ВОЛКОГОНОВ, Н. Н. ВОРОНЦОВ, В. В. ИВАНОВ, Ф. А. ИСКАНДЕР, В. Л. КОНДРАТЬЕВ, В. С. МАКАНИН, М. В. МАСАРСКИЙ, Б. Ш. ОКУДЖАВА, В. А. ТИХОНОВ, М. А. УЛЬЯНОВ, Ю. Д. ЧЕРНИЧЕНКО, С. С. ШАТАЛИН.**

Главный редактор **Г. Я. БАКЛАНОВ.**

Редколлегия: **А. Л. АГЕЕВ, Н. Б. ИВАНОВА** (зам. гл. редактора), **Е. А. КАЦЕВА** (отв. секретарь), **В. И. КАШИРСКИЙ, К. А. СТЕПАНЯН, С. И. ЧУПРИНИН** (первый зам. гл. редактора).

Адрес редакции: 103863 ГСП, Москва, ул. Никольская, 8/1.  
Телефоны: главный редактор — 921-24-30, заместители главного редактора — 921-13-81 и 921-08-09, ответственный секретарь — 928-22-78, отдел прозы — 923-72-82, отдел публицистики — 923-76-33, отдел критики и библиографии — 928-94-45, отдел поэзии — 921-59-67, для справок — 924-13-46.  
Факс 921-32-72.

Технический редактор **З. П. Кузнецова.**

Сдано в набор 03.06.93. Подписано к печати 29.06.93. Формат 70×108<sup>1/8</sup>.  
Печат. высокая Усл. печ. л. 18,20. Усл. кр.-отт 18,90. Уч.-изд. л. 20,08.  
Тираж 80500 экз. Заказ № 485.

Типография издательства «Пресса», 125865 ГСП, Москва, А-137, ул. «Правды», 24.

# В конце 1993—в 1994 гт. в «Знамени» будут опубликованы:

*Стихи известных и неизвестных поэтов, представляющих разные поколения, группы и течения современных поэтов России, ближнего и дальнего зарубежья.*

## В разделе МЕМУАРЫ. АРХИВЫ. СВИДЕТЕЛЬСТВА:

Из переписки **И. Бунина**, **М. Цветаевой**, **М. Алданова**, **Г. Газданова**, **Н. Тэффи**, **Н. Нарокова**

Письма русских писателей **П. И. Чайковскому**

Из дневников философа-физиолога **А. А. Ухтомского**

Письма русского офицера своей невесте с фронтов первой мировой войны

**Б. В. Никитин**. Роковые годы. 1917—1918. Воспоминания начальника контрразведки Петроградского округа

Переписка академика **С. Б. Веселовского** с проф. **А. И. Яковлевым** «Был ли **Достоевский** болен эпилепсией?» (новые данные об истории болезни классика русской литературы)

Главы из найденного в архивах КГБ автобиографического романа **Н. Бухарина**

В разделе ПУБЛИЦИСТИКИ авторы «Знамени» будут обращаться к самым острым и трудным проблемам современности:

Политический процесс в постсоветской России — партии, движения, лидеры;

становление гражданского общества и правового государства;

межнациональные отношения на пространстве бывшего Союза;

успехи и трудности экономической реформы;

самоопределение России в современном мире;

религия и общество;

«Человеческое измерение» жизни: здоровье, образование, качество окружающей среды, психологический климат в обществе;

российская история, ее перекрестки и поворотные точки.

Со статьями на эти и другие темы на страницах журнала выступают: **А. Быстрицкий**, **А. Вишневский**, **Б. Дубин**, **Д. Дондурей**, **А. Зубов**, **С. Лёзов**, **М. Леонтьев**, **А. Панарин**, **Л. Сараскина**, **Л. Седов**, **Е. Стариков**, **А. Фадин**, **М. Шакина**, **Д. Шушарин**

**Рышард Калущинский**. Главы из книги «Империя» (перевод с польского)

В рубрике «Модус вивенди» мы опубликуем устные рассказы вятских крестьян о коллективизации и колхозной жизни в 30—40-е гг., другие материалы «частной» истории.

В новой рубрике «Кредо» отразится сложный процесс духовного самоопределения человека, процесс формирования — из идеологического хаоса — новых мировоззрений.

## КРИТИКА

Статьи для журнала пишут: **М. Айзенберг**, **А. Арьев**, **Р. Арбитман**, **А. Вальцев**, **О. Давыдов**, **И. Дедков**, **С. Зенкин**, **А. Зорин**, **Е. Иваницкая**, **М. Липовецкий**, **А. Немзер**, **Вл. Новиков**, **А. Панченко**, **Ст. Рассадин**, **М. Чудакова**, **А. Шемякин**, а также критики «Знамени»: **А. Агеев**, **Н. Иванова**, **К. Степанян**, **С. Чупринин**



**В конце 1993 — в 1994 гг.  
в «Знамени»  
будут опубликованы:**

- Чингиз АЙТМАТОВ. Повесть  
 Василий АКСЕНОВ. Рассказы  
 Григорий БАКЛАНОВ. Повесть  
 Василь БЫКОВ. Стужа. Повесть  
 Владимир ВОЙНОВИЧ. Замысел. Автобиографический роман  
 Юрий ДАВЫДОВ. Заговор сионистов. Повесть  
 Алла ДЕМИДОВА. Записки актрисы  
 Олег ЕРМАКОВ. Свирель Вселенной. Роман  
 Владимир ЗУЕВ. Кольцо Мёбиуса. Роман-сон  
 Наталья ИЛЬИНА. В одной отдельно взятой...  
 Рассказы о давнем и недавнем  
 Фазиль ИСКАНДЕР. Повесть  
 Руслан КИРЕЕВ. Мальчик приходил. Роман-эпиграмм  
 Анатолий КОРОЛЕВ. Бег Эрона. Роман  
 Михаил КУРАЕВ. Коммерческая тайна. Повесть  
 Владимир МАКАНИН. Повесть  
 Илья МИТРОФАНОВ. У Христа за пазухой.  
 Повесть  
 Омос ОЗ. Мой Михаэль. Роман  
 Булат ОКУДЖАВА. Упраздненный театр. Роман  
 Марина ПАЛЕЙ. Подземные птицы. Повесть  
 Виктор ПЕЛЕВИН. Повесть  
 Евгений ПОПОВ. Мина. Повесть  
 Вячеслав ПЬЕЦУХ. Рассказы  
 Нина САДУР. Сад. Роман  
 Михаил ШИШКИН. Слепой музыкант. Повесть  
 Дмитрий ЭСАКИА. В поисках потерянного пространства